



# ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Сергей Жадан*  
Разламывая время  
*Стихи*
- *Александр Мелихов*  
Подручный Орфея  
*Роман*
- *Николай Веревошкин*  
Землетрясение на кладбище  
*Записки велосипедиста*
- *Марюс Ивашкявичюс*  
Цивилизация Вержболово
- *Александр Никулин*  
Крестьянская доля  
Николая Доброго

# 4'2013

*Независимый  
литературно-  
художественный  
и общественно-  
политический  
журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, дом 13 стр.2.  
Фонд «Русский мир»  
для журнала «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12.  
**E-mail: dn52@mail.ru,**  
**http://magazines.russ.ru/  
druzhba/**  
**LIVEJORNAL: http://drujba-  
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.90 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.  
Отпечатано в типографии ОАО  
«Можайский полиграфический  
комбинат», 143200, Московская  
область,  
г. Можайск, ул. Мира, 93;  
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;  
факс: (49638)21-682;  
www.oaompk.ru, e-mail:  
oaompk@oaompk.ru

*Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.*

*Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.*

*При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.*

Сдано в набор 21.02.13.  
Подписано в печать 22.03.13.  
Формат бумаги 70 x 108 1/16  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.  
Заказ 2186. Цена свободная.

# Дружба народов

## 4'2013

### *Редакционная коллегия*

*Главный редактор*

Александр  
ЭБАНОИДЗЕ

Лев  
АННИНСКИЙ

Леонид  
БАХНОВ

Ирина  
ДОРОНИНА

Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА

Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Зам. главного редактора*

Фарит  
НАГИМОВ

*Ответственный секретарь*

Сергей  
НАДЕЕВ

### *Редакционный совет*

Рамазан  
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Резо  
ГАБРИАДЗЕ

Алла  
ГЕРБЕР

Денис  
ГУЦКО

Иван  
ДЗЮБА

Александр  
КЛЯЧИН

Валентин  
КУРБАТОВ

Ольга  
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар  
ПРИЛЕПИН

Кнут  
СКУЕНИЕКС

Сергей  
ФИЛАТОВ

Ринат  
ХАРИС

Левон  
ХЕЧОЯН

Вячеслав  
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид  
ЮЗЕФОВИЧ

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Проза и поэзия*

Сергей ЖАДАН. Разламывая время. Стихи. С украинского. <i>Перевод Игоря Белова</i> .....	<b>3</b>
Александр МЕЛИХОВ. Подручный Орфея. Роман .....	<b>9</b>
Александр КАБАНОВ. Под небом из бесплатного вайфая. Стихи .....	<b>95</b>
Николай ВЕРЕВОЧКИН. Землетрясение на кладбище. Записки велосипедиста ..	<b>98</b>
Владимир САЛИМОН. На исходе шестого дня. Стихи .....	<b>140</b>
Платон БЕСЕДИН. Восьмая шкала. Рассказы .....	<b>144</b>
Анна АРКАТОВА. Происходящее за рамой. Стихи .....	<b>165</b>

### *Нация и мир*

Марюс ИВАШКЯВИЧЮС. Цивилизация Вержболово. С литовского. <i>Перевод Георгия Ефремова</i> .....	<b>167</b>
Елена ПЕЧЕРСКАЯ. Литва — любовь моя, или Долгий путь к себе .....	<b>178</b>

### *Публицистика*

СТРАНА РОССИЯ Александр НИКУЛИН. Крестьянская доля Николая Доброго .....	<b>189</b>
---	------------

### *Pro и contra*

О повести Романа Сенчина «Чего вы хотите?» .....	<b>215</b>
--	------------

### *Критика*

Евгений АБДУЛЛАЕВ. От 30 до 1300. Семь поэтических сборников 2012 года ....	<b>226</b>
---	------------

### *Книжный развал*

Леонид БАХНОВ. Постоять на пороге .....	<b>237</b>
Андрей РУДАЛЁВ. «Карта души», начерченная лезвием ножа .....	<b>240</b>
Андрей ТУРКОВ. Запретные главы. Заметки на полях перечитанной книги .....	<b>244</b>

### *Культурная хроника*

Юрий ПОДПОРЕНКО. Такой разный и узнаваемый мир .....	<b>247</b>
К нашей вклейке. Работы молодых художников Армении. Левон АБРААМЯН, Армен АМИРАГЯН, Сурен САФАРЯН, Ваагн ТАДЕВОСЯН	

### *Эхо*

Весомость достоинства. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ .....	<b>251</b>
Summary .....	<b>256</b>



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА  
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)

*Сергей Жадан*

## Разламывающая время

*С украинского. Перевод Игоря Белова*

### *Велосипеды*

Велосипедный завод Лейтнера был эвакуирован из Риги в Харьков в 1915 году, когда возникла угроза сдачи города немцам. Потом, после гражданской, на его базе был создан Харьковский велосипедный, который и штамповал свои машины с удивительными хромированными деталями.

Уже в начале двадцатых при заводских мастерских была организована футбольная команда, которой покровительствовали братья Межлауки — грозные красные комиссары, родившиеся в Харькове, выращенные террором, и им же таки впоследствии затоптанные в чёрный снег тридцатых.

К чему я всё это вспоминаю?  
Всё, что строится на руинах, всё, что начинается с нуля, пустота, которая в руках слесарей и механиков превращается в станки и машины, всё это вложено в нашу жизнь, словно вера в тексты псалмов.

---

*Жадан Сергей Викторович* — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в г. Старобельск Луганской обл. в 1974 г. Окончил филфак Харьковского педуниверситета, кандидат филологических наук. Пишет на украинском языке, переводит с немецкого, английского, белорусского и русского. Произведения переведены на многие европейские и славянские языки. Лауреат национальных и международных премий. Живет в Харькове.

*Белов Игорь Леонидович* — поэт, переводчик. Родился в 1975 г. в Ленинграде. Окончил Калининградский университет. Автор книг стихов «Весь этот джаз» (Калининград, 2004), «Музыка не для толстых» (Калининград, 2008). Переводит польскую, украинскую и белорусскую поэзию. Лауреат всероссийской литературной премии «Эврика!» (2006), международного Волошинского конкурса (2011) и др. Живет в Калининграде.

Рабочие, которые выходили утром на смену  
и которые выбегали вечером на твердую, выжженную  
почву стадионов, играли солнцами и тенями,  
разламывали время, будто горячий хлеб,  
зная, что всё в этой жизни начинается впервые,  
и будущее создается, как правило, в цехах  
и на футбольных площадках.

«Мы все начнём заново, — говорили они, вступая  
в мартовскую прогорклость пустого цеха. —  
До нас не было ничего, о чём мы бы не знали.  
Этот мир начинается с утренних паровозных гудков.  
Ход истории совпадает с восьмичасовым  
рабочим днем. Все наши победы начинаются  
с вытопанных газонов. Никто не отберёт  
у нас эту странную пророческую уверенность,  
эту умопомрачительную ярость,  
с которой мы встречаем наших соперников».

Океаны и подводные растения, наросты серебра на чёрной породе,  
твердость деревьев и волокна внутри камыша —  
всё только начинается, едва они выбегают  
из раздевалки. И солнце останавливается в тёмных тоннелях  
трибун, и тени наркомов стоят за спиной, словно тени архангелов.  
Революция всегда оставляет шанс тем,  
кто готов вцепиться в него зубами,  
вспарывая прогнившую обшивку этого механического мира,  
выгрызая горячую сердцевину старой истории,  
ничего не ожидая для себя в будущем,  
ничего не оставляя после себя в прошлом.

### *Иисус в таких случаях воскресал*

Она пересчитывает птиц на ветвях.  
Птицы смотрят в окна, словно паломники.  
Все их галдящие семьи держат путь  
в сторону коптских монастырей,  
имея при себе лишь запасы  
собственной веры, которая мешает им  
лететь в разреженном воздухе.

Она их всех пересчитывает, сверяя  
записи и наблюдения, делая  
правки в своём блокноте.  
Это большая перепись птиц,  
оставляющих нас — ей будет чем заняться,  
мучаясь с этими перьями,  
что забиваются между страниц.

Это ещё не зима, это не та пора,  
когда нужно завернуться в тишину и  
горелые листья, когда нужно держать  
горло в тепле, словно музыкальный инструмент.

Ещё дома наполнены светом,  
словно бутылки — водой, а она пересчитывает  
их, не умея ни с кем договориться,  
не умея никого ни в чём убедить.

Поскольку ни одного из нас убедить в чём-либо  
невозможно. Мы лишь стоим под  
осенним небом и ловим листья на  
хитрую наживку. И его тоже убедить  
в чём-либо невозможно, он не бережёт  
своё горло.

Она даже готова умереть,  
чтобы наконец-то с ним договориться.  
И готова потом воскреснуть,  
чтобы добить его по-настоящему.

\* \* \*

Женщина, что фотографирует январские деревья,  
тяжёлую их динамику, сплетение веток сладкое,  
обочины и сугробы,  
занесённую снегом деревню,  
неба тяжёлые простыни с большими тёмными складками.

Вот она стоит, как за ширмой, за воздухом,  
следит за этими деревьями, как за непугаными оленями,  
за их детским шёпотом, за птичьей поступью,  
за тонкими руками, за сбитыми в кровь коленями.

Вот она ловит их, сравнившись с птицеловами,  
лентами привязывает себе к запястью.  
А чёрные пустые озера, в лёд закованные,  
постоянно предрекают ей разные несчастья.

Говорят: все, кого ты себе поймал,  
до самой смерти будут идти за тобой.  
Отдашь им всё, что есть, расскажешь всё, что знаешь,  
будешь делиться с ними вином и водою.

А она в ответ: всё, чем я владею и что знаю —  
это ленты, чтоб с ними оставаться ночами долгими,  
и их слова, которые я всё время забываю  
и режу в кровь губы их гласными и предложениями

Те, что идут за тобой, к тебе с этим не обращаются,  
сам же себя привязываешь нежностью и тревогой.  
Вот сейчас, видите, как они надо мной качаются?  
Это они всё услышали  
и согласиться не могут.

\* \* \*

И женщина с чёлкой темней чернозёма,  
столько лет оставляя других за кадром,  
живет, беззаботно и невесомо,  
среди утренних звёзд и больших закатов.

Среди листьев и пересохших русел,  
среди кровель и журавлиных криков,  
среди рек подземных, сплетённых в узел,  
среди всех своих снов и фриков.

Она ходит по рынкам и стадионам,  
носит флягу в кармане на случай загула.  
И я готов сжигать район за районом,  
только б она на меня взглянула.

Я готов расстрелять городские трамваи  
и в портвейн превратить озёрную воду,  
лишь бы она, обо мне вспоминая,  
писала мне письма про жизнь и погоду.

Я готов перекрыть её улицу баррикадой,  
только бы нам не мешали чужие люди,  
потому что мне снова услышать надо  
о том, с кем она спит и кого она любит.

Я придумую новые буквы и стиль небывалый,  
я убью всех старых поэтов, которые ещё пишут,  
лишь бы она забывала всё то, о чем знала,  
замечая, как тишина застывает на мокрых крышах.

Небеса за её окном будут всё холодней и строже.  
Её память зальёт дождем и водой унесёт к запруде.  
Пусть забывает она обо всём.  
Пусть обо мне забывает тоже.  
Только пусть я буду последним, о ком она позабудет.

## *Конец октября*

### 3.

Так долго в дороге,  
что оброненные ими между трещин в палубе яблоневые  
семена дают ростки во влаге и пыли.  
Дорога — это время, затраченное нами на понимание  
своей потерянности. Деревья вырастают  
на кораблях, идущих по течению рек.  
И вот осенью корабли  
вгрызаются в ил и стоят  
среди сумерек и воды.

Что ты знаешь о деревьях? Деревья пускают корни  
в трюмах и машинных отделениях,  
добираются до тёмных глубин  
и тех закоулков, где спрятано  
сухое зерно и запасы питьевой воды.

Что им теперь делать  
на кораблях, которые медленно идут ко дну,  
отяжелев от веток и листьев?  
Когда ты будешь думать о деревьях,  
думай обо всех, кого ты видела в своей жизни,  
о длинных корнях, которые связывают  
нас с ней. Когда ты будешь думать  
о зелёных яблоках,  
думай заодно обо всех тех, кто работал  
на этой реке, пытаясь хотя бы на миг  
остановить её течение.

Конец октября.  
Женщины уходят с берега.  
Ветер полощет тяжёлые полотенца,  
словно флаги победителей.

Земля согревается и остывает.  
И ты согреваешься и остываешь  
вместе с ней.

\* \* \*

Темень и сладость зимней поры.  
Вечер — тяжёлый, рассвет — невесомый.  
Женщины чистят снегом ковры,  
словно разбив огород возле дома.

Неба бутылочное стекло  
с пригоршней звёзд и чертей зелёных,  
и горлом плывёт золотое тепло,  
как жёлтый мёд раскалённый.

Почтовая сумка с последним письмом,  
мокрые деньги и тёплые бары,  
кометы с ярким фазаньим хвостом  
сугробам наносят удар за ударом.

Всех, кто в пути этой долгой зимой,  
будут без сна дожидаться дома.  
На всё, что случится с тобой и со мной,  
ляжет сумрак терпкой истомой.

Так бы и жечь густые огни,  
так бы и слушать, во мгле сгорая,  
как щука на дне коротает дни,  
намертво в лёд вмерзая.

## Обречён, но не сломлен

Эй, пассажир с расхристанным грузом,  
с кровью в карманах пальто, с золотом в желудке,  
что ты ошиваешься на переездах и дразнишь собак?  
Чего ты ждёшь на своих баулах с собранным  
проводниками бельём?

Жду, что когда-нибудь случайно откроются шлюзы,  
и меня вынесет отсюда в тёплую пустоту,  
которую так свирепо охраняют овчарки.  
Жду, что они хотя бы раз ошибутся  
и оставят без присмотра этот переход,  
коридор в ночном воздухе.

Ну и что там, в твоих чемоданах?  
Что там — за подкладкой твоей одежды?

Там всё для того, чтобы никогда не возвращаться назад:  
игрушки, которые я разгрызал, чтобы увидеть их позвонки,  
и фотографии поэтов, чьи глаза я выкалывал из-за любви и ненависти,  
и чьи стихи — сложные, будто номера телефонов — я пытался  
учить на память.

Там письма моих братьев и моих женщин,  
могильная земля и сталь фабричных станков,  
и острые куски фарфора, о которые я постоянно ранил ладони,  
и мелочь, которую я выгребал из дароносиц в церквях,  
прячась там от холода и дождей,  
и детская одежда, которую я собирал по миру, словно гербарий.

И что ты будешь делать, пассажир,  
когда прорвёшься на ту сторону?

О, я уже обо всём позаботился.  
Я поселюсь в опаснейшем из убежищ.  
Я сведу знакомство с последней городской швалью,  
со знаменитыми скандалистами и певцами.  
Я буду торговать обувью и вдохновением,  
потеряв голову, забыв о грусти.  
Я буду раздевать самых недоступных женщин города.  
Желание и мои уставшие пальцы  
будут делать их неизлечимо лёгкими.

Спаливши сердце, как паровозный уголь,  
буду драться и побеждать, чтобы, когда придёт время,  
забраться куда подальше, всех отблагодарив и всех обманув.

Прямо-таки всех?  
И даже меня?

И даже тебя, смерть,  
даже тебя.

*Александр Мелихов*

## Подручный Орфея

*Роман*

Хорошо, что я в тот вечер ничего не соображал. Одно дело прокричать, проорать, прохрипеть, что лучше мне ее видеть в гробу, чем на полу в собственной луже, а другое дело и впрямь увидеть ее на смертном одре, опутанную трубками, уходящими в пустоту черных ноздрей, черных как сажа на стеариновом лице с намертво стиснутыми веками. Крепитесь, готовьтесь к худшему — как я мог к чему-то готовиться, если я ничего не понимал! Только у себя на полутемной ночной лестнице я сумел понять, что означает эта понурая фигура у моей двери: бомж зашел погреться. На верхней площадке под чердаком у них было целое гнездо, как-то раз из окна повалили клубы дыма, пожарные — помесь римских легионеров с аквалангистами — геройски ринулись ввысь по лестнице и потом долго вышвыривали на асфальт дымящиеся клочья какой-то черной овчины. Так что даже под толщей одури во мне шевельнулась досада, что и в такой кошмарный час от этой нечисти нет покоя — и тут же укол стыда: на улице каленый седой мороз, ему, видно, так всю ночь и придется простоять...

И тут у меня голова мотнулась от внезапности:

— Хозяин, пусти погреться!

Он что, рехнулся?..

Однако под анестезией шока, кроме досады, я почувствовал еще и оторопелость — уж очень необычный голос был у этого деграданта. Так, бывает, в опере пьянчужку исполняет какой-нибудь дивный баритон — со всякими забудыжными ужимками, пробуждающими в публике вместо брезгливости лишь ветерок аплодисментов. Но одним только своим странным голосом он бы меня не взял — мне вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль, что он послан мне в какое-то испытание и если я его выдержу, судьба вернет мне Ирку. И я понял, что готов на все, лишь бы она вернулась — в каком угодно обличье, — со всклокоченной войлочной головой, с заплывшими глазами, в луже, в саже...

— Заходи, — грубовато, но гостеприимно распахнул я дверь перед засаленным камуфляжем и, поколебавшись, добавил: — Те.

Раздеться, однако, не предложил, опасаясь набраться вшей на нашу вешалку, попутно промельком сочинив довольно хитрую для контуженного отговору: в телогрейке своей армейской он скорее согреется. Я и табурет на кухне ему предложил не без некоторого содрогания брезгливости, но уж накормить его без тарелки и напоить без чашки я никак не мог. Ладно, прокипячу...

— Спасибо, хозяин, — его странный голос пронял меня до глубины, уж конечно, не одной своей удивительной полнозвучностью, но и какой-то совершенно не будничной благородной проникновенностью, заставившей меня впериться в него взором контрразведчика: да божж ли это?..

Его десантный камуфляж при домашнем свете выглядел совершенно чистым, а опухшее лицо с заплывшими глазами тоже было совсем не алкоголическим, оно скорее принадлежало какому-то буддийскому божку, мудрому и всеприемлющему.

— Не горюй, хозяин, все наладится, — ласково щурясь на меня, произнес он своим берущим за душу голосом, — давай лучше выпьем с горя, у меня с собой есть.

Иркины уроки отковали во мне такую ненависть к спиртному, что я скорее с горя окунулся бы в помои, чем стал осквернять пьянкой свое незапятнанное страдание, однако голос моего камуфляжного гостя был столь чарующим, взор столь мудрым и ласковым, что через две минуты на столе уже стояли нарезанный сыр и колбаса, а хрустальные стопки были готовы принять в себя настойку боярышника. Ничего, хоть попробую, что он за боярышник за такой, авось, не последую за Ирккой. А если и последую...

Странно, правда, что он выставил на стол не аптечный пузырек, а выпукловогнутую фляжку золотистого металла, покрытую идеально круглыми следами шлифовки.

— Ну, давай за все хорошее! — это была не расхожая застольная присказка, но действительное признание в любви ко всему хорошему и не такая уж робкая надежда, что оно когда-нибудь победит.

Когда мы чокались, я заметил, что у него совершенно чистые граненые ногти, и только тогда осознал, что какая-то неубитая часть моей души невольно к нему принюхивается и дивится полному отсутствию малейших дурных запахов и даже, наоборот, присутствию в воздухе не то чтобы аромата, но какой-то шири, что ли, которую хотелось вобрать в себя поглубже. И солнечный напиток, проглоченный мною отрешенно и торопливо, как лекарство, дышал тоже не ароматом, это было бы слишком пышно, но не то лесной поляной, не то летней степью... Да, именно степью, до меня донесся едва уловимый запах полыни и далекого *пала*, как у нас называли выжженные пространства.

Напиток был сладкий, но совсем не липкий, вроде бы и не крепкий, но я забалдел от первой же стопки. Забалдел каким-то странным образом — очумелость вовсе не усилилась, а, наоборот, отхлынула, я начал ясно понимать, что с нами стряслось, — только понимать с той неправдоподобной разницей, что наша с Ирккой история предстала мне на диво прекрасной. Лишь теперь я понял, какая сила заставляет людей исповедоваться перед незнакомцами — не жажда

жалости, но жажда восхищения: никому другому не выпало столько счастья и столько отчаяния.

Мой гость умел слушать еще лучше, чем говорить, — в нужных местах он с редким чистосердечием смеялся, и его голубенькие глазки сияли из щелочек бледными спиртовыми огоньками, где надо замирал, и тогда его глаза округлялись и наполнялись глубиной ночного неба при ясной луне, но и эта лунная тьма не внушала мне ужаса, ибо в его сострадании неизменно светилось алмазное зернышко восхищения, и это означало, что он понимает меня именно так, как должно.

Свою черную вязаную шапочку он сунул в карман расстегнутой камуфляжной куртки, и его золотистые с серебряным шитьем волосы рассыпались по серому искусственному меху воротника, и это были не засаленные патлы, но промытая отличным шампунем артистическая шевелюра, напомнившая мне не кого-нибудь, а Ференца Листа. Или еще кого-то, кого я никак не мог припомнить...

Бетховена, Рубинштейна? Или моего школьного друга Сашку Васина? Нет, не то, не то.

\* \* \*

В обычных сказках любовь превращает безобразное чудовище в прекрасную принцессу, а в моей три десятилетия волшебной любви не помешали прекрасной принцессе обратиться в безобразное чудовище. А когда у меня наконец достало сил и ненависти стряхнуть его с себя, оно осушило чашу с ядом и на смертном ложе вновь превратилось в прекрасную принцессу.

— Но ведь я же имел право, я же был прав?! — с отчаянием воззвал я к моему странному гостю, и он ответил с бесконечным состраданием, но и с полновзвучной непреклонностью:

— Конечно же ты имел право, конечно же ты был прав. Но чего стоит наша правота перед лицом смерти! Я тоже почти всегда был прав в наших ссорах с Эвридикой, но когда она исчезла, оказалось, что важна только одна правда: я не могу без нее жить. Не бледней, не бледней, бледнеть тебе больше некуда, хуже уже не будет. Да, я тот самый Орфей, и я потерял Эвридику из-за того, что усомнился в могуществе любви, захотел убедиться в ее власти собственными глазами. И ты тоже потеряешь свою Эвридику, если мне не согласишься. А я могу тебе ее вернуть. Только для этого ты должен исполнить три моих урока. Я ведь с тех самых пор, как остался один, так и брожу по свету и помогаю другим несчастным, кто теряет своих возлюбленных. Только их такое множество, что одному мне не управиться и с тысячной долей. Поэтому я выбираю тех, в ком есть частица меня самого, в ком есть дар очаровывать людей звучанием слов. И я предлагаю им взять на себя частицу моей работы. Если они справляются, я протягиваю руку помощи им самим. Все справедливо. Вы меня понимаете?

С проникновенного «ты» он внезапно перешел на официальное «вы», и меня обдало холодом ужаса, что он разочаровался во мне.

— Да, да, конечно, я все понимаю, что я должен сделать?

— Я тебе дам адреса трех несчастных, которые теряют своих возлюбленных, и ты им их вернешь.

— А... А я справлюсь?

— Это будет зависеть от тебя. Но данные у тебя имеются, мне есть что в тебе усиливать. Я же не всемогущ, я могу из сильного парня сделать чемпиона, но из пустоты не могу создать ничего. А большинство людей до изумления лишены дара слова. Эти жалкие создания пробиваются на трибуну, собирают все крохи обаяния — и душат свои жертвы скукой. А у тебя был дар певца, пока ты от него не отвернулся. Он сделался тебе не нужен, ты и без этого был слишком счастлив со своей Эвридикой. А теперь я его тебе верну с прибавлением. С довеском, как говорят у нас в бомжатнике. Ты там всегда сможешь меня найти, в ночлежке на улице генерала Федякина. Спросишь Артиста, меня так называют из-за шевелюры. Я не хочу обзаводиться собственным домом, мне там слишком тоскливо, среди бездомных мне не так грустно. Так вот, я укажу тебе три еще недавно счастливых дома. И в каждом любимая жена уходит от своего суженого в какой-то собственный туман, в собственный дурман. Одна уходит в телефонные разговоры с подругами, другая в телевизионные сериалы, а третья — третья самая трудная. Она уходит то в актрисы, то в самоубийцы, то в православие, то в ислам... Она сама не знает, кем поднимется с утренней постели, за нее с ее паладином ты и возьмешься в последнюю очередь. Ты уже и сейчас сумеешь что-то о них расслышать, если хорошенько вслушаешься.

Я вслушался с таким напряжением, что не расслышал, как хлопнула входная дверь — ее заглушило эхо чужой жизни, чужой любви.

Сначала эхо принялось возводить свой воздушный замок из привычных блоков: простой честный парень влюбляется в невыносимое существо — в *женщину с исканиями*, взявшую от обоих полов самое худшее: от мужчин апломб, от женщин капризность — что хочу, то и правильно. Первым из прошлого откликнулся Сережка Кашаев: то он понуро томился в коридоре у чертога своей повелительницы Марьяны Горобец, то влачил за нею, похожей на встрепанного грачонка, надменно вскинувшего слишком большой для ее субтильной фигурки носище, — рядом с нею и сам невысокий Сережка казался крупным и плечистым, а его подсернутый набок нос почти аристократическим... Теперь я еще и расслышал его одышливое дыхание — череду безнадежных вздохов, его старческое шарканье, как будто он брел не в туфлях, а в растоптанных домашних тапочках. И о том, что он наглотался иголок, я только слышал, а как его увозили, видела одна лишь Марьяна: к пяти утра в общаге унимались и самые неугомонные. Потом до меня донеслось, что они поженились, и в следующий раз я встретил его лет через десять в морозной вечерней электричке.

Мне помешала узнать его не дворянська шапка с опущенными ушами и даже не чеховская бородка, но выражение полного приятия вселенной. И обрадовался он нашей встрече раз в тридцать сильнее, чем требовало наше отдаленное знакомство, — он просто сиял, ничуть не смущаясь отсутствием пары-тройки зубов.

Он живет в Комарово, то есть не в самом Комарово, нужно еще пилить сорок минут на автобусе, но это ничего, если топят, хотя если не топят, тоже ничего, дома своя печка, если с осени напилить да наколоть дров, вообще рай. Дом свой, то есть жены, жена умница, на шесть лет старше, три ее девочки ему как родные, я сам все увижу, когда приеду, тут главное не попасть на отмену

автобусов, тогда можно прождать часа два, но зато жена так меня примет! У них все свое: картошка в подполе, квашеная капуста, брусника, грибы, все сами собирали, он теперь даже не хочет в город переезжать... Он, правда, по дочке скучает, но все равно бы он не смог с нею видаться — «ведь ты же Марьяну знаешь...»

При имени Марьяны по его сияющему лицу чеховского интеллигента с подсквернутым носом пробежала тень ужаса и тоски, но через мгновение он снова был само жизнепрятие: приезжай, жена, все свое, девочки воспитанные, на собаку не обращай внимания, она только кидается, но укусить не укусит...

Мороза ли ему бояться или каких-то жалких собак после надменного грачонка!

Марьяна позвонила мне на пике митингов, как нам обустроить Россию. Держалась она повелительно: она слышала, что у меня имеется кое-какой дар слова, а у нее есть идеи — вот она и будет снабжать меня идеями, а я их буду проповедовать перед народом, — у нее самой слишком большая харизма, это ей и на работе всегда мешало, начальство, особенно женщины, сразу понимали, что они ей в подметки не годятся, и начинали строить козни, а вот у меня харизма невиденькая, мне никто завидовать не станет...

Другая гениальная женщина, откликнувшаяся на призыв Орфея, была художница, умевшая вырезать из рокочущей шепотом черной бумаги действительно забавные фигурки, тронутые легким безумием. Она пыталась склонить меня к любовным утехам, когда ее муж писал диссертацию в соседней комнате: «Не бойся, он ни за что ко мне не войдет!» — страстно шептала она, однако я бы не только не стал подвергать столь чудовищному надругательству даже и незнакомого человека, но и вообще, с тех пор как я обрел Ирку, считал подобные развлечения такой же нелепостью, как если бы кошка, которой я в сентиментальную минутку полюбовался или погладил, начала тащить меня в постель.

А повелительница нашего альпиниста была всего лишь томной: Виталик, подай это, Виталик, подай то... Виталик, член сборной по альпинизму, со своим стетоскопом покоривший и прослушавший все заоблачные вершины, во время отпусков валил лес на Северах, чтобы купить своей повелительнице шубу. Не только женская, но и мужская половина нашей лаборатории исходила желчью, слушая, как он чеканит в трубку: «О цене не думай! Я заработаю!» Нас бы это так не раздражало, если бы она использовала его лишь на героических поприщах, для которых он был рожден, — двухметровый нордический атлет с античным профилем, который лишь слегка искажался вытянутым кончиком носа, за который его водила супруга, — но она его гоняла по таким прихотям, по которым передовая барыня не стала бы утруждать и лакея.

Помню, во время конференции «Звучащая раковина» в жаркой Одессе (чернильные пятна раздавленной шелковицы на тенистом асфальте, мальчишка, гнавший по ракушечной лестнице арбуз вместо футбольного мяча) мы млеем на раскаленном пляже «Аркадия», и обмахивающаяся соломенной шляпой королева томно просит своего пажа: «Виталик, сходи за мороженым». Мороженого на пляже нет, но Виталик отвечает: «Есть!» — одевается и широким мужественным шагом отправляется по жарнице в город. Через полчаса, отмахав три километра по расплавленному асфальту, он возвращается с подтаявшим мороженым, од-

нако властительница впадает в еще большую стенающую томность: «Виталик, это же ванильный пломбир, а я хотела крем-брюле!» — «Будет сделано!» — щелкает каблуками Виталик и еще более мужественным шагом отмахивает по расплавленному асфальту новые три километра.

Разумеется, я бы тоже прошел шесть километров по жаре, если бы Ирка меня попросила, но в том-то и дело, что это была бы уже не Ирка, она всегда стремилась больше отдать, чем взять, и когда я лет через пять после ухода нашего альпиниста в свободное плавание встретил его царицу в буфете Публичной библиотеки, то был слегка раздосадован: придется как-то вписываться в ее томность. Однако она была уже не томной, а скорбной: «Виталик оказался подлецом». Как, с надеждой вскричал я, он же вас так любил! «Все это была маска. Под которой скрывался развратник. Вы представляете, он докатился до продавщиц, до парикмахерш!» Какой ужас, невозможно было представить, радостно сокрушался я: хоть отведаст бедный покоритель гор простого человеческого счастья!

Правда, когда я его встретил на Мойке, со сверкающей американской улыбкой преуспевающего черепа, спускающегося из сверкающей черной машины... опять забыл, как они называются, «кроссинговер», не «кроссинговер»... я пожалел, что он уже не альпинист на побегушках, а крутой мэн, владелец собственной подслушивающей фирмы: о нашем общем прошлом он отзывался как о потешной нелепости — какие же мы были дураки, чем занимались, что ели!

Мужественно шагая по расплавленному асфальту с подтаявшим крем-брюле для своей богини, он был куда симпатичнее... И мой последний страдалец, полюбивший женщину с исканиями, был тоже — теперь я это хорошо расслышал! — отнюдь не прост, но очень даже сложен, если сумел откликнуться таким порывам, которые представились бы всего лишь истерическими вывертами душе попроще.

Даже моей собственной еще минуту назад. Но сейчас она наконец-то сумела откликнуться чему-то новому, незатасканному — столкновению туманной грезы о выси с безоглядным стремлением ввысь.

\* \* \*

Рослый крепкий парень с Первой Рессорной отличается от дружков простительным чудачеством — годами одну за другой проглатывает книги из деповской библиотеки, так что библиотекарьша сначала не верит, что можно читать столь быстро, и заставляет его пересказывать даже те книжки, которые и сама не читала. Глокает он, разумеется, всякую белиберду, но в белиберде-то как раз и можно набраться вдесятеро больше благородных чувств, чем в полном собрании Чехова и Пруста. Одна только серия «Подвиг»...

Но у Андрея все-таки хватает ума не обнаруживать свои возвышенные грезы в низких буднях, а только готовить себя к будущему миру, которому нужно было явить себя не только высоким, но и красивым. Он так упорно ходит на бокс при ДК «Железнодорожник», что его даже посылают на область, где он выколачивает третье место и первый разряд в более чем среднем весе.

А затем поступает в мурманскую мореходку: путь в высший мир пролегал

через шторма и заморские страны. И в этом высоком мире на высоком берегу его будет ждать какая-то неземная девушка, неясная, но прекрасная.

Девушки его отнюдь не обходили, да и он их не чурался — в нелепой надежде каким-то чудом отыскать среди них ту, неземную, — ну, и еще не хотелось прослыть чокнутым. Не говоря уже, что просто *хотелось*, и Андрей не видел причин отказывать своему сильному телу — в будущий высокий мир он должен был вступить бывалым во всех отношениях, в этом, он понимал, и будет заключаться его единственный козырь. Что вот только плохо у него получалось — ему было легче переспать, чем поцеловать: в койке он ничего не обещал, а поцелуи, казалось, обещают неизмеримо больше того, чем они с партнершей намеревались друг с дружкой поделить.

Когда он после пробного рейса в лихой моряцкой форме вышел прогуляться по мурманской увеселительной стометровке, из какого-то палисадничка его окликнула разлегшаяся там пьяная баба и принялась зазывать нескладными русалочьими жестами, надолго ввергнувшими его во мрак: да неужели же он так жалок, что она считает его способным ею заинтересоваться?.. Вот и после нормальных девок в нем каждый раз пробуждался отголосок той первой тоски.

Однажды он даже решился поделиться со своим наставником, выдавшим и заграничные виды морским волком. Старый морской волк понял его по-своему: да, мол, что верно, то верно, за бугром бляди чистые, культурные, а у нас обязательно обоссанные...

Он безнадежно скривился. Был у него случай в Вальпараисо, еще при совке — он был уже «дедом», старшим механиком: тогда на берег выпускали только по трое — один ответственный, он, «дед», он был и годами постарше, и двое безответственных. И эти козлы увидели блядюжник и вцепились: зайдем да зайдем, сбросим давление, подлечимся от спермотоксикоза, сколько можно идти на ручных насосах! Он им: да вы что, визу закроют, партбилет отымут, а они: да кто узнает, да мы мигом, ну, раз ты ссышь, так подежурь у дверей, мимо тебя не проскочим, — он и сдался. Стоит на вахте, а их нет и нет. Он сунулся было внутрь: френдс, френдс!.. — а ему в ответ одно: тикет! Ну, купил он тикет на кровную валюту, входит — а эти козлы полуголые разлеглись среди таких же полуголых мулаток и уходить ни в какую: тут, оказывается, первый раз за полную цену, второй за половину, а дальше начинается полный коммунизм. И они как раз остановились на пороге коммунизма — кого ж из светлого будущего вытащишь! Он плюнул и решил дождаться, пока они иссякнут, а тут какая-то мулаточка потащила его с собой — все равно типа уплочено. Он лег, и сразу как из брандспойта... Но она отнеслась очень сочувственно, как родная жена...

От этих рассказов о заморской любви Андрея брала совсем уже злая тоска.

На летней практике они шли из Охотска на Магадан, море холмилось зеркальной мертвой зыбью, а по палубе лениво прогуливались два милиционера, сопровождавшие подследственного для последней очной ставки. Стеречь его было незачем, бежать здесь было некуда. Так всем казалось, покуда подследственный не махнул за борт. И даже еще погреб в сторону Сахалина, до которого оставалось миль четыреста-пятьсот. Но пока троекратно давали три положенных долгих сигнала звонками и судовым свистком, пока давали «полный назад»

и спускали шлюпку, человек за бортом, как записали в судовой журнал, перестал быть виден на поверхности моря.

Да если бы его и вытащили, все равно его было бы уже не спасти от переохлаждения. Даже самым надежным местным способом: растереть и завернуть в тесном объятии с кем-то тоже голым в три-четыре ватника.

Иногда и Андрея стала посещать безумная мысль, а не махнуть ли и ему за борт, ибо жизнь явно везла его не туда, куда ему мечталось.

Однажды после учебного похода на барке «Крузенштерн», в германском девичестве «Падую», он сидел за стопариком совершенно ненужного ему коньяка в полупустом и полутемном питерском кафе на Моховой и томился по той нежной и высокой женской душе, с которой можно было бы поделиться музыкой слов: рангоут, бушприт, фок-мачта, бизань-мачта, ватер-штаг, румпель, формарсель, бом-брамсель, кливер-шкот, гаф-топсель, фор-стень-стаксель, грот-брам-стень-стаксель... Рассказать, что он совершенно не боится высоты и на нее чувствует себя так же уверенно, как на ринге. Что он теперь заглянул в глаз тайфуна, — за стеной глаза беснуется осатаневший воздух, а ты можешь любоваться безоблачным небом среди сшибающихся волн.

А глаза его то и дело сами собой останавливались на изящной темноволосой девушке в легком голубом платье с большим вырезом, открывавшим хрупкие ключицы, невольно указывающие направление томившей его безысходной нежности. С нею за столиком сидели два волосатика, похоже, даже крашенные — уж очень один из них был бел, а другой рыж, — и оба наглово болтали с неземным видением, явно и не догадываясь, какое счастье им выпало.

Внезапно один из них, белый, оттянул ей вырез платья и громко спросил: «А ты почему сегодня без лифчика?» Еще даже не успев ничего осознать, Андрей шагнул к наглецу и хотел отвесить ему благородную пощечину, но по рессорско-боксерской привычке так засветил ему по скуле, что тот вместе со стулом с громом и скрежетом улетел под соседний столик, сдвинув даже и его примерно на полметра. Рыжий вскочил, но, встретившись с бешеными глазами Андрея и оценив его устремленную в бой внушительную морскую фигуру, бросился поднимать приятеля, пребывающего в нокдауне, — до Андрея донеслось: сумашедший, сдурел, но в ту минуту он защищал не свою честь.

Буфетчица засвиристела в милицейский свисток, и хрупкая фея повлекла его прочь за рукав форменки: «Бегите, бегите, вас арестуют!..» «Визу закроют!» — вспомнил он уроки своего наставника, но если бы его не торопило это неземное создание, он бы спокойно зашагал прочь, уже привычно покачивая широкими плечами.

Защищенная им защитница повлекла его под арку в просторный сквер на Литейном, удивительно безмятежный и по-весеннему зеленый среди городского камня и асфальта, и там на гнутой белой скамейке под мраморной вазой на гранитном постаменте объяснила ему, как он был неправ. «Вы напрасно так рассердились на Шурика, он просто входил в роль Дон Жуана, а я ему объясняла, что он ее неправильно понимает. Он играет короля дискотеки, а Дон Жуан — это поиск неземной высоты, которой не могут дать обычные женщины».

Андрей никогда не слышал подобных выражений и просто обмер, с такой

ирреальной точностью они выражали его чувства, столько лет томившие его, не находя не только исхода, но даже нужных слов.

И вдруг они нашлись. И произнесла их именно та, по которой столько лет изнывало его сердце.

\* \* \*

Я так хорошо расслышал эти слова, потому что мой слух был напрямую подключен к душе Андрея. Да я бы и без этого его понимал, мне Иркин мир тоже долго казался нездешним.

А нездешний мир его феи носил имя Институт театра и еще чего-то, столь же невероятного. Однако и там была своя хозчасть, своя обыкновенность. В академию пробивались и никчемные красотки, думающие, что за длинные ноги им простят отсутствие таланта, и самовлюбленные нарциссы. Мало того, что при поступлении надо читать стихи и прозу, да еще и танцевать — могут вдруг предложить: а ну-ка, рассмешите нас! А теперь растрогайте! А теперь удивите!

Андрей только поражался, чего их туда несет, обычных людей, вроде него самого: никогда бы он никого не сумел ни рассмешить, ни растрогать, ни удивить. А ведь даже и при этом недосыгаемом таланте начинается муштра почище, чем на «Крузенштерне»! Учат так владеть своим телом, что позвонки трещат! Вытянутую ногу заставляют держать над зажигалкой, — Белла такого, правда, сама не видела, но ей рассказывали. Зато ей за талант прощали нехватку спортивной подготовки, она играла душой, а не телом, она голосом стремилась преодолеть тело, заставить зрителей забыть о нем.

И ее учитель, гениальный режиссер это понимал. Андрей однажды видел, как он выходил из машины — с огромным пузом и огромным носом, на котором восседали огромные очки, — Андрей осмотрел все эти атрибуты с таким благоговением, словно именно в них и заключался гений режиссера.

А потом тот вдруг, помимо голоса, заметил и ее тело, которое она так стремилась превзойти.

Андрей к тому времени — по особому приглашению, а не через нормальный крюинг — уже ходил под либерийским флагом третьим штурманом на балкере, по причине ветхости проданном Финляндией гамбургской компании, нанявшей в качестве сеньёров русских старпомов и стармехов, а в качестве матросни филипков — филиппинцев, и получал больше двух тысяч евреев, из которых половину прозванивал в Питер, изнемогая не столько от ревности, сколько от тревоги за свою неземную возлюбленную.

Он не имел права на вульгарную ревность, чтобы не осквернить тот высокий мир, с которым ему каким-то чудом удалось прийти в соприкосновение. А главное, ее голос и впрямь заставлял его забыть обо всем земном — службу он только отбывал, добросовестно, но отбывал в ожидании той упоительной минуты, когда он услышит в Равенне, что гениальный режиссер вдруг открыл у нее сияющие глаза и теперь она должна играть глазами, а в Александрии узнает, что ей необходимо избавляться от зажатости, а в Гибралтаре скорее с изумлением, чем с ужасом расслышит в ее голосе отчаяние пополам с восторгом: мы

не имеем права судить гениев, если он считает необходимым растоптать личность артиста, чтобы наполнить ее новым содержанием, значит, так тому и следует быть, нужно довериться и отдаться...

Здешний мир был окончательно забыт ради нездешнего — Андрей уже не замечал ни штормов, ни штилей, ни муссонов, ни пассатов, ни рифов, ни гольф-стримов — он жил лишь от голоса до голоса, а в памяти оставалась только грубая сталь подъемных кранов да потрескавшийся бетон причалов.

Перед Буэнос-Айресом они бесконечно ползли по Ла-Плате, а потом еще и стали колом на якоре, так что лишь чувство долга перед товарищами не позволило ему пуститься вплавь на аварийном плотике. И его окатило не только ужасом, но и счастьем, когда в ее голосе вместе с отчаянием прозвучала радость: «Это ты?.. Как я рада тебя слышать!.. Я уже стояла на балконе и смотрела вниз — и тут ты меня позвал!»

Она больше никогда не переступит порога театра. Это мир тщеславия, зависти, пошлости, жестокости, где тебя только и стараются унижить...

— Это что, твой режиссер? Хочешь, я его убью? — Он спрашивал совершенно серьезно, словно получал задание у старпома.

— Нет-нет, он гений, мы не вправе его судить, он должен питаться чужими судьбами, он иначе не умеет... Как я счастлива тебя слышать! Только твой голос мне снова открыл, что существует верность, существует любовь...

Сколько же она должна была перемотаться, чтобы усомниться в этих очевидностях! Он прямо обмер, когда увидел ее ссохшееся личико размером чуть ли не в кулачок.

И он отовсюду, откуда только мог, посылал ей свидетельства любви и верности — его голос говорил о них в тысячу раз яснее, чем его усилия зарабатывать как можно больше (он не боялся менять «шпы» и ходил уже старпомом на контейнеровозе) — раз уж он не мог дать ей того высокого, без которого она задыхалась, то по крайней мере она должна была оставаться свободной от забот о низком, — свои труды он рассматривал как чрезвычайно снисходительное искупление собственной примитивности и толстокожести, он представлял себе каким-то носорогом, до которого снизошла бабочка.

И разве имел право носорог судить бесконечно более воздушное и прелестное создание? В редкие нежные минуты, припав к его плечу, она лихорадочно шептала: какой ты сильный, какой ты благородный, любая женщина отдала бы полжизни за твою любовь, но для меня ты слишком мужчина, твои плечи, твои мускулы, твоя бычья шея — это так влекуще для всех, но только не для меня, для меня любовь должна быть преодолением пола, а в тебе все дышит мужским началом...

И Андрей благоговейно замирал, не смея даже и дышать.

Пожалуй, самыми счастливыми в его жизни были те минуты, когда он слышал ее голос в телефонной трубке и знал, что счастье и нежность в его голосе наконец-то пробиваются сквозь его носорожье мужское начало. И наслаждался тем, что далеко не всякий мужик (а может, и никто!) принимал бы ее искания — нет, не с пониманием, не с его носорожьей шкурой было понять ее, — с верой, что никто во всем мире не достоин ее судить.

Он всегда воровато оглядывался, не слышит ли его часом кто из подчинен-

ных, этак весь авторитет потеряешь, как после таких серенад станешь порыкивать: «Нажирайтесь, хоть хрюкайте. Но на вахте должны быть как стекло». Да еще и догадаются, что он не для себя бережет каждый еврик: лучше считаться скопидомом, чем подкаблучником. Как-то в Дакаре капитан заказал горючки до Тулона, а фирма урезала, пожмотничала. И, как положено по закону бутерброда, сначала пришлось идти против сильного ветра, так что топливо почти все выжгли, когда на траверзе была еще только Барселона, а потом дожгли в трехдневном урагане. Капитан даже подал сигнал SOS, но берег по нынешним благородным законам запросил по контракту о помощи такие серьезные бабки, что пришлось ставить на голосование: платить придется из своего кармана. Струнувший экипаж был уже согласен и раскошелиться, но Андрей так презрительно всех высмеял, что они готовы стали скорее лечь на грунт, чем оказать слабину. С тем их, когда улегся ветер, пара буксиров и доставила в Барселону. А пока они там ремонтировались, Андрей не побрезговал подработать по-черному простым подметалой.

\* \* \*

Я тоже бывал ужасно горд, рассыпая перед Ирккой рублевки, полученные за черную работу, и чем чернее, тем лучше. Но мне случалось гордиться и кое-чем еще, а моему Андрею, похоже, кроме денег, было нечем прихвастнуть перед своей богиней.

Это я понял, вновь оказавшись в ночной кухне.

Если бы не запах полыни и далекого степного пала, еле слышно струившийся из позабытой фляжки, я бы решил, что Орфей мне привиделся. Но его невнятно-полнозвучный проникновенный голос продолжал звучать у меня в ушах и на следующий день, а запах, даже когда я завинтил фляжку, держался до утра, это я знаю точно, потому что у меня до первых мусорных баков сна не было ни в одном глазу — ведь видения это же не сны! И вовсе не отчаяние не позволяло мне заснуть, наоборот, — окрыляющий подъем: раз уж судьба подарила мне возможность вступить в борьбу за Иркину жизнь, я был исполнен решимости хоть бы и на своем примере убедить три любящие пары, что ничего дороже друга у них нет и никогда не будет.

Поэтому впервые за десятки месяцев я не отшатывался мысленно от нашего прошлого, так ослепительно много обещавшего и так жестоко обманувшего, но перебирал его в памяти — поначалу любовно, будто первые янтарные самородочки...

\* \* \*

На песке, тускло поблескивая, словно дюралевая ложка, лежал исцарапанный металлический буй, с футбольный мяч величиной. На нем проступало слово GDANSK. Потомки, надеюсь, не поймут, сколь волшебным нам представлялся всякий предмет, проникнувший в наш мир из-за границы. Это была не наша скромная Маркизова лужа, а настоящая Балтика, распахнутая холодному норвежскому ветру. Приближался сентябрь, и я имел полное право укрыться в одежду, но продолжал, не чуя под собою ног, в одних плавках шагать — лететь — по твердому мокрому песку навстречу ветру, испытывая наслаждение от своей

силы и неуязвимости: если бы мне в лицо хлестал ливень или еще лучше снег, я бы чувствовал себя лишь еще более сильным и неустрашимым. Солнце холодно блистало с холодного синего неба, холодные сверкающие волны с мерным шумом накатывали на песок, и он, насыщаясь влагой, тоже начинал сверкать, а померкнув, открывал глазу капельки засахаренного меда — янтаря, которого я никогда прежде не видел в таких количествах, а может, и вообще никогда не видел — возможно, те немногие колечки и сережки были только пластмассовыми подделками, и в неподдельном янтаре меня пленяло именно то, что его медовая суть скрыта под обкатанной морем корявостью, и чем больше она походила на застывшую сосновую смолу, тем сильнее меня чаровала. Сначала я кидался на каждую капельку, потом стал выбирать лишь те, что покрупнее, потом еще и те, что потемнее, но и этих становилось все больше, и я уже начал колебаться, не отсыпать ли не вмещающийся в руки излишек прямо в плавки, когда передо мной развернулась какая-то грязевая река, растекшаяся по полному склону, подобно лаве из жерла вулкана.

Я бы, конечно, никогда не ступил в грязь, но переполнявшая меня любовь к миру вдруг открыла мне, что никакая это не грязь, а всего только смесь двух самых чистых сущностей — земли и воды. И я бестрепетно присоединился к их союзу и тут же понял, что своей босою ступней ощущаю совсем не деревяшку, а что-то гораздо более интересное. Я бестрепетно погрузил руку в медленный густой поток и вытащил на холодное солнце пластину янтаря величиной с ладонь. Прополоскав ее в обжигающем прибое, я убедился, что лучшего представителя янтарного мира я бы и выдумать не мог: полированные светло или темно-медовые изломы, смоляные натеки — мне казалось, я попал в сказку.

— Пограничный наряд, ваши документы! — Три пограничника в зеленых фуражках словно сошли с образцовой советской картины, не хватало только бдительной овчарки на поводке. Они были вежливы, но неподкупны.

Я растеряно развел руками, как бы демонстрируя, что у меня нет даже карманов, где могли бы храниться документы, и махнул рукой в обратном направлении: я-де все оставил вон там.

— Вы видели объявление — запретная зона?

— Как-то не обратил внимания...

И тут я заметил в прибрежных кустах небольшие остренькие ракеты, напоминающие памятники первым пилотам.

— Можно я это возьму? — Я растерянно протянул пограничникам янтарную пластину, и старший, мгновение поколебавшись, кивнул.

Они сопроводили меня к моей одежде — рыжая ковбойка, серобурмалиновые «кеты» и зеленые, как фуражки моего конвоя, хабэшные джинсы, — попутно показав вбитый в песок метровый плакат: ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА! ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН! Но как же мне было заметить подобную мелочь, если взгляд мой был устремлен к солнцу и янтарию!

Паспорта у меня не было, был только студенческий билет, и старший, снова козырнув, предложил мне пройти с ними для выяснения личности.

С янтарной пластиной в руке и выдавшим виды тощим рюкзаком за плечами я брел под конвоем сквозь источающий смолистый дух солнечный сосняк не то чтобы в испуге, но в некоторой оторопи. Я понимал, разумеется, что меня не

посадят в тюрьму, но если даже только оштрафуют — у меня же в кармане последняя треха... А может, еще и продержат под замком, покуда не убедятся, что я это я, — черт его знает, сколько это времени займет...

— Куда это вы его ведете? — Девический голос звучал вполне свойски, и лесную дорогу она перекрыла своим велосипедом тоже совершенно по-хозяйски. Так что я не удивился, когда мои сержанты и старшины, откозыряв, принялись чуть ли не оправдываться: карьер, запретная зона, паспорта нету...

— Так он же ко мне приехал! — Она не упрекала, она разъясняла недоразумение, ладненькая, крепенькая, в линялых блуджинсиках и облегающей футболке в белую и синюю полоску, заметно пошире, чем на матросской тельняшке, с растрепанной каштановой стрижкой и тем носиком, который в советских романах именовался задорным. — А это у тебя что, янтарь? Да у нас таким на даче дорожки мостят! В общем, ребята, я беру его у вас на поруки.

А через пять минут я уже вез свою спасительницу на раме к местам ее детских игр, вдыхая солнечный запах щекочущих волос (в лесу было почти жарко).

— Пограничники — они что, твои знакомые? — спросил я, стараясь не пыхтеть (песчаная дорога пошла в горку).

— Пограничники? Я их первый раз вижу.

Видеть в каждом встречном друга — в этом заключалось и счастье ее, и несчастье.

Нас затрясло на булыжной кольчуге, могучие деревья вдоль старинного шоссе были подпоясаны широкой белой полосой.

— Это немецкие липы, — требуя почтительного отношения, указала Ирка — она знала по имени каждое дерево в любом лесу. — А вот наша развалка.

Среди прошитого пожухлой травой кирпичного крошева высились звонкие готические зубцы, с которых Ирка единственная из девчонок решалась прыгать на единственный расчищенный пяточок (я прикинул, что и сам бы отважился на такое не вдруг). Играть в развалках, разумеется, строжайше воспрещалось: они могли и завалиться окончательно, и кишели ржавыми гранатами — мальчишки то и дело оставались без пальцев или без глаз, хотя погибали почему-то редко, — но Ирку судьба берегла для меня в целостности и сохранности. Она очень жалела, что не может показать мне подземелье — власти все входы забетонировали, — а то можно было под тамошними кирпичными сводами добраться чуть ли не до самого Кенигсберга, они и забирались черт-те куда в поисках Янтарной комнаты. И колодец тоже забетонировали, а то бы мы посостязались, кто дольше провисит на счет над двадцатиметровой бездной на переброшенной через жерло ржавой трубе. Когда в шестилетнем возрасте папа застал ее за этим занятием, его чуть не разбил паралич — он не мог тронуться с места и потом до конца своих дней страдал невротическим радикулитом.

Хотя колодец вроде бы подходил папе по профилю, ибо высверлен он был как будто для неких ирригационных нужд, для каких — Ирка толком не знала. Немцы при отступлении взорвали какие-то шлюзы, ее папу-гидротехника и направили сюда после Ленинградского политеха заниматься осушением затопленных низин. Восточную Пруссию заселяли только нужными специалистами, поэтому Ирка выросла в удивительном мире, где не было шпаны, где — просто

заповедник, если не зоосад! — было некого бояться. И солдаты из соседнего военного городка вели себя на диво благопристойно — маршировали с песней и скрывались за кирпичной оградой, — Ирка многие годы совершенно буквально воспринимала песню «Когда поют солдаты, спокойно дети спят».

Еще она показала мне взорванный мост — вздыбленный бетон, взывающий к небесам, заламывающий скрученные рельсы, по которым тоже было до жути увлекательно карабкаться, — показала и заматерелые яблони, на скрюченных лапах которых всегда можно было очень уютно разместиться. А вот показать немецкое кладбище ей уже не удалось — его снесли совсем недавно, и особенно жалко было надгробия генерала фон Фока, чугунной пирамиды, на которую тоже не каждому удавалось с разбега докарабкаться до самой вершины. Зато противотанковый ров с перекинутой через него вросшей в оба берега ржавой швеллерной балкой зиял на прежнем месте. Перед этой балкой уже и самой Ирке приходилось пасовать: у них только один мальчишка, разогнавшись, ухитрялся перелететь по ней ров на велике.

Не мог же я уступить этому мальчишке!

Ирка пыталась меня удерживать, но лишь раззадорила. Ров, хотя и подзаплывший, был достаточно глубок, чтобы сломать шею, но Иркина колдовская власть над моей душой уже начала набирать силу: когда она была рядом, мне десятилетиями казалось, что я бессмертен и неуязвим. Я разогнался с бугорка и, вполне возможно, проскочил бы, но заднее колесо самую малость занесло в песок, я машинально тормознул, тоже слегка, но этой доли секунды хватило на то, чтобы переднее колесо вильнуло не на берегу, а еще над пустотой. Я успел извернуться и упал грудью на балку (черная полоса не сходила недели три, а вдохнуть полной грудью я не мог и того дольше), но чем мне удалось смыть свой позор — я, будто крючком, стопую левой ноги успел подцепить велосипед за раму и выбрался на спасительный мох вместе с ним, Ирка даже ахнуть не успела.

Правда, потом оказалось, что спасла меня она именно тем, что вовремя ахнула, только про себя, зажав рот ладошкой: она вполне серьезно до последних дней верила, что любовь может спасти от смерти. Однако она не сумела спасти нас даже от безобразия...

Известно, что женщины вдохновляют нас на великие дела, но мешают их совершить. Мне кажется, именно благодаря Ирке — не «из-за», а именно «благодаря» — я не достиг тех высот в своем деле, о которых когда-то грезил: она подарила мне счастье, а счастливым незачем еще куда-то карабкаться. Для меня это звучало когда-то неодолимым призывом: ДЕЛО ЖИЗНИ! А Ирка открыла мне, что жизнь и сама по себе уже есть дело, а главная ее драгоценность — беззаботность. Я мечтал когда-то прослушать весь мир — как звучит космос, как звучит океан, как звучит степь, пепельница, кресло, платяной шкаф, но тугухость счастья не позволила мне расслышать более прочих. Я, конечно, уважаемый человек в своем мирке, да только мирок мой не слишком уважаемый. Может быть, именно поэтому мои дети больше похожи на свое время, чем на меня: три сына, и хоть бы один дурак. Менеджер по кадрам, менеджер по связям, менеджер по продажам, все прочно стоят на своих ногах, при необходимости наступая и на чужие, но без этого *в наше время* не проживешь, и жены у них

прочно стоят каждая на своих ногах, а вот мы с Ирккой как-то всю жизнь просто-яли на общих — я и сейчас не знаю, где у меня мои ноги, а где Иркины.

На чьих ногах будут стоять мои внуки и внучки, пока сказать трудно, но, похоже, тоже на своих. Помню, в одну особенно сумасшедшую ночь Ирка прошептала мне зачарованно: какие у нас должны быть удивительные дети, ведь у нас такая великая любовь!.. Но оказалось, великая любовь не любит делиться, и наши дети, боюсь, как-то почувствовали, что нам и без них хорошо. Нет, не Ирке, это мне для счастья было довольно ее одной: мальчишкам своим я всегда был самым старательным папашей, всякая их беда причиняла мне невыносимую боль, но когда у них все было хорошо, я легко мог о них забыть. А вот об Ирке никогда.

Более того, Ирку-женщину я просто любил, но перед Ирккой-матерью я преклонялся — перед чудом преображения своей девчонки в трепетную маму, выпрыгивающую из постели по первому шороху своего дитяти, готовую питать его и впрямь едва ли не кровью собственного сердца. Уж сколько бессонных ночей она провела по больницам, именно что склоняясь к изголовью до судорог в пояснице. И даже когда наши самостоятельные сыновья приходили к нам на обед со своими самостоятельными женами и воспитанными детками, более всего меня трогала по-прежнему моя Ирка, в чьем голосе немедленно начинали звучать растерянные искательные нотки только что обзаведшейся котятами мамы-кошки.

Но что было особенным чудом из чудес — при всем своем могучем влечении к обихаживанию собственного гнезда Ирка обладала счастливой и вместе несчастной склонностью постоянно расширять его пределы. Если ей поручали подмести пол, она тут же начинала сама вязать веники, растить и резать прутья и так далее — куда наконец не набредала на какое-то выгодное дело, где уже наталкивалась на сопротивление серьезных людей. Сначала она не могла поверить, что ее теснят исключительно корысти ради, пыталась отыскать у своих гонителей какие-то высокие мотивы, затем впадала в отчаяние, а затем — затем снова с упоением ныряла в какое-нибудь новое занятие, серьезных людей до поры до времени еще не интересующее.

Но даже среди бездн отчаяния довольно было призвать на головы ее притеснителей какие-нибудь ужасные кары, как она пугалась и тут же начинала лихорадочно выискивать для них оправдания — так она верила в силу не только любящего, но и проклинающего слова. А еще через пару-тройку месяцев кто-то из ее преследователей как ни в чем не бывало звонил ей с какой-нибудь просьбой, и она непременно шла навстречу, лишь восхищенно потрянув своей каштановой стрижкой: ну наглец!..

К этому времени она уже успевала обжиться на заранее неподготовленных позициях и, как всякий счастливый человек, не нуждалась в мести. Мне и пожалеть ее толком не удавалось. Скажешь ей сострадательно: «Какая ты бледненькая!..» — и она тут же начнет трагически закатывать глаза, заламывать руки, а потом еще месяц будет подходить к зеркалу и сокрушаться: бледненькая я какая, не знаю, что и делать!

Между нами говоря, я и впрямь никогда не мог проникнуться к ней серьез-

ным состраданием — слишком уж несокрушимо жила во мне уверенность, что если она всерьез пожелает, то и львы, и гиены послушно лягут к ее ногам.

Только *в наше время* она наконец забралась в какие-то выси или расселины, откуда не было обратного хода на заранее неподготовленные позиции. Что, где, куда, откуда? «Лучше тебе не знать», — на все был один ответ. Настолько лишенный всегдашнего ее желания хоть чуточку подурачиться, что я уже не смел расспрашивать дальше. Я лишь призывал ее спуститься с безвоздушных высот, выбраться из темных щелей — проживем как-нибудь и на равнине, на свету. «Все не так просто», — роняла она настолько серьезно и непохоже на себя, что любые мои изъявления преданности вмиг оборачивались лицемерными ужимками.

«Так что, все действительно так страшно?» — наконец решился я спросить, мертвея, и она отвечала тоже внезапно мертвеющим голосом: «Не так страшно, как стыдно». И у меня отваливалась глыба с души: стыд не дым, глаза не съест.

Ирку, однако, он съедал на глазах. Счастье ее и несчастье заключалось в том, что она с беззаветностью пятиклассницы верила в детские сказки — ну, что единожды солгавший обязан застрелиться и всякое тому подобное, — так что я далеко не уверен, что она столь уж глубоко погрузилась в пучину порока — но она-то была убеждена, что ей более нет места среди порядочных людей! И хуже всего или лучше всего было то, что именно за эту ее детскую доверчивость я больше всего ее и любил.

Ввязалась она, как всегда, в благородное и никчемное дело — хижины для бедных, очаги для влюбленных, кому выпала судьба вскармливать детенышей под кустом, как нам с нею когда-то, но почему, когда в грудях перерытого ею песка замерцали искорки золота, ее не отодвинули, как это всегда бывало, а наоборот вцепились мертвой хваткой — одному дьяволу известно. Я уже и не задавал вопросов, зная, что услышу только стон: «Ну за что, за что ты меня мучаешь?!»

Поскольку никакой исход впереди не брезжил, Ирка начала искать забвения, и я довольно долго с радостью шел ей навстречу. Наши вечера даже сделались еще более приятными — то мы дегустировали неиспробованные сорта сидра или пышные имена коктейлей, то посвящали вечер какому-нибудь валлонскому пиву или нормандскому кальвадосу, испытывая дополнительное удовольствие, что подобные роскошества нам по карману. Мир виски тоже был разнообразен до неисчерпаемости, не говоря уже о вселенной вин — нас забавляло, что эти напитки герцогов и мушкетеров, все эти бургундские и анжуйские всегда готовы по первому слову излиться в наши бокалы, пацана и пацанки из советского захолустья, — оставаясь вдвоем, мы разом обращались друг для друга в тех юнцов, какими предстали друг другу когда-то на лесной дороге к погранзаставе.

Это было одним из самых сладостных наших времяпрепровождений — предаваться воспоминаниям о нашей упоительной нищете сначала под кустом, потом в Свиной балке, где ленинградские хитрецы на городской полуокраине придумали откармливать изрядное свинячье поголовье, изводя воню окрестное население, — зато цены на тамошние конурки сделались по карману даже таким голодранцам, как мы с Иркой. Для нас все тогда становилось поводом посмеяться — а теперь еще и растрогаться: вспомнить, скажем, как, к негодова-

нию окрестных свинарок, Ирка перетаскивала меня на себе через оборонительную лужу, запирающую вход в Свиную балку всяческим соглядатаям, — резиновые сапожки были только у нее, а таскать рюкзаки в походах она умела чуть ли не наравне с мужиками, хотя сложения была не атлетического, но всего лишь спортивного. А в какой мы купались роскоши, когда Ирка могла вдруг устроить вечер с икрой и шампанским, зная, что завтра не хватит на хлеб! Каким-то чудом Ирка внушила мне свою уверенность: будет день — будет и пища.

Когда я разглядывал Ирку сквозь бокал с шампанским, вино представлялось мне насыщенным воздушными пузырьками янтарем, а Ирка какой-то смесью их обоих — легко вскипала и тут же опадала в смех, и была такой же солнечной и прозрачной, как та моя добытая из грязи пластина, матовую поверхность которой я не поленился отшлифовать сначала шкуркой, а после зубной пастой. Теперь и янтарная пластина казалась мне пронизанным пузырьками воздуха застывшим солнечным светом, единственным земным пятнышком, в котором была замершая в полете мушка — Иркина ребячливость. Только к самым краям пластины начинал сгущаться туман, как будто в шампанское с двух сторон вылили топленое молоко.

Моя привязанность к янтарной реликвии явно трогала Ирку, хоть она и подтрунивала, что после войны таким янтарем у них в городке топили печи. А я отвечал, что она так и не освободилась от своего янтарного происхождения: стоит ее потереть, и к ней тут же липнет всякий мусор. Наша дворничиха — для кого Татьяна, для кого Танька и только для Ирки Татьяна Руслановна — во время запоев трезвонила исключительно в нашу дверь, — привадить ее Ирка сумела, а отвадить уже не могла, только умоляла через дверь: Татьяна Руслановна, мне же не жалко, но вы себя губите, давайте я вам дам денег на лечение, но Танька — страшная, опухшая, охваченная фиолетовыми протуберанцами слипшихся завитков — понимала лишь одно: ее не гонят, значит, есть шанс.

Когда она запивала, то целыми днями, зимой и летом опираясь на лыжную палку, бродила по двору и по подъездам, а к ней, словно гиены, из каких-то нор стекались еще более страшные зловонные бомжихи и начинали водить вокруг нее загадочные хороводы. А однажды медлительная, словно водолаз, раздувавшаяся, как утопленник, баба вдруг вцепилась сзади в Танькины слипшиеся протуберанцы и начала драть их что есть мочи. На что Танька лишь недовольно мычала: ну кончай, ну хватит, ну ладно...

А потом запой спадал, подобно цунами, и Танька, повязавшись платком по моде двадцатых, начинала энергично мести двор, гоня голубей и алкашей.

Бог ты мой, мог ли я усмотреть в нелепой Таньке предвестие Иркиного будущего! Потихоньку-полегоньку в наших воспоминаниях она начала заходить чересчур далеко, умиляться до слез, и когда до меня дошло, что это *пьяные слезы*, я стал уклоняться от всяческих трогательных погружений в канувшее, пытался переключиться на что-нибудь бодрящее — какие у нас самостоятельные и *успешные* сыновья, каким чудесам света мы поедем дивиться в близящиеся недели отпуска, однако не тут-то было, ее никак не удавалось переключить ни на что, по поводу чего нельзя было бы пустить слезу. Да, да, эта ее пьяная слезливость уже начала меня раздражать до такой степени, что я иной раз мысленно употреблял именно такие выражения: *пьяная слезливость, пустить слезу...*

Употреблял пока еще только мысленно. Но если я слишком заметно пытался перевести разговор на что-нибудь более бодрящее, она впадала в патетическую скорбь: я понимаю, тебе неинтересно наше прошлое, я тебе надоела, я тебя понимаю, я сама себе противна, — так что лучше уж было неиссякаемое струение слез по поводу Свиной балки, где мы были так счастливы, чем мраморная неподвижность, прерываемая лишь на то, чтобы нетвердой, отнюдь не мраморной рукой налить и опорожнить еще одну стопку, еще одну рюмку, еще один бокал...

У меня ведь когда-то дух захватывало от нежности, когда она любую ласку немедленно переводила в озорство. Погладит, скажем, меня по голове и тут же отвернет ухо проверить, не выросли ль на его изнанке бесконтрольные волоски: «Безобразия, ты уже месяц ходишь неошипанный!» А в последние месяцы (или годы? Да, конечно, годы) придет, бывало, в умиление, да так и замрет с обмякшей рукой у меня на голове, и не знаешь, забыла она про тебя и можно уже высвободиться или надо терпеть, покуда она окончательно не размякнет.

\* \* \*

Когда я не пересказывал Орфею (я не смел сомневаться в его имени, чтобы не убить Ирку окончательно), а перебирал нашу историю для себя самого, мне уже не открывалось в ней ничего особенно ослепительного: да, было трогательное, было радостное, было грустное, — все как у всех. И только присутствие этого удивительного слушателя, подобно философскому камню, обращало наше прошлое в восхитительную сказку. Даже Иркино пьянство становилось пусть страшной, но все-таки сказкой, а не историей болезни, историей погружения в тупость и грязь. Зато когда Орфей покинул меня, опьянение ушло вслед за ним, а воскрешенный рассудок остался, и я сразу же перестал понимать, какую такую поэзию я ухитрился высмотреть в стареющей тетке, которая от бессонницы выходит подышать ночной свежестью и полюбоваться воздушной громадой Александринки и электрической стройностью улицы Росси и возвращается с фингалом во всю щеку: сначала приложилась к стаканчику виски в какой-то ночной забегаловке, а потом к косяку в подъезде.

Слава богу, в последние годы у нас были разные спальни, но я все равно часами не мог заснуть, прислушиваясь через дверь, как она что-то бормочет, с кем-то объясняется, может быть, даже со мной, но мне был так мерзок ее заплетающийся язык, ее пьяный пафос, что я сам бежал прочь из дому и бродил по улицам либо сидел в каком-нибудь шалмане, покуда не приходило милосердное оупение. Тогда я решался вернуться домой и обычно мне сопутствовала удача: она уже отрубилась и будет отсыпаться до вечера. Но иногда я заставлял ее валяющейся в кухне среди разгроханной посуды, часто в крови из рассеченного локтя или лба, иногда у сортира в задранной выше задницы рубашке, а изредка она и засыпала прямо на унитаза, не считая нужным хотя бы затвориться — а, чего там!..

Пять лет назад я бы отдал голову на отсечение, что ничего подобного... Да я бы и обсуждать не стал подобный бред. И даже когда этот бред начал повторяться через два дня на третий, ко мне уже к вечеру второго приходила уверенность, что все это мне приснилось. И даже когда этот страшный сон стал зани-

мать больше места, чем явь, все равно одного ее искательного взгляда, одной ее затравленной улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и уверился, что весь этот кошмар теперь-то уж точно остался позади. И ненависть, омерзение сменялись невыносимой жалостью — пьяная баба с бесстыдно задраным подолом превращалась в маленькую беспомощную девочку в задравшейся рубашонке. А жалость сменялась заоблачным счастьем, что все эти ужасы наконец-то позади и мы теперь снова всегда будем вместе.

Затеревши синяки, желтяки и зеленяки «телесным» гримом, делающим ее неотличимой от подержанного покойника, для которого служба хорошего настроения сделала все что смогла (какие это мелочи, когда знаешь, что видишь их в последний раз!) — моя Эвридика начинала новую жизнь с таким размахом, словно хотела возместить все упущенные радости. Прежде всего она закупала несколько тонн баранины, телятины, семги, белуги, севрюги, груш, яблок, винограда, смоквы, хурмы, зелени и овощей (огромными пластиковыми мешками зафрахтованный шофер заваливал половину нашей немаленькой кухни), дабы отпраздновать возвращение к жизни с самыми любимыми друзьями, чьей дружбой она гордилась не менее, чем соседством с Александринским театром, Фонтанкой и улицей Росси. Именно ради каждого из них в отдельности она закупала любимые сорта скотч и айриш виски и расшибалась в лепешку, дабы к их приходу изрубить, изжарить, испарить, протушить и сварить ровно четыреста тринадцать блюд, каждого из которых было бы довольно, чтобы прославить ее имя как лучшего кулинера нашей компании и ее окрестностей.

Но что особенно ей удавалось — пышнейшие пироги из белых сушеных грибов, которые нужно было размачивать за сутки, а заготавливать с лета. Прежде, когда были победнее, мы наслаждались лесными заготовками сами, а в последние годы Ирка целыми клетчатými сумками закупала эту труху у какого-то одичавшего интеллигента в перекошенных очках над перекошенной полустеснительной-полублаженной улыбкой. Ты не боишься, что однажды он засушит тебе поганок, время от времени интересовался я, и она немедленно принимала торжественный вид: «Как тебе такое приходит в голову? Сразу же видно, что он порядочный человек!»

— Но он же чокнутый...

— Не настолько же он чокнутый, чтобы белый от поганки не отличить!

Ирка вкладывала в это искупительное пиршество столько души, что по мере приближения торжественной минуты испытывала потребность все чаще и чаще выйти подышать и в итоге встречала долгожданных гостей, едва ворочая языком и с трудом сохраняя равновесие. Наши деликатнейшие друзья и даже их жены с напряженными улыбками выслушивали ее неразборчивые речи о том, как она их всех любит и какая для нее честь их посещение, а когда огромная фарфоровая миска с салатом разлеталась вдребезги, все бросались кто прибирать осколки и протирать изгаженный пол, кто доставать из духовки обуглившееся мясо в горшочках, но самое невыносимо стыдное заключалось в том, что Ирка никак не позволяла усадить себя в кресло, а, мыча, рвалась в бой, как классический пьяный бузотер в вырезвители.

Гости быстро вспоминали о срочных делах, Ирка засыпала в кресле, всхрапывая и пуская слюни, я, изнемогая от позора, относил переведенные продукты

на помойку, а вернувшись, обнаруживал супругу уже на полу рядом с ополовиненной бутылкой скотча или айриша.

(Еще давно, при возрождении нашего благосостояния Ирка приобрела изящный итальянский столик на колесиках — и однажды ночью рухнула на него так удачно, что разнесла в щепки, — не для нашей широкой души их ренессансная утонченность. Дубовый белорусский держался дольше; собственно, ей и отломать удалось лишь одно колесико от его монументальности, но я его все равно выволок на помойку — уж очень тошно было видеть этого атлета скособоленным.)

В последний год, правда, стало немного легче: на Иркины приглашения наши друзья начали рассыпаться в сожалениях, что именно в это воскресенье прийти не могут. И в следующее, увы, тоже. А на субботу супруга сама никого не приглашала, ибо отсыпалась после пятничного запоя.

Но даже и в эти месяцы одной ее жалкой улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и все простил. А взлет счастья и благодарности, что она вновь ко мне вернулась, в тот миг, казалось, искупал все. Я увлекал ее в какие-нибудь волшебные края — и так упоительно было после дождливой балтийской зимы оказаться на сверкающем зеркале Нила, побродить в могучем каменном бору Карнака, посидеть у подножия исполинских пирамид пред не желающим нас замечать каменным Сфинксом, наслаждаясь более всего Иркиной детской радостью: а я-то думала, никогда пирамиды выше фон Фока не увижу, ну скажи, скажи, могли мы подумать в Свиной балке, что когда-нибудь будем здесь сидеть?!

Для меня же это был сущий пустяк в сравнении с тем чудом, что судьба вновь вернула мне прежнюю Ирку.

А на грузовом итальянском ковчеге с экипажем филиппинцев, кланяющихся каким-то спортивным нырком, подавая тебе блюдо в кают-компании (а какой там был крепчайший кофе на камбузе в любое время дня и ночи!), мы бродили зигзагами по всему Средиземноморью, спускаясь на берег вместе с рычащими по рифленным стальным сходням корейскими автомобилями то в гриновской Каподистрии, где нам было не скучно битый час любоваться сияющим водяным ежом прибрежного фонтана, то в бетонно-коробчатом Пирее, в котором не осталось ни зернышка магии, кроме имени, то в раскаленном Ашдоде, где у нас над ухом с оглушительным звоном лопнула палестинская ракета, — но мы бы могли и вовсе никуда не сходить, а так и стоять рука к руке на баке или как там его лицом к теплему ветру, околдовываясь бескрайней гладью, из которой, к Иркиному восторгу, время от времени то выпрыгивали дельфины, тугие и толстые, как чайная колбаса, то медленно вырастали из моря до небес розовые и пустынные не то Споряды, не то Киклады.

А потом мы снова возвращались в постыдный ад нормальной жизни, и на ее щеках снова начинали разгораться прыщи, как будто не зеленый змий, а какой-то гнойный червь погружал в нее свои зубы. Однако лишь последний всплеск кошмара открыл мне, что той Ирки, которую я так любил, больше нет.

Хотя именно она погнала меня к врачу, когда в моем голосе появилась пленительная хрипотца под Высоцкого: «Мне кажется, что с этим новым голосом ты уже не ты». Я согласился, потому что и глотать стало больновато. И заподозрили — что бы вы думали? — да, да, то самое. Всемирное пугало. А в

тот день, когда я сидел в больничном коридоре, ожидая окончательного приговора, мне на мобильник позвонила, не выдержав напряжения, замученная Ирка. Я собрал в кулак все свое деланое безразличие, чтобы ее хоть немножко успокоить, — и услышал в трубке пьяный смех: «Я спылю... И нны рыбботту не ппышла...» Это же так смешно — спать в четыре часа дня. И забыть, что у обожаемого супруга в эти часы решается судьба — жить ему или умереть.

Тогда-то я и решил — холодно, без всякой достоевщины — с нею расстаться.

И сейчас, среди бесконечной безумной ночи, выискивая в памяти все эти картины, я вновь с ледяной решимостью убедился, что был прав. И никакие трубки в черных дырах ноздрей, никакие намертво стиснутые веки не в силах отменить этого непреложного факта: существо, которое было способно мычать и смеяться, когда я сидел у эшафота, не могло и на смертном одре снова превратиться в ту Ирку, с которой мы целые десятилетия составляли единое мироздание.

Орфей, ответь мне, если ты меня слышишь: ведь ты пытался вырвать у адских сил ту Эвридику, которую любил, а мне предлагаешь спасти другую женщину, с которой у моей Ирки уже давно нет ничего общего, кроме имени!

И у моего исчезнувшего гостя не нашлось ни единого возражения. Одно только эхо его удивительного голоса отозвалось под сводами моей души, и — о чудо! — она из ледяного слитка немедленно обратилась в горячее перламутровое облачко, и янтарно-помойная история нашей любви вновь предстала предо мною сказочно прекрасной.

Хотя даже самому Орфею было бы не воспеть мои последние поползновения сделаться холодным деловым человеком.

Со стиснутыми челюстями добравшись по асфальтовому крошеву под замызганной аркой до гибкой блондинки, чье сочувствие ко мне оттеснялось ее наслаждением от собственной дальновидности, я узнал, что если моя жена не пожелает пойти на развод, то мне придется тащить ее к мировому судье (адрес неизвестен). А если она пойти не захочет, ее вызовут повесткой. А если она не откроет почтальону дверь, то в эту минуту я должен быть дома и открыть сам. И заставить ее расписаться на повестке. А если она откажется, я должен буду составить протокол об ее отказе и подписать его у двух понятых (понятых желательно постоянно держать при себе). Одновременно нужно следить, чтобы за это время моя жена не потеряла паспорт или свидетельство о браке, ибо свидетельство могу восстановить и я («Вы не помните, где вы регистрировались?.. Это хуже»), а паспорт должна восстанавливать она сама.

То есть если она захочет, то сможет саботировать процесс до бесконечности? Хотя бы уходя в запои. И что тогда? Тогда, девушка улыбнулась доверительно, не хуже Ирки в давно утраченные годы, — тогда вам остается ждать, когда она выпьет паленой водки... «Но я вам этого не говорила. Хотя, бывает, непьющие супруги сами угощают пьющих какими-нибудь такими-этакими напитками — ну, вы меня поняли».

Я ее понял, и меня обдало холодом. Случалось, не то из-за стыда, не то из-за страха (да этот страх и был стыдом) Ирка иной раз, напившись, ночевала где-нибудь в гостинице, и тогда я до утра не находил себе места уже не от ненависти и омерзения, а от тревоги за нее, и когда она на следующий день наконец

прорезывалась по телефону, в первый миг у меня гора сваливалась с плеч — чтобы в следующий миг навалиться обратно. Но — после этого столкновения со стеной закона ощущение беспомощности перед нею обратило мою холодную решимость в огненную ненависть. И когда, держась за стену, мерзкое растрепанное существо провлачило к себе в спальню и рухнуло мимо кровати, я достал свою священную янтарную пластину и по какому-то наитию начал рассматривать ее на просвет через лупу. И ничуть не удивился, что черненькая мушка оказалась клещом.

После чего я сжег разоблаченную святыню на газовой плите железной рукой. Сначала молочный край закипел и начал ронять на белую эмаль черные слезы рядом с моими прозрачными (я не ее оплакивал, себя), а затем вспыхнул по краям таким стремительным белым пламенем, что мне пришлось разжать обожженные пальцы, и далее, испуская запах соснового костра, сворачивающийся в тоненькую черную нить, янтарь горел белым пламенем на темной конфорке, покуда не превратился в жирно поблескивающую съезжившуюся головешку. Рассыпавшуюся невесомым порошком, когда я попытался взять ее плоскогубцами. Я постарался вдохнуть как можно глубже, чтобы запомнить этот запах погребального костра, — и так страшно закашлялся, что черная пудра разлетелась по всей кухне. А вместе с нею рассеялись остатки моей жалости и сомнений.

И пепел по ветру развеял...

На следующее утро моя бывшая любовь вышла из спальни с войлочным колтуном на виске, опухшая и пристыженная, и я пошел ва-банк крапленой картой.

— Я был в юридической консультации, и мне сказали, что раз у нас нет несовершеннолетних детей, то нас обязаны развести. И если мы это сделаем по добром согласию, то у нас останется хотя бы что-то неоплеванное, а если нет, будем разговаривать через адвоката.

— Не надо адвоката!.. — Она вперила в меня умоляющий взгляд, но я помнил, что жалость меня погубит.

— Хорошо, значит, завтра же подаем заявление. — Куй железо, пока молот тверд.

— Как скажешь...

Я отвернулся, чтобы не видеть этого взгляда побитой собачонки из-под запухших век, и ушел к себе. Я слышал, как она мыла посуду (любая ее хозяйственная возня всегда приводила меня в умиление, но сейчас я неумолимо читал себе вслух статью о подводной акустике), а потом робко постучала ко мне: их бухгалтерия для какой-то отчетности требует предъявить мой паспорт и свидетельство о браке.

Я протянул свой паспорт холодно, как в поезде, и она, робко попрощавшись, медленно-медленно, чтобы не стукнуть, притворила за собою дверь.

Не выйдет взять меня на жалость, я знаю, чем мне придется платить за минуту слабости.

Но такой расплаты я все-таки не ждал.

Когда вечером я обнаружил ее в любимом кресле в любимой свесившейся

позе с отвисшими губами и косо свалившейся на грудь головой, у меня сразу ёкнуло сердце. Паспорт!.. Брачное свидетельство!!

— Алё, алё, где мой паспорт? — Я тряс ее за плечо без всяких церемоний.

— Чи... Ччито?..

— Где мой паспорт, пьяная свинья? — Я произнес это оскорбление с почти нежной проникновенностью.

— Ччево?.. Нне ппыннимыю...

Я вытряхнул на стол ее сумочку — загремели ключи, пудреницы, прочая вечно меня умилявшая мелюзга, — паспорта нету... Свидетельства тем более.

Я наклонился к ней и залепил ей продуманную пощечину, а затем принялся с наслаждением хлестать ее по прыщам: «Где мой паспорт, тварь, где паспорт, гадина, где паспорт, сволочь?..» Я хлестал ее не в яростном самозабвении, но в полном самообладании, не торопясь, *со вкусом*, покуда не заняла поясница от неудобной позы. Она не противилась, только приговаривала: «Ппырраввильна, ппырраввильна...» — и пыталась ловить и целовать то одну, то другую мою руку.

Я ушел к себе и лег на постель, не сняв даже тапок, стараясь не понимать, что происходит.

Робкий стук. Заглянула румяная, как с мороза, даже прыщи слегка померкли. Язык уже заплетается поменьше, я ее немножко отрезвил.

— Мынне пыдаррили этыт кырвыазье. Кыньяк. Кыллега приехал из Фрынции.

Она пыталась улыбаться, словно ничего особенного не произошло, и лед моей ненависти вскипел коктейлем Молотова. Но заговорил я еще нежнее прежнего:

— Когда в следующий раз тебе подарят бутылку — с коньяком, с пивом, с квасом, с рассольником, ты ее возьми и расшиби этому гаду об башку. Они что, не знают, что алкоголикам нельзя дарить спиртное?

Ирка поспешно прикрыла дверь, забыв, где кончается ее голова, прихлопнула себе порыжевшую крашеную стрижку. Попыталась искательно рассмеяться, но я произнес по слогам, собрав все свои нерастраченные за последние годы запасы нежности:

— *Ис. Чез. Ни.*

Я старался не понимать, что тоже превратился в чудовище.

Закурлыкал телефон. Звонила ее подруга по странной работе Алка Волохонская. С Ириной пора что-то делать. Сегодня ей нужно было забросить одному человечку порцию наливки, немного, тысяч триста. И моя супруга заснула прямо головой на груди банковских пачек.

— Конечно, надо что-то делать. Только я не знаю что. О лечении, о подшивке она и слышать не хочет. Нужно сначала сделать мир моральным, а тогда уже у нее не будет причин пить. Кстати, хоть это и мелочь, какого черта ей все время дарят бухло?

— Да ты что, какое бухло, у нее уже и на корпоративах рюмку отнимают. Я даже, пардон, сама не понимаю, почему ее еще не уволили.

— Я тоже удивляюсь. Она и у меня сегодня паспорт потеряла.

— Как потеряла, он же у меня?..

— Как у тебя, откуда?..

- Так она же мне и отдала.
- И брачное свидетельство тоже?
- И брачное свидетельство тоже.

Чутьочку устыдившись, я отправился на кухню, откуда доносился грём кастрюль — в подпитии ее часто охватывает хозяйственный зуд. Правда, обычно не в столь сильном.

Воздух отсырел от грибного духа — покачиваясь над газовой плитой, она дула на ложку с грибным супом. На столе валялась сплюснутая сосиска в тесте — в подпитии опять же она любила закупать нищенские закуски нашей общей юности: готовые холодцы, винегреты, селедку под шубой, вареные колбасы... Теперь вот где-то откопала сосиску в тесте.

— Извини, пожалуйста, — как можно тише, чтобы не прорвалось отвращение, выговорил я. — Паспорт нашелся, он у Аллы Волохонской.

— Ккыкой пыспырт?.. — Она была целиком погружена в грибной суп.

И я пожалел, что снова размяк.

Потом она нажралась окончательно, и даже через дверь было слышно, как ее каскадами выворачивало в сортире, — запирает дверь — к чему такие буржуазные условности!.. В теплой постели я леденел от ненависти. Леденел, леденел, покуда не очутился на горячем солнечном берегу, и только от прибоя тянуло ледком. Но меня это нисколько не смущало, потому что на границе этого прибоя была зарыта Янтарная комната: когда волна откатывалась, нужно было в сверкающей полосе, пока она не успела померкнуть, стремительно выкапывать фигурку за фигуркой. Собственно, это были шахматные фигурки из темно-медового янтаря, только разогретого до текучести сосновой смолы в жаркий день и закрученного в самые причудливые узлы. И эти узлы, чистенькие, как та же лесная смола, я один за другим подавал Ирке, которая каждый раз радостно вскрикивала: «Ах! Ах!». Притом все чаще: ах, ах, ахахахахахаха...

Кажется, я от удивления и проснулся. Это была даже не икота, а изумленные возгласы в себя. Но люди не изумляются так безостановочно, особенно такой глухой ночью, которая ощущалась даже в мертвом безмолвии за окном. Сонную очумелость с меня смыло как ведром ледяной воды. Я распахнул дверь в Иркину спальню и без церемоний включил свет. Из-под свалывшейся, закрывшей половину лица рыжей стрижки ввалившиеся щеки выглядели мертвой белизной, словно незагорелая кожа из-под плавок. Ирка безостановочно вскрикивала в себя, а потом ее чуть ли не на минуту стянула судорога, она перевесилась с кровати и долго вымученно мычала, но так ничего из себя и не выдавила, кроме новой волны пропитавшего комнату пронзительного запаха грибного супа.

— Что ты... пила? — хотел спросить я (паленая водка, пронеслось у меня в голове), но вместо этого по какому-то наитию выкрикнул: — Ела?!

— Поганки, — еле слышно простонала Ирка, когда спазм наконец отпустил ее. — Запаслась... на черный день.

\* \* \*

Когда я вынырнул из последней волны грибного духа на собственную предутреннюю кухню, я снова уже не испытывал ничего, кроме ужаса и ошеломления, и не знаю, что бы со мною случилось, если бы моему бессильному стону

откуда-то издалека-издалека не откликнулся эхом мой полнозвучный гость. Слов я не разобрал, но его едва слышный голос сумел вместо пустого отчаяния, пустого раскаяния, пустого раздиранья моих же никому не нужных ран зарядить меня волей к искуплению. Я вновь ощутил уверенность, что сумею исполнить его уроки, ибо тот, над кем слово властно, и сам обладает властью над словом, а до встречи с Ирккой власть слова надо мною была огромна.

Боже праведный, вот же кого он мне напомнил, мой ночной гость — того ночного спутника! Так, может быть, Орфей уже являлся мне однажды, а я лишь по своей тупоголовости и легкомыслию пропустил мимо ушей его призыв, его намеки?..

Орфей, ответь, это был ты или не ты?!

Но он ответил мне только перестуком колес из-под пола.

\* \* \*

Опаздывая, уже никто и не считал на сколько часов, поезд влачился по диким степям Казахстана. Снежная равнина за окном была настолько лишена хоть каких-нибудь маячков, что если бы не медлительные «тук-дук, тук-дук» под полом, то временами становилось бы непонятно, еще ползем мы или уже стоим. Ко всему прочему в вагоне — плацкартном, разумеется, купейные в ту пору пребывали для меня в каком-то нездешнем измерении — почему-то не зажигали лампы, и народ, давно махнувший на все рукою, даже не пытался узнать, почему нет света и когда зажгут: зажгут, сам увидишь. Доминошники в боковом отсеке держались дольше прочих, но когда у них кончилась вторая бутылка, они тоже заметили, что в мерцании снегов уже давно невозможно разобрать достоинства их костяшек, и наконец-то прекратили свое клацанье, — один лег лицом на неоконченную партию, другой, мотаясь, забрался на верхнюю полку, и оба погрузились каждый в свой мир тревог и битв, изредка вскидываясь и сдавленно вскрикивая в особо драматических эпизодах.

Поскольку в ту минуту я как раз перестал понимать, стоим мы или движемся, мне показалось, что новый сосед подсел к нам с мамой на ходу. Заоконное мерцание не позволяло разглядеть его лицо, но силуэт поразил меня своей нездешностью — до этого я видел длинные волосы только на портрете Тургенева в нашем полуспортивном-полуактовом зале, ну а Маркса я вообще не считал за человека. А такой уверенной посадки головы я и вовсе никогда не видел ни у людей, ни у портретов.

При этом в нашем новом спутнике не было ни тени надменности, он был сама предупредительность, но уже по одному тому, что для него требовались никогда прежде не употреблявшиеся в моем мире слова вроде надменности вместо нахальства и предупредительности вместо культурности, то впоследствии я оценил его манеры как аристократические — слово в ту пору мне вовсе неведомое, но я и в свои двенадцать почуял, что каким-то подобным образом, должно быть, обращались друг с другом Атос и Арамис (д'Артаньян был слишком задирист, а Портос простоват).

— Надеюсь, я не помешаю? — Кто бы стал такое спрашивать, держа в руках пусть и неразборчивый, но тем не менее полномостный билет в наше купе,

однако ему и мама откликнулась каким-то особенным голосом, каким никогда не разговаривала со знакомыми:

— Что вы, что вы, нет, нисколько!

Теперь бы я назвал их интонации светскими, но и до этого слова мне предстояло расти еще лет десять.

Нет, это у мамы они были светские, а для нашего ночного гостя эта неестественность была естественной. Он, казалось, наполовину вообще говорил как будто сам с собой, размышлял вслух.

Я не берусь пересказать, о чем мы тогда проговорили половину ночи в мерцании бескрайних снегов, тем более что плоский буквальный смысл его слов только исказит их глубину. Наши с мамой слова бродили по обыденности, а он как будто приподнимал то половицу, то пластину асфальта, то кусок дерна, и там открывался бездонный колодец, и оброненные туда его камешки-реплики отзывались гулом бескрайних пространств, и мир из маленького и обыкновенного становился огромным и значительным.

В таком, что ли, духе?

— Едем, едем, а там — ничего, пустыня... — вздыхает силуэт мамы, словно бы отмахиваясь от мерцающего окна.

— Там вся таблица Менделеева, — как бы для самого себя отзывается гость. — Золото, серебро, уран, висмут, молибден, фосфаты... Не перечислить. Когда-нибудь всю эту Сары-Арки поднимут на дыбы до самого Тянь-Шаня.

После почтительного молчания я вворачиваю формулу фосфорного ангидрида — пэ два о пять, — и гость искренне радуется за меня:

— Вы же химию еще не проходите?

— Он свои уроки учить не хочет, а все вперед забежать норовит, — с гордостью жалуется мама, но гость одобряет меня без всякого взрослого покровительства, он и вообще говорит без малейшей примеси хоть какой-то игры:

— Вот и правильно. Если подстраиваться под самое медленное судно, далеко не уплывешь. А вашему сыну суждено большое плавание.

И в этих его словах не звучит ни нотки лести или даже любезности — он просто говорит, что думает.

Я замираю: я давно об этом подозревал! А мама смущена — как бы я не вздумал зазнаться, в нашей семье это самый страшный порок.

— Плавание-то плавание... Но он совсем не хочет знать слово «надо».

— Его всю жизнь будут учить делать то, что надо. Так пусть хоть сейчас учится делать то, что хочется.

В его голосе звучит искреннее сочувствие ко мне и — да, надежда, что меня ждет впереди что-то настолько прекрасное, что я этого пока что и вообразить не могу. И я тут же зажигаюсь этой надеждой. Вернее, наконец-то даю ей волю.

— Да всякий бы рад делать, что хочется, — покоряется и мама. — Только за это всегда потом платить приходится.

— Ну и что? Бывает так, что всю жизнь платишь, зато и всю жизнь собой гордишься.

Я никогда ни до, ни после не слышал, чтобы подобные слова произносили

с такой простотой. И никогда больше не убеждался с такой очевидностью: разумеется же, это чистая правда.

— Бетховен тоже все время мне твердит: надо, надо... — продолжал размышлять наш невидимый спутник, уносясь в совсем уж недоступные выси. — А Моцарт просто дарит тебе крылья, и ты летишь. И потом всю жизнь помнишь эту минуту. А струсишь, усомнишься — и она уже навсегда осталась позади, как Эвридика. И потом будешь всю жизнь умолять ее вернуться, но тебя даже слышать будет некому.

Книгу Куна, «Легенды и мифы Древней Греции» я перечитывал без конца, но все больше про войны, про Гектора, которого любил за звучное имя, и Ахилла, которого недолюбливал за хилое звучание, — Эвридика же лишь неясно блуждала где-то на краю моей Ойкумены. И только странный спутник открыл мне, сколь волшебным звучит это имя.

А разглядеть его самого мне так и не удалось: когда вспыхнул свет, сосед из бокового купе, спавший лицом на угловатой доминошной змее, грохнулся на пол, и мы все оцепенело взирали, как он со впечатавшейся в щеку траурной костяшкой ошалело собирает себя на четвереньки.

— Пить надо в меру, сказал Джавахарлал Неру! — торжественно возгласил придушенный бас в соседнем купе.

— Пить надо досыта, сказал Хрущев Никита, — бодро откликнулся суетливый тенорок, но бас тут же его осадил:

— То-то все у вас и пропито, добавил маршал Тито.

И свет погас снова, убив на время даже мерцание за окном.

— Как будто теплом в лицо пахнуло, — простодушно сказала мама в непроглядной тьме про исчезнувший свет.

— Закон Джоуля—Ленца, — поспешил вставить я, и невидимый спутник с удовольствием подтвердил:

— Правильно. Но англичанин Джоуль его открыл все-таки годом раньше нашего Ленца. Хотя начинал как пивовар.

Он все на свете знал.

— Джоуль ведь даже в акустике работал. — Слово «акустика» прозвучало почти так же волшебным, как слово Эвридика — столь мечтательно он его произнес.

Чтобы завершить ошеломляющим:

— Ваш сын будет великим человеком: он умеет слушать.

— Это вы умеете говорить! — Чтобы он меня не портил, растерянная мама чуть не замахала на него руками, уже проступившими в ожившем мерцании снежной равнины, но удивительный спутник спокойно и уверенно отверг эту суету:

— Умеет говорить только тот, кто умеет слушать.

С тем он и исчез из нашей жизни — возник из снегов и растворился в снегах.

Оставив мне четыре волшебных слова — большое плавание, акустика и Эвридика. И когда я разбивал себе морду сам или мне разбивали ее добрые люди, я всегда повторял про себя: большое плавание, большое плавание...

И лучше всего, если бы меня вывела в великие люди акустика, а полюбила за мои подвиги Эвридика.

Однако же я жаждал услышать и неба содроганье, и гад морских подводный ход лишь до встречи с моей реальной Эвридикой, с Ирккой. А после мне из всего мироздания довольно было слышать ее.

Нет, чувствую, мне удалось передать колдовскую силу речей нашего спутника не лучше, чем эдисоновский фонограф передает магию Карузо: это тот самый случай, когда кое-что гораздо хуже, чем ничего. Но, может быть, искажение голоса рельефнее оттенит власть слова, которое было в начале моего обращения к мечте? Конец которой, сама того не подозревая, положила Ирка...

Если бы не Ирка, обладание которой никогда не позволяло мне ощутить себя окончательно несчастным, меня бы ужаснула одна только мысль после похорон мамы в последний раз прокатиться нашим с нею путем. Тем более что в этом заброшенном Богом крае все оставалось прежним, и даже свет в вагоне все так же отсутствовал, и влачащиеся за окном снега мерцали по-прежнему, и только прежним подпольным и медлительным ударам «тук-дук, тук-дук» распадающийся вагон отвечал мучительным дребезгом, да боковой отсек был свободен от доминошников — дорога тоже умирала. Свободен был и я: меня никто не видел, и я не препятствовал слезам катиться до самой пазухи. Это были слезы примирения: я знал, что меня ждет Ирка, с которой ничего не страшно, и помнил, что сумел скрасить маме ее последние дни, и слезинка выкатилась из ее угасающего левого глаза лишь в первый миг, когда она меня увидела. А потом я все часы, покуда она не засыпала, сидел у ее кровати и смешил ее, так что смеялась вся палата, и женщины потом говорили, что никогда еще не видели таких преданных сыновей, и мама растроганно улыбалась до последней минуты, а я благодарил дар слова, явившийся мне на помощь в эти страшные часы и принесший с собою для мамы дар забвения.

И для мамы, и для меня. Он и в вагоне меня не покинул, так что в темноте рядом со мною сидел мамин призрак, и я совсем не обрадовался новому соседу, явившемуся из тьмы с полномостным билетом.

— Надеюсь, я не помешаю?

Я бы вздрогнул, если бы эти слова не были произнесены совершенно другим — сиплым, пропитым голосом.

— Что вы, что вы, нет, нисколько, — заторопился я, поспешно вытирая мокрые щеки о плечи.

Слабое мерцание не позволяло разглядеть опустившуюся напротив меня фигуру, и я запустил пробный шар — постучал по стеклу и произнес тоном завязатого пикейного жилета:

— Кажется, пустыня, а на самом деле вся таблица Менделеева. Золото, серебро, уран, висмут, молибден, фосфаты... Когда-нибудь всю эту Сары-Арки поднимут на дыбы до самого Тянь-Шаня.

— Да, — неохотно согласился мой не то новый, не то старый спутник. — Пока недра не выскребут, ничего развивать не будут. Не хотите выпить? У меня с собой есть.

— Пить надо в меру, сказал Джавахарлал Неру, — пустил я в ход тяжелую артиллерию, но мой визави и этого пароля не узнал.

— А я пью в меру, — оскорбленно просипел он, и меня бросило в жар: я ошибся, это не он, такую прибаутку он не мог забыть.

— Что вы, что вы, я совсем не про вас, просто лет сорок назад гуляла такая шутка, я думал, вы помните...

— Да кому они теперь нужны эти Джавахарлалы... Значит, не будете?

Он побулькал из горлышка и поставил силуэт бутылки на стол. Даже в темноте было заметно, как его передернуло. Но заговорил он, однако, с подбравшей хрипотцой: куда я еду, почему такой длинной дорогой? Я соврал, что хочу заехать к родне во Фрунзю, как произносила моя бабушка.

— Фрунзе... — Мой визави словно бы с сомнением взвесил это слово на невидимой ладони. — Бывший Пишкек. Нынешний Бишкек. Это палка, которой взбивают масло. Посмотрим, какое масло они собьют. А оттуда, значит, в Ленинград? Или теперь уже Петербург? Какой в совке может быть Петербург, настоящие петербуржцы давно в Париже... Вернее, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Нет, это все-таки он.

— Хотя в Питере, наверно, и сейчас жить повеселее, чем в нашем ауле. У нас же теперь все государство один аул. Я живу в маленьком ауле, а они в большом, вот и вся разница. Я им не завидую: бывают такие минуты, что нужно решиться на *поступок*. Чтобы потом всю жизнь гордиться собой. Или локти кусать, что не решился. Ведь главное в жизни самоуважение, правильно? Когда живешь и знаешь, что ни перед кем никогда не стелился, не падал на четыре кости.

Я поспешно подтвердил, грустным вздохом постаравшись показать, что сам-то я на такую высоту духа не замахваюсь, и он это уловил, заговорил не напористо и амбициозно, как это свойственно неудачникам-алкашам, но доверительно, словно бы рассуждая с самим собой.

Нет, это несомненно был он. Только как же он так пропил свой аристократический голос? Я сделал усилие, чтобы в его голосе расслышать одну лишь составляющую мужественного обаяния «а ля Высоцкий».

— Я никогда никому не завидовал — кто живет в столицах, устраивает карьеру... Стелется перед нужными людьми. А я в своем ауле сам себе хозяин. Дальше юрты не пошлют, меньше класса не дадут. Да и куда они без меня, где они еще найдут такого Леонардо, который бы им все уроки вел от химии до географии. Хотя и меня иной раз брала тоска, не хочется готовиться, пусть лучше расстреляют. Поставлю учебник уголком перед собой и читаю с пропусками, чтоб успели вдуматься. А когда они начинают отвечать, читаю какой-нибудь толстый журнал под столом, чтоб от их ответов с ума не сойти. На журналы деньги выделяли. Заставляла советская власть комедии разыгрывать. Зато теперь ни комедий, ни химии. А учитель все равно был в большом почете. Зима, вьюга, страшно на улицу нос высунуть, а мои братья-кочевники выводят жеребца и гоняют, чтоб пот выгнать. А потом его ножом в сонную артерию. И меня всегда зовут на бешбармак, мне первому наливают арак в пиалу — обязательно по краям потечет за воротник. А хозяин с превеликим почтением вытрет собственным рукавом. И в этом будет столько искренности, что никако-

му министру, никакому академику за тысячу лет не выслужить. Ведь я мугалим, большой человек.

В его голосе снова прозвучала оскорбленная гордость, и мужественная хрипотца вновь обернулась пропитой сиплостью. Я, может быть, еще сумел бы это не расслышать, но тут как назло вспыхнул свет, с безжалостным цинизмом осветив изжеванную, испещренную лиловыми червячками физиономию старого алкаша. Свет поддержался ровно столько, чтобы разглядеть еще и убожество поношенной, вероятно, списанной уходящими советскими частями полевой формы, на которую особенно нелепо ниспадали немые космы цвета давно нечищеного серебра. Или молибдена. Которого я, правда, никогда не видел.

Похоже, и он понял, что я все понял, ибо даже когда непроглядная тьма понемногу вновь рассеялась мерцанием снегов, ни он, ни я долго не решались прервать молчание.

— А вы не помните мальчика с мамой, которому вы в такую же ночь, в таком же поезде когда-то предсказали великое будущее? — так и не решился спросить я, да и какая разница, помнит он это или не помнит. Брошенное семя дало всходы — я долго мечтал и даже время от времени ступал то на одно, то на другое великое поприще, куда любовь к Ирке не открыла мне глаза, что лучшее поприще — это счастье, — счастье и заглушило слово Орфея. Если это, конечно, был Орфей. О чем тогда ни я, ни тем более мама, разумеется, и помыслить не могли.

Я пожелал своему спутнику спокойной ночи и, не раздеваясь, отвернулся к стене. Я хотел только притвориться спящим, но представил Ирку и тут же, разнежившись (наше-то счастье казалось бесконечным!), в самом деле заснул.

Проснулся я снова в темноте, но в купе уже никого не было. Мой спутник вновь каким-то чудом угадал свой полустанок и, как и в прошлый раз, растаял в снегах.

На этот раз уже навсегда.

\* \* \*

Или все-таки не навсегда? Или все-таки нынешней ночью это именно он снова меня разыскал? Но зачем ему было во второй раз в поезде являться мне в образе ерепящегося неудачника, которого я долго вспоминал со смесью жалости и смущения? Не давал ли он этим понять, что я лучшего не заслуживаю, что служение делу, служение предназначению я променял на любовь к женщине, как мой ночной спутник променял его на гордую позу? А я еще годами жалел его с высоты своего счастья... Хотя надо было, может быть, жалеть себя, обменявшего поиск великого поприща на домашний уют?

Не зря же я никогда не рассказывал Ирке про ночного спутника, посулившего мне великую судьбу, — это я, и живший-то наполовину ради того, чтобы все пересказывать Ирке! А про ночного Орфея никогда даже не заикался. Чтоб Ирка не догадалась, что я каким-то хитроумным способом ее обманул: ведь влюбилась-то она в мечтателя и авантюриста, а получила преданного и счастливого супруга, не нуждавшегося ни в чем, кроме нее.

Ведь она должна была боготворить себя, чтобы довольствоваться паладином, не знающим ничего, выше ее самой... Но уж чего-чего, а самообожания в

ней не было ни зернышка. Ни вообще трепета. Даже к смерти она относилась примерно как к пищеварению: пока оно в порядке, незачем про него и помнить. А если расстроится, нужно лечить.

От смерти, конечно, не вылечишь, значит, про нее и вовсе думать не надо — только выполнять как можно более тщательно процедуры, придающие ей благопристойный вид. При всем кажущемся Иркиным легкомыслии она умела железной рукой отсекал ситуации, где она оказывалась беспомощной: умела поплакать, поотчаиваться — и переключиться на что-то осуществимое.

А вот я, склонный когда-то замахиваться на невозможное, — почему я никогда ни у кого — даже ужасом и тоской — не просил вернуть мне маму? Считал законным ее уделом послужить навозом нашему цветению и в положенный срок кануть в вечную ночь? Наверно, и не без того, но главное — в нашем с Ирккой счастливом гнездышке я мог прожить без кого и без чего угодно. И без великого поприща, и без отца, и без матери, и без детей, и без внуков — лишь бы они стояли на своих ногах. И даже теперь я был готов вернуть в чужие гнездышки даже не трех, а тридцать трех Эвридик, чтобы только Орфей вернул мне мою.

Я найду, найду для них нужные слова! Если уж моим словам случилось изменить человеческую судьбу, когда я не очень-то и старался. Однажды в поезде я в подпитии наговорил ехавшей в Москву «поступать» замухрышке, что она невероятно нежная и удивительная — и через двадцать лет встретил ее женой министра-реформатора. А в другой раз моя красивая неправда перевесила даже слово Сына Человеческого!

\* \* \*

Хотя в начале были неприятности.

Неприятности начались еще на кряжистой галерее Гостиного. Сновавшая с независимым видом по второму этажу фарца не глядя бросала мне короткие, как плевки, «чего надо?», «чего надо?» так отрывисто и презрительно, что я хотел сразу же уйти. Но цыганка, цветастая, будто клумба, глядя прямо в душу своими печальными индийскими глазами, говорила до того проникновенно, словно предлагала не «техасы», но себя самое. Техасами в ту пору называли джинсы, и все, что я о них знал, а стало быть, и желал, это были выстроченные W на задних карманах и красные молнии на них же (клепки полагалось добавлять по вкусу), — я был уверен, что нашей Паровозной, которую я намеревался ослепить, тем более сравнивать будет не с чем.

Если уж ослепленным оказался я сам. Хотя из недр приоткрытой кирзовой сумы лишь на миг успели просиять и желтые пунктирные W, и красные молнии, и никелированные клепки, насаженные гуще, чем на паровозном котле. Когда у меня появилась Ирка, желание красоваться покинуло меня в считанные недели: та единственная, на которую я желал производить впечатление, и без того мне принадлежала, да ее было бы и не взять ни молниями, ни громом. Но в тот год меня еще можно было пленить этим дикарским бисером.

Зачем мерить такому стройному красавцу, я и так вижу, что прямо на тебя пошиты, изнемогая от любви и скорби, внушала цыганка, не сводя с меня печальных индийских глаз, поедешь к папе с мамой (как она узнала, что я нездеш-

ний?..) — все девушки будут вслед смотреть, не скупись, красавец, тебя много счастья впереди ждет. Что такое пятнадцать рублей для такого молодого?

Я не скуплюсь, оправдывался я, у меня правда только десять, ну, хотите, возьмите авторучку, она стоит три рубля. Только ради меня она взяла авторучку, сунула мне под мышку джинсы — и округлила свои индийские глаза в смертном ужасе:

— Милиция! Беги, красавец!

И исчезла. А я остался на внезапно опустевшей галерее, сияя из подмышки алыми молниями.

Не верьте этому предрассудку — толстогубые люди с водянистыми глазами и бесцветными ресницами вовсе не обязательно добродушны, — этот милиционер повел меня в пикет не просто по долгу службы, но прямо-таки с нескрываемым сладострастием. «Что с того, что не продавал, — все равно участвовал в спекулятивной сделке. Студент? Значит, все, отучился. Послужишь родине в стройбате». Я даже не пытался его о чем-то просить — слишком уж очевидно было, что это только обострит его наслаждение, — лишь старался не понимать, что происходит. (Вот и зря, впоследствии пеняла мне Ирка, к людям всегда нужно подходить с открытой душой, даже к самым противным.) Бежать уже было невозможно — не пробиться сквозь толпу.

То-то мать порадует, сладострастно разглаживал мой убийца на убогом канцелярском столе какие-то протоколы, а где она, кстати, живет (тоже как-то понял, что я нездешний...) — неправильно, надо говорить не рабочий поселок, а поселок городского типа. А на какой улице? На Паровозной? Вот ни хера себе, а я жил на Тепловозной.

Я изобразил почтительное удивление: паровозам-де, конечно, за тепловозами не угнаться, не всем так везет — уродиться на Тепловозной! Но электровозы все же будут почище...

— А вот тут я с тобой не соглашусь. Для электровоза напряжение тянуть надо, а тепловоз на любой автобазе может заправиться!

Если бы я уступил ему электровозы без сопротивления, он бы ни за что не проникся ко мне такой нежностью. Он мне даже дал старую газету «Труд», чтобы я не привлекал своими алыми молниями опасного внимания. И еще напутствовал меня крамольным анекдотом о газетном киоске: «Правды» нет, «Советская Россия» продана, остался один «Труд».

Когда он произносил слова «Россия продана», в его голосе прозвучала неподдельная горечь.

Этим «Трудом» мне и надо было бы накрыться, когда за галечными осыпями и порожистыми речушками Южного Урала меня под утро разбудила сотня прапорщиков. Вернее их было только трое, но галдели они за целую роту, обращаясь друг к другу по званию: прапорщик Иванов, прапорщик Петров, прапорщик Куксенко. Ат-ставить! Я свесил голову, чтобы они меня заметили, и они отреагировали с предельной благовоспитанностью — мы вам-де не мешаем? (Всего-то три бутылки на столике, а шуму...)

— Конечно, мешаете, — сердито ответил я и перевернулся на другой бок, еще не отдавленный полированным деревом (в ту пору я не тратил скудные рублики на такую глупость, как постель).

Один из прапорщиков поднялся на ноги и потрогал меня за плечо:

— Может, и ты к нам?

— Куда его к нам, ты что, не видишь, он красножопый? — раздался голос снизу, и всякие церемонии были окончательно отброшены.

Что в пору Питеру, то рано для степей, куда я направлялся, но убедиться в этом мне еще предстояло. Сползши с полки, я побрел в тамбур, — там хотя бы не было самых противных в мире звуков — бесцеремонных человеческих голосов, один только ничего о себе не воображающий честный лязг тормозной площадки, дверь на которую не удавалось захлопнуть никакими усилиями.

Я прижался лбом к стеклу, и оно тут же исчезло, осталась только степь.

Через год я бы сказал: осталась степь за стеклом и моя Ирка во мне. Но тогда я смотрел и смотрел для себя одного.

Мягкая оранжевая трава лежала до горизонта, причесанная в одну сторону, словно речное дно, а из-за горизонта выдувался огромный приплюснутый пузырь, вырастая и расправляясь с каждой минутой... У меня и сейчас сжимается сердце, когда — где угодно, хоть в метро — на миг прикрыв глаза, я оказываюсь в нашей степи. Кажется, что там ничего нет, но это неправильно — там есть она, степь.

Я вернулся в вагон, уже расправившийся, как солнечный шар, и не испытал ни досады, ни злорадства, когда обнаружил в купе возню вокруг раскисшего прапорщика Куксенко: «Прапоушчик Куксенко, устать!» Куксенко сидел, свесив слюни (бог ты мой, мог ли я подумать, что буду так когда-нибудь поднимать мою Ирку!..) на белые подштанники из той же рубчатой холстины, что и мои техасы, только они были синие, как спецовки в нашем железнодорожном депо.

Тем не менее, когда мы с моим другом Сашкой Васиным отправились по старой памяти покататься на товарняках, ему сошли с рук даже длинные золотые волосы (нет, нет, к Орфею они точно не могли иметь никакого отношения!), а меня окликнул первый же работяга: «Эй ты, красножопый, ты чего тут отираешься?» Я оглянулся — мой оскорбитель стоял на груди ржавого металлолома со ржавой железякой в руках, облеченный в спецовку того же цвета техасского неба, щедро помазанную мазутом и ржавчиной, от крещения коими я так легкомысленно отрекся.

Сашка, мудро избравший умеренный технический вуз в отчих краях — не то в Челябинске, не то в Омске, не то в Барнауле, — деликатно потупился; я тоже хотел сделать вид, что не расслышал, однако не на того напал. «Я тебе, тебе — какого хера тут отираешься?» Из полумрака кирпичного цеха, с недобрым любопытством посвечивая африканскими белками, подтянулась еще парочка-тройка таких же чумазных помазанников, вооруженных исполинскими гаечными ключами.

Год спустя, когда у меня появилась Ирка, окажись она здесь, я бы пошел на этих африканцев с голыми руками, — правда, Ирка тут же все бы и утрясла, вооруженная главным своим орудием — открытой душой. Только при Ирке у меня и лихачить прошла охота, — та единственная, ради которой стоило рисковать, и без того мне принадлежала. (Сам наутро бабой стал, внезапно прогремел у меня в ушах грозный оперный хор, и ему немедленно откликнулся скомо-

рошистый тенорок: «А зачем бабе баба?» — и меня в очередной раз обдало особым морозцем.)

А в ту паршивую минуту лишь готовность пойти на риск увечья спасла меня от унижения: на мое счастье подкатил грозно полязгивающий товарняк, слишком даже быстрый, чтобы вскакивать на ходу, но я не колеблясь ухватился за ободранную скобу у тормозной площадки. Рвануло так, что чуть не выдернуло руку из плеча — я и не заметил, как из техасов вывалилась последняя клепка (теперь они казались простроченными из пулемета), зато отчетливо почувствовал, как они затрещали в шаг, и ощутил там приятное веяние прохлады, хотя мазутный воздух был по-степному горяч. Сашку я втащил уже за руку — товарняк внезапно нагнал. И не притормозил даже у семафора, где мы обычно спрыгивали.

Он так и молотил по рельсам с серьезной крейсерской скоростью — спрыгивать было бы чистым самоубийством, и мы довольно скоро оставили шуточки, а спустившись с тормозной площадки на ступеньку с двух сторон, принялись махать машинисту.

Вотще. Ты не помнишь, где следующая станция, как бы небрежно прокричал Сашка со своей ступеньки, и я как бы небрежно прокричал в ответ: «Где, где — в Караганде». И мы как бы непринужденно засмеялись. На самом деле мы уже были черт-те где, а поезд все наддавал и наддавал. Я теперь старался лишь не понимать, что происходит, но только следил за мелькающей ржавой щебенкой у себя под ногами.

Наконец я выкрикнул Сашке: «Давай!» — и изо всех сил оттолкнулся против движения: мне показалось, что этот тепловозный садист сбавил ход до терпимого. Но показалось только по контрасту — я лишь чудом удержался на ногах, и не в последнюю очередь благодаря тому, что техасы уже не стесняли мой бег. Если бы я сумел выдержать такой темп на стометровке, меня наверняка взяли бы в олимпийскую сборную.

Когда мне удалось остановиться, товарняк уже прогрохотал в неведомую даль, открыв мне Сашку, неспешно отряхивающего степную пыль со своих отглаженных брюк цвета кофе со сливками. К нему удивительно быстро вернулись манеры британского лорда (и все-таки красные молнии оказались более враждебными... Ба, вот он на кого был похож — на Ференца Листа! Не догадывался я, что и это сходство было предвестием...)

Перешучиваясь еще более оживленно, мы зашагали обратно по отполированной до глянца, мелко растрескавшейся грунтовой дороге. День клонился к вечеру, солнце припекало все более и более снисходительно, и наши длинноногие тени шагали перед нами, утягиваясь все дальше и дальше. И мы добрались бы до дома еще до темноты, если бы слева не вырос Красный Партизан.

Странные, неведомо кем и для чего расставленные среди степи ряды бетонных коробок, не оживленные ожерельем одноэтажных домишек с огородами, были населены свирепым племенем красных партизан, из чьих когтей и зубов еще ни один чужак не ушел живым. Рассуждая по-умному, нам следовало бы перебраться через железную дорогу и обогнуть партизан по степи, но для этого мы слишком долго перешучивались. Поэтому мы продолжали идти навстречу опасности, перешучиваясь, правда, уже вполголоса, хотя до окраины Красного Партизана, которой почти касалась наша дорога, оставалось еще не

меньше километра. И наши шуточки вполголоса сделались еще более принужденными, когда мы увидели, что нам навстречу катит велосипедист.

Это был жилистый, ошпаренный солнцем паренек в лянлях синих трениках со штрипками и еще более лянлях красных «кетах». По-хозяйски тормознув, он спросил нас: «Ну? Что?» — только что не добавив: «Допрыгались?». «Ничего», — юмористически пожали мы плечами, переглянувшись так, словно нам очень забавно. И как ни в чем не бывало двинулись дальше, чувствуя, как он оценивающе смотрит нам вслед, стараясь решить, что сильнее оскорбляет здешние обычаи — длинные золотые волосы и благородное выражение чистого лица или мои техасы? «Красножопый», — наконец услышал я свой приговор, и злой вестник просвистел мимо нас, припав к рулю.

— Поехал оркестр готовить, — пошутил я и сам почувствовал, до чего это не смешно.

Нас встретили и впрямь с народными инструментами — кто с гаечным ключом, кто с обрезком свинцового кабеля, а уже знакомый нам велосипедист и на этот раз был с ржавой велосипедной цепью. Все они, человек шесть, были похожи как двоюродные братья — небольшие, жилистые, прокаленные, в обвислых майках и попугайских рубашках навыпуск — «расписухах». Они и сюда уже добрались, и длинные волосы, как я заметил, тоже, но техасы...

— Это ты красножопый? — без экивоков обратился ко мне паханок, самый жилистый, самый перекаленный и самый расписной. — Какого хера тут отираешься?

И здесь меня осенило.

— Батю ищу, — проникновенно сказал я.

— Какого батю?..

— Батя нас бросил, когда я еще маленький был. А мне сказали, что он живет в Красном Партизане.

— А чего не из города идете?

— Хотели на товарняке подъехать, а он разогнался, соскочить не могли.

— А твой батя — он какой из себя? Как зовут?

— Николай, — наобум брякнул я, и мой собеседник, с каждым словом смягчающийся, задумался:

— Николай, Николай... Как моего. Моего тоже Николай звали.

— А где он? — с робкой надеждой спросил я.

— Батя? Где ему быть, — одобрительно усмехнулся он и гордо повел глазами на своих дружков. — Сидит.

— Мой тоже сидел. Матушка говорит, его как посадили, так он уже к нам и не вернулся. А за что твой сидит?

— По бакланке. За драку.

— Клево, и мой за драку. Матушка говорит, как выпьет, обязательно должен кому-то в ухо заехать.

— Вот и мой то ж самое.

— У моего, матушка говорит, было на пальцах выколото Кы-о-л-я...

— И у моего Коля! Слушай, а когда его посадили?

— Лет двадцать назад. Я родился, и его тут же посадили. Всего на год, но он

к нам уже не вернулся. Соседи говорят, обиделся, что матушка сама милицию вызвала. Он грозился, если она не даст добавить, он меня придушит.

— Мой тоже всегда грозился, но матушка всегда ему давала.

При слове «давала» по рядам красных партизан пробежала ухмылка, но засмеяться никто не посмел ввиду торжественности минуты.

И тут меня снова озарило.

— Братан, — шагнул я к паханку, подергиваясь морозцем от проникновенности собственного голоса. — Так это ж он и есть, *наш батя!*

И мы в едином порыве по-братски обнялись. Под расписухой спина у него была жилистая, как трос, а щека, прижавшаяся к моей щеке, шершавая и раскаленная, словно кирпич на солнцепеке.

Дальнейшее помню слабовато — такое чувство, что наливать начали прямо тут же, на дороге. А потом какие-то бетонные лестницы, тесные кухни, потные и радостные парни и девахи, мужики и бабы, и везде жмут руку, везде хлопают по спине, везде наливают. Мой братан, мой братан, в Ленинграде учится, всюду представляет меня Гоша и радостно добавляет: «А мы его чуть не отхерачили!»

А когда на том же месте под огромной степной луной мы на прощание трясли друг другу руки, с трудом выловив их из ускользящего пьяного пространства, Гоша вдруг выдохнул потрясенно:

— Ты понимаешь, как может получиться?.. Ты кого-то херачишь, а он, может быть, твой брат?..

— Один чувак сказал, — проникновенно ответил я, — что вообще все люди братья.

Гоша напряженно задумался и после долгой паузы, во время которой нас в разной водило из стороны в сторону, озабоченно спросил:

— Охуел, что ли?

\* \* \*

Когда я впоследствии пересказывал это приключение Ирке, она пришла в торжественный настрой:

— Вот видишь, что бывает, если идешь к людям с открытой душой!

— С какой открытой душой — я же его обманул!

— Ты по форме обманул, а по сути сказал правду: люди же и правда все братья. Только ты выразил эту правду в доступной им форме.

Ирка была так довольна и благостна, что даже заговорила в лекторском тоне.

\* \* \*

Вот и с моими безвестными Эвридиками мне нужно будет отыскать такую ложь, которая в какой-то глубинной сути окажется правдой. И я найду эту ложь! Удалось же мне однажды исторгнуть алмазно чистые слезы из бесхитростной души фальшивыми, краденными звуками.

Случилось это у бабушки. Не помню, сколько мне было лет, но меня еще занимало, как далеко я сумею дотянуться ногой со стула, подбоченясь сплетенными с его плетеной спинкой руками. И мне еще никак не удавалось оторвать взгляд от проплетенных черно-фиолетовыми корнями бабушкиных рук, споро

сматывавших в один большой клубок мохнатые нитки из нескольких клубков поменьше, вертевшихся у ее ног в облупленной эмалированной миске. Один, покрупнее прочих, смотанный и сам из двух ниток — коричневой и белой, — штриховано-рябой, как колорадский жук, вел себя еще посolidнее, зато остальные, мелкота, прыгали бесенятами, скакали друг через дружку, кидались на стенку, пытаясь выскочить наружу.

Поведение клубков отбрасывало и на бабушку некий отсвет легкомыслия, но лицо ее, как всегда, выражало одну только примиренность. Непонятно было даже, что ей все-таки подарить на сегодняшний день рождения.

Кажется, лицо у нее было темное, иконописное, высветлявшееся лишь светлым его выражением. Выражение помнится еще и сейчас, а лица давно уже нет. Да, подзывала, да, наливала, да, любовалась, да, будто бог весть какое лакомство, совала конфетку-подушечку, выдирая ее из поллитровой банки, — все это было, а лица уже нет...

Самый маленький черный клубок ухитряется-таки выскочить из миски и беснуется на полу. Я бросаюсь ловить его — я еще недалеко ушел от котенка, — и тут меня озаряет совершенно взрослая мысль: я напишу бабушке стих!

Про что, с какой такой стати, сумею ли — что за пустяки! Кому и писать стихи, как не мне? И через минуту я уже пятился к выходу, пряча за спиной лист бумаги и огрызок химического карандаша.

В дверях я напоследок окинул бабушкину склоненную фигуру оценивающим взглядом портного, намеревающегося шить без примерки. Позади бабушки на оконном стекле, на ниточке, как прищепки, сушились грибы — черные против света. Нотные значки, запятые, холерные вибриончики — арабская вязь.

На мой взгляд бабушка подняла седую голову, и в глазах ее тут же ожило неотступное беспокойство, не захворал ли кто, не проголодался ли, — безнадежное беспокойство, всю жизнь она беспокоилась, а никого ни от чего не уберегла — ни от голода, ни от горя, ни от смерти.

И я из дверей покровительственно сделал ей ручкой: не тушуйся, мол, я сейчас все устрою, — шагнул в сторону, чтобы она не заметила моих поэтических орудий, и рванул напрямик за сарай: овладевшая мною стихия и без моего ведома знала, что творцу необходимо уединение.

Лица бабушкиного не помню, а вот стол так и стоит в глазах: сколоченный наспех, но надолго, кособокий, но кряжистый, трава вокруг вытоптана в прах, а окурки в него тщательно втерты, образуя странное тиснение, — так выражают свое волнение болельщики, образуя два-три слоя вокруг вечернего домино. На столе еще валяются несколько черных извивающихся червяков — до конца сгоревших спичек, — это Закутаев так прикуривает: спичку не гасит, а ждет, пока обнажится из пламени меркнущая головка, потом берет ее, пшикнув, по-слюнявленным пальцами и, заслоня ладонью, ждет, торжествуя и тревожась, когда пламя сойдет на нет.

Бабушка называет его соболезнующе — Закутаюшка, но в лице его нет ничего от умильных суффиксов «ушк»-«юшк», когда он шагает со службы в своей черной форменной тужурке — настоящая ветчина в форме. А когда он рассказывает, зловеще супя брови и хватая невидимую трубку: «Охрана мебельной фабрики слушает!» — то совсем уж непонятно, при чем тут Закутаюшка.

Меж тем я готовился к сочинительству так сноровисто, будто занимался этим всю жизнь. Прежде всего следовало погрузиться в поэтический транс, отрешиться от всего мирского, уйти из его плотной плотской атмосферы, густой, как в столовке или на автовокзале. Удалиться от мира за сарай — даже этого было слишком мало, что-нибудь все равно за тобой потащится.

Вот куст — хоть и совсем сквозной, а ухитрился-таки поднять, да так и держит на себе тень сарая, которая без него лежала бы на земле. Вот бочком проскользнула черная собака, угнетаемая стыдом и общим презрением, но прикидывающаяся, будто она всегда готова хоть жалко, но огрызнуться. Где-то с гулким звоном, словно из железной бочки, лают другие собаки. Из сарая слышны полувздохи-полустоны — это бабушка шаркает рашпилем по дереву.

Звучит все, не только хваленая раковина: прижмись ухом покрепче к коре любого дерева и услышишь, как где-то в глубине разогревают могучий авиационный мотор.

Все начинает звучать, только прижмись покрепче. А может, это ты сам начинаешь звучать. И если хочешь отсечь от себя весь этот мирской галдеж, ни к чему не прижимайся, ни на что не засматривайся, ни во что не вдумывайся. И грубая телесная сторона мира понемногу станет меркнуть, умолкать...

Но сам ты внутри себя еще опаснее. Память, только ее зачерпни, всколыхнется, словно бак с кислыми щами, — и так шибанет оттуда мирским духом — хоть топор вешай. Отрешись и от себя, и голова потихоньку наполнится пустотой, станет легче, больше, воздушнее, подобно аэростату, и понемногу обнаружится, что атмосфера заряжена поэтическим электричеством — рифмами, ритмами, мелодиями читанных и нечитанных, и даже неписанных стихотворений, песен и басен, и какие-то внутренние антенны уже прощупывают этот поэтический эфир, какие-то переменные емкости пытаются подстроиться к нужным частотам, — минута, и стихи свободно потекут из-под моего карандаша.

Пока еще только подступал гул мировых поэтических пространств, вривались куски чужих передач — что-то вроде: «Неси меня ветер за дальние горы» или «О чем шумите вы, колосья?», — но пробудившийся во мне инстинкт медиума отвергал их с порога. Настройка все уточнялась, шумы отфильтровывались — вот сейчас, сейчас...

Вещание началось так внезапно, что я едва не прозевал божественный глагол и лишь в последний миг успел схватить карандаш. Атмосферные разряды мирской суеты проникали в мое общение с небом только в виде плохо оструганного стола, на котором рельефно проступали древесные волокна, превращая прямые в дрожащие, да еще карандаш угодил в щель и прорвал неуместную дырку, через которую сразу же попытался просунуть нос житейский мусор, так что у меня само собой вырвалось: «Гад ты, а не стол!» Но это был маломощный разряд, передача лилась практически бесперебойно. Очевидно, это было знаменитое автоматическое письмо сюрреалистов, вскрывшее мое небогатое подсознание.

На последней строке порыв вдохновения, как былинку, переломил мой химический грифель, но я, будто циркульным держателем, стиснул крошечный кончик и, словно Паганини на последней струне, довершил финал и в сладостном изнеможении принялся читать, что получилось.

Там в степи, от солнца опалённой,  
Там, где не смолкает ветра вой,  
Полз боец, сам весь окровавленный  
И с осколками пробитой головой.  
Вот главу он уронил на руки,  
И глаза вот устремились вдаль.  
А в глазах его как бы светится  
Никому не ясная печаль.  
Только птичка-невеличка, что над ним кружилась,  
Донесла до наших весть, что с бойцом случилось.  
В атаку шла бойцов бесстрашных рота,  
И дрогнул, отступает враг-фашист,  
Но тут раздался выстрел миномёта,  
И ухо режущий снаряда свист.  
Хоть миномёт теперь уж завоёван,  
Но все-таки один снаряд ведь в цель попал,  
И тот боец, что с русыми кудрями,  
Взмахнув руками, на землю упал.

Я пошарил еще немножко в мировом эфире, но божественный глагол уже прекратил диктовку. Я сунулся под стол за скатившимся туда, чуть его выпустили из рук, карандашом, схватил его вместе с горстью серой пудры и бросился к дому, но у дверей затормозил и вошел, задумчиво глядя в свой продырявленный лист, словно в раскрытую книгу, ступая медленно и беззвучно, похожий одновременно на Гамлета и на тень его отца.

Узнав, что в подарок ей изготовлен стих, бабушка надела стальные очки и приготовилась слушать: она привыкла, что ее просвещенные внуки и читают лучше нее, и пишут, и толкуют о таких вещах, чьих и названий ей не выговорить. Вероятно, она не видела особой разницы между поэзией и, скажем, географией, и меня это несколько задело — в броню моей недостаточной начитанности тщательно стучалось что-то вроде: «Голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом, меня искали, но не нашли».

Я прочел свое сочинение, отчасти вновь впадая в сомнамбулическое состояние, с торжествующей скромностью поднял глаза — и обомлел: по темному бабушкиному лицу катились до оторопи светлые слезинки. А она потихоньку вытирала их кончиком своего белого платочка. Плакала она так же, как занималась всяким, одной ее касающимся делом — стараясь не привлекать к себе внимания сверх минимальнейшей необходимости. Кажется, я ни разу не видел, как она ест, и совершенно точно не видел, как она умывается.

Я мог бы возгордиться, что моя лира способна исторгать слезы, ничуть не отличающиеся по своему составу от слез, исторгнутых лирой Пушкина, но что-то мне в этих ее слезах не понравилось. Что-то низменное, мирское...

— Что? Чего ты плачешь? — спросил я с досадой, и бабушка, подбирая последние слезинки, прошептала:

— Убили ведь его...

— Кого? — чуть не спросил я, поскольку в точности не помнил, про что я там навалял — я ведь писал под диктовку высших сфер.

Однако, пробежавшись по волнистым строчкам, быстро разыскал в них убитого.

И тогда снова сделал бабушке ручкой, бодрой припрыжкой ускакал за сарай, выкрасив фиолетовым угол рта, обгрыз конец карандаша, чтобы оголить грифель, — бегать за ножом было некогда, — и, как зрелый профессионал, уже без участия дилетантских высших сфер, всяких там муз и граций, сотворил новый, оптимистический финал, в котором, прослышав в его груди последние удары, бойца уж подобрали санитары, и теперь уж он здоров, благодарит всех докторов, что жизнь ему спасли, благодарит и санитаров, что с поля боя унесли.

Но когда я явился за добавочным триумфом, бабушка уже почему-то лежала на кровати — лежала как-то косо, ноги касались края, — наверно, потому, что только *прилегла*, а чуть «полутчеет», так тотчас же и встанет.

Я благодушно зачитал бабушке новую концовку и покровительственно взглянул на нее: ну, что, мол, — а ты боялась! Но бабушка смотрела на меня обычным своим взглядом — ласково-ласково, но как будто в последний раз.

— Молодец какой, умничка! — похвалила она меня слабым голосом (видно, и впрямь ей было худо, — впрочем, иначе она бы и не легла) и, подтянув меня к себе, неловко, краем губ поцеловала в лоб. — Ну, иди, поиграй.

И осталась лежать — одна, в своем беленьком платочке, — прилегла переждать боль, чтобы, как полутчеет, снова приняться за дела.

Она всегда так лежала, как будто прилегла на минутку. Она и в гробу так лежала.

И вот теперь у нее уже нет лица.

А я так никогда ни о чем ее и не спросил — ведь у стариков в жизни и не могло быть ничего интересного.

А спросил бы — может, во мне бы что-то и откликнулось, не такая гулкая пустота, что отозвалась эфирному мусору.

Ведь петь может только тот, кто служит чьим-то эхом. Кто слышит и отзывается.

Когда-то я хотел слышать и отзываться всему на свете, но после встречи с Иркой мне довольно стало отзываться ей одной. И тому, чему отзывалась она.

И больше мне ничего не требовалось — только служить эхом эха.

Но от этого я каким-то чудом сделался богаче. Когда я со смущенной усмешкой однажды рассказал Ирке тот стих, который на меня нашел, к изумлению моему, на ее темно-янтарных глазах тоже выступили слезы.

— Слушай, ты прямо как моя бабушка! Как можно плакать над такими фальшивыми стихами?..

— Люди никогда не плачут над чем-то фальшивым. Они плачут только над правдой. Которую угадывают под фальшью.

\* \* \*

Вот это и будут мои три урока — отыскать три лжи, под которыми будут угадываться три правды, неизвестные, может быть, мне и самому. Но все, надо хотя бы полежать с закрытыми глазами, иначе завтрашний... какой завтрашний —

сегодняшний день наполовину пропал. А кто их знает, сколько дней мне отпустит Орфей.

Я закрыл глаза и оказался на полузабытой станции, не то Сарышаган, не то Кашкентениз — ах, как и доньше чаруют мой слух эти звуки: Моинты, Чаганак, который в детстве я называл Чугунок... Впереди плоский серый Балхаш, позади плоская серая Бетпак-Дала, добравшаяся под самые колеса своей пустынно-стью, после нашей шелковистой хотя бы на глаз степи представляющаяся каким-то строительным пустырем. Беленый станционный барак здесь тоже выглядит строительной временкой, и по этому пустырю, поджимая пальцы на горячей щебенке, в одних семейных трусах понуро бродит голый человек с вафельной чалмой на голове.

Мы каждый раз видим здесь эту фигуру, и мне чудится, что она так вечно здесь и скитается среди железнодорожных путей, однако на самом деле она обновляется едва ли не ежедневно одним и тем же приключением. Поезд здесь калится на адском солнцепеке чуть ли не час, и народ из своих духовок радостно бежит купаться. А покуда он плещется в не то пресных, не то соленых водах (папа с мамой так ни разу меня и не отпустили, и я до сих пор не знаю, какая половина Балхаша горькая, а какая сладкая), подходит другой поезд, из которого бежит купаться новая истекающая потом волна, и кто-то самый легкомысленный так и не замечает обновления декораций: поезд стоит? — стоит, таблички на нем прежние? — прежние, народ купается? — купается, а народ знает, что делает. И когда несчастный замечает, что это другой народ и, что гораздо ужаснее, другой поезд, оказывается уже поздно, родное купе успело крадучись растаять в пустынных далях...

Однако на этот раз я катил полузабытым путем уже более чем взрослым, прекрасно понимая, что унылая фигура в портьерных трусах и вафельном тюрбане на плоском балхашском берегу меня больше не ждет. Хотя духовка в купе была еще пояростнее прежней, и это притом что пеклось нас здесь всего трое.

Щуплый ветеран был до того иссохший, что не потел даже в своем коричневом дешевом костюмчике, а мы с прелестной юницей в невесомом голубом платье предпочитали подставлять лица горячему ветру возле открытого окна в коридоре. Тем более что в купе наш сосед немедленно начинал делиться своими планами на отдых в тянь-шаньском горном санатории, куда он получал регулярные бесплатные путевки в награду за увечье: правая кисть у него всегда оставалась скрюченно-растопыренной, как у горного орла, нацелившегося на добычу. Правда, пускаясь в разговоры, он уже напоминал мне заботливого мужа, который нес в растопыренной пустой пятерне размер бюстгальтера своей супруги.

— Подберу себе старушку, — деловито размышлял он, — и в бокс на всю ночь, там на это не смотрят, хоть всю ночь трамбуй.

Наша спутница заливалась нежным румянцем, и я деликатно останавливал потрепанного жизнью боксера: ну-ну, не будем смущать девушку, — и снова уводил ее от греха подальше. Я был в достаточной мере старше ее, чтобы уже не обременять себя мыслишками о тягостном долге заигрывания, но и не настолько древнее, чтобы это вызывало грусть о навеки канувших возможностях, а потому мог без всяких задних мыслей любоваться, как ветер пустынь перебирает ее каштановую стрижку, грубовато ласкает ее прелестное, еще не замкнувшееся

еся от низостей мира, тронутое нежной испариной личико — славные, должно быть, нравы царили в том образцово-показательном скотоводческом совхозе, откуда она ехала учиться на зоотехника — в ссуз, как теперь чья-то глухота переименовала бывшие техникумы, — и я временами даже завидовал быку-производителю Юпитеру, которого в нашем же поезде везли в специальном вагоне на сельскохозяйственную выставку.

— Он красивый, как культурист, — весь шелковый, мускулы играют, нафуфыренный, как Софи Лорен...

Но я тут же чувствовал себя отмщенным, когда ее восхищение сменялось ласковой насмешкой:

— А трус такой! Кто-нибудь нарочно чихнет, а он сразу так и затрусит подальше. Он только с виду страшный, а ты только скажи ему: Юпка, Юпка, а ну, стой смирно! — и он сразу голову опустит, стесняется...

И я уже разглядывал ее без всякой ревности — откуда только берутся такие чудные создания?.. Даже быки ее стесняются — людям бы у них поучиться.

Он и на стоянке, где его вывели погулять по раскаленному строительному пустырю, не только опустил перед нею кучерявую, как борода греческого бога, тяжеловесную голову с налитыми кровью глазами и яростно раздутыми ноздрями, но после этого еще и пал пред нею сначала на колени, а потом и на брюхо. Что, однако, не заставило собравшуюся публику подойти к нему поближе — слишком уж мощно вздувался его мышечный горб, слишком яростно раздувались ноздри, слишком серьезно, без малейшей театральности торчали короткие рога...

— Не бойтесь, он добрый, — утешала нас моя спутница, поглаживая Юпитера по золотистой шелковой шерстке, обливающей мышечную громаду, но желающих воспользоваться его добротой не находилось, а кое-кто уже и потянулся к недалекому берегу.

Пепельное зеркало Балхаша в белесой дымке так незаметно сливалось с небом, что, если скользнуть взглядом сверху вниз, возникала полная иллюзия, будто небо подходит под самый берег, и начинала брать оторопь: на какую же высоту нас занесло, если горизонт оказался прикрытым краем пропасти!..

— Не бойтесь, не бойтесь, — продолжала приговаривать укротительница Юпки и для большей убедительности грациозно присела ему на спину, да еще и потянула его короткие рога на себя, словно летчик руль высоты.

Руль, однако, не подействовал — Юпитер даже не двинул устрашающей головой.

— Похищение Европы, — пробормотал я, смущаясь своей образованности, которую здесь было некому...

Которую оценил только бык — внезапно он вскинулся и тяжело затрусил к берегу. Это было настолько неожиданно, и всадница до такой степени не проявила ни малейшего страха, что я еще успел сострить вполголоса: что дозволено-де Юпитеру, то не дозволено быку.

— Юпка, Юпка, прекрати, не хулигань, — тщетно пыталась изобразить строгость чуточку нервнo смеявшаяся Европа, однако бык трусил все быстрее и быстрее, а последние шаги уже промчался галопом, взрывая черную гальку.

И вот он с ирреальной быстротой скользит над пепельной бездной, почти

поглотившей нагромождение и сплетение его мышц и даже край голубого платья всадницы, припавшей к его могучей холке, устремляя недвижный взгляд туда, где некогда обретался горизонт...

И только теперь я понимаю, что похищаемая Европа — это моя Ирка, что я просто не узнал ее, забыл, какая она юная и прелестная, но теперь уже поздно, бык уносится прочь со скоростью торпедного катера. Я в отчаянии пытаюсь стащить хотя бы туфли, в них я точно плыть не смогу, я когда-то пробовал, но с ужасом вижу, что туфли мои превратились в копыта.

И тут до меня доходит, что я теперь тоже бык, и не какой-нибудь, а тот самый, что несет Ирку над бездной... Да, я чувствую спиной Иркину тяжесть, совершенно для меня пустяковую, оглянуться на нее, я, правда, не могу, очень уж неповоротливой сделалась моя могучая шея, но я и так знаю, что это она.

И мною овладевает ни с чем не сравнимое счастье: мы теперь всегда будем вместе! Я буду вечно нести и нести ее над бездной, а куда — да не все ли равно!

\* \* \*

Хоть я и спал одетым, чувствовал я себя вполне выспавшимся. Только руки, примостившиеся на подлокотниках, так очугунели, что я с трудом их оторвал от полированного дерева, а ноги и вовсе продавили две ямки в паркете. Да еще странно было после ночи раздеваться для умывания.

В зеркале, однако, я увидел совершенно незнакомое, но очень старое измученное лицо, и без малейшего страха или отторжения понял, каким я буду в гробу: вот таким. Но отошел от зеркала — и снова обернулся добрым молодцем, каким я всегда себя ощущаю, покуда чувствую на себе Иркин взгляд. Я его чувствую, когда ее и нет рядом. Лишь бы она была где-то. А сейчас она была, потому что я твердо знал, что сумею ее спасти. Я даже не поспешил немедленно звонить доктору Бутченко — мне уже был известен набор его заклинаний: синусовая брадикардия, токсическая нефропатия, гипербилирубинемия, гипопро-теинемия, гипергликемия, лейкоциты, лимфоциты, моноциты, эритроциты... Я предпочитал верить Орфею.

Хотя в прежней жизни я набирался бесстрашия только у моей собственной Эвридики. Нет, это была штука куда более драгоценная, чем умение совладать со страхом, — легкомыслие. Ирка еще раньше меня замечала темные тучки на горизонте моего воображения и сразу же советовала от всей души: выкинь ты эту ерунду из головы. Но как же, пытался защищаться я, нужно же готовиться к испытаниям, и она, становясь на мгновение не только проникновенной, но и мудрой, отрицательно качала своей уже подкрашенной, но все такой же забиячливой стрижкой: «Не надо готовиться. Вот стукнут по голове, и сразу подготовишься. А может, еще и вовсе убьют, и готовиться не придется». Ее очень забавлял анекдот про надпись на распутье: налево пойдешь — убьют, направо пойдешь — вовсе убьют. И я немедленно понимал, что это правда — ведь вполне возможен и такой счастливый исход. И выбрасывал черные мыслишки прочь из головы.

Зато ее освободить от них не сумел...

Эти подлые личинки давно протачивали ее кольчугу, сплетенную из великодушия и легкомыслия. Как будто именно с тех пор, как битва за жизнь была

выиграна, ее начали всерьез мучить первые, еще тоненькие присосочки подступающей старости. Из-за мелких родинок, в последние годы рассыпавшихся по ее груди, — словно разорвавшееся ожерелье темного янтаря, словно мушки, вырвавшиеся из него на волю, — она не только перестала носить открытые платья, но еще и принялась жалобно переспрашивать меня: «Тебе не противно?.. Тебе не противно?..», вынуждая меня приникать к этим мушкам губами, что было уже лишнее — не нужно перемешивать в одном бокале то, что мы любим, и то, что мы только принимаем. Ирка была все-таки не более чем человеком — восхитительно в ней было не все. Все было только трогательно.

Теперь, когда Ирке случалось забытья и она представала в смешном виде, нисколько об этом не беспокоясь, к моей растроганности уже примешивалось сострадание. Когда она перед умыванием собирала волосы на макушке, к моему всегдашнему любовно-насмешливому: «Чиполлино...» — уже примешивался грустный вздох. Поэтому теперь я начинал таять от счастья, когда в ней просыпалась прежняя безалаберность — вера, что жизнь серьезно мстит и не станет из-за такой мелочи, как завалившаяся в неизвестную щель бумажка, пусть даже она носит пышное имя «документ». Это раньше я начинал ее распекать — как можно-де быть такой разгильдяйкой, наживешь неприятностей и так далее, а она лишь повторяла покаянно: разгильдяйка, разгильдяйка, наживу неприятностей, — пока я не махал рукой с показной безнадежностью и скрытой (не для нее) нежностью: горбатого-де могила исправит. Сейчас же я только радовался, когда она — редко, очень редко — что-то теряла: лучше неприятности, чем тусклая озабоченность.

Поэтому, когда она начинала грустно оглаживать округляющийся второй подбородочек, сокрушаясь, что никак у нее не хватает сил отказать от свежих булочек с медом, я не только никак не старался увести ее на путь аскетизма, но еще и любовался ее полными запястьями, на которых уже намечались младенческие перевязочки, любовался ее ямочками на локтях, умилялся тому, как, зачарованная телевизором, она начинает уминать пальцем во рту очередной кусочек любимой булочки, забыв проглотить предыдущий.

Можно ли помнить о таких пустяках, взирая на людей, покрытых волосами с головы до ног!

— Интересно, что было бы, если бы ты сделался таким волосатым? — разнеженно размышляет Ирка. — Я думаю, у тебя была бы очень шелковистая шерстка, я бы тебя гладила, как кошку, причесывала бы... Косички заплетала... Сегодня утром была передача про детей-маугли — оказывается, они усваивают язык тех животных, которые их воспитывают. А если птиц, то чирикают. А один мальчик — его мать подбросила на кладбище — сделался главарем собачьей шайки. Когда его приходили забирать в детский дом, собаки на полицейских накидывались.

Таких матерей, конечно, надо расстреливать, можно же было не доводить до этого, правда, может, и мамаша какая-нибудь маугли, — но мальчишка-то, мальчишка каков!

Ирка везде найдет, чем восхититься. Наблюдая телевизорное идиотство через магический кристалл ее простодушия и великодушия, я начинаю прощать

своих телесоотечественников, догадываться, что это не ротозействующее дурачье, а дети. Дети-маугли.

К этому-то источнику бесстрашия я прежде и припадал — к ее святой убежденности, что все ужасы мира не могут иметь к нам ни малейшего касательства. Что за дураки эти детективы сочиняют, негодует она по поводу какого-то милицейского сериала, у трупа находят икру карпа в легких, а карпы в этой реке не водятся! Значит, и ежу понятно, что утопили его на рыбзаводе, а в реку потом подбросили. А они две серии до этого додумывались!

Если сериалы сочиняют дураки, то кто тогда их смотрит, деликатно интересуюсь я, но Ирку такими штуками не утратить — нравится, и будет смотреть, а не нравится, не будет, хоть бы весь высший свет повторял: «Это все читают, это все смотрят!» — скучно, так и не буду.

И мне с нею было ничего не страшно, ничего не стыдно, всюду уютно.

Как-то мы с мальчишками, собравшись навестить моих папу с мамой, под Новый год пропадали в Пулкове, — и самолет не выпускали из-за наших степных буранов, и нас в город не выпускали, заставляли ждать у поля погоды, — и тут явилась Ирка — для одного с заводной машинкой, для другого с книжкой, для третьего с настольной игрой, для всех четырех с бодростью, с термосом и пирожными, — свила гнездо за пять минут, уходить не хотелось, когда объявили посадку. У нее и сейчас в постели уютно, как в мышинной норке, — аккуратный платочек, книжка с заложенными очками, полированная пластинка телефона...

Вогнутая стеклянная фляжка хорошего коньяка...

Меня бы эти Иркины вещички — включая и фляжку, да, фляжку! — сейчас убили бы наповал, если бы я не знал, что в моей власти ее воскресить. Не так-то вроде бы и давно, когда мы еще спали вместе, она забралась в постель со ступнями-ледышками, и я, выбравшись из-под одеяла, принялся их растирать — сначала одну, затем... Но другой-то и не нашлось, я спросонья даже оторопел. Оказалось, она ее поджала, как цапля. И сейчас мне вдруг подумалось: а что, если бы она и впрямь осталась без ноги? И понял — да ради бога, для меня она оставалась бы все той же Иркой. А если бы она лишилась уха, носа, глаза? Наплевать — я бы только старался не смотреть, а про себя бы точно знал, что ухо, нос, глаз, рука, нога — это не Ирка.

Но что же тогда Ирка? Ясно что: голос. Пока у нее сохранится прежний голос, произносящий прежние слова — с прежней музыкой, с прежним смехом, с прежними дурачествами: «отсюдова», «оттудова», «животные» — это будет прежняя Ирка.

В человеке и вообще самое прекрасное, самое чарующее — это голос. Не глаза, а голос зеркало души. Глаза могут лгать, но голос всегда несет на себе какую-то правду. Люди никогда не бывают такими прекрасными, как их голоса, все мраморные Венеры и Аполлоны лишь полуотесанные чурбаки в сравнении с голосами великих певцов, — покуда не видишь их лиц, покуда от взгляда сокрыт слишком человеческий источник этих божественных звуков. Люди не стоят своих голосов.

Зато, когда мы слышим великих, оттого и счастье нас возносит под самые небеса, что мы узнаем в этих голосах свой собственный внутренний голос, которому никак не удастся пробиться вовне сквозь мясорубку носоглотки.

Человеческое величие немислимо без голоса. Уж на что величав доктор Бутченко, но чего бы стоили его распирающие белоснежный халат аршинные плечи и вислый горбатый нос благородного разбойника Олексы Довбуша без таинственных рокотаний из-под седеющих гуцульских усов: гепатотоксическое, нефротоксическое, энтеротоксическое, диурез, глутаргин, билирубин, мочевины, коагулограмма...

Но как-то же и мой голос проник сквозь его ученую броню, если этот небожитель, проводивший на тот свет тысячи душ, одарил меня номером своего мобильного телефона!

На этот раз в его голосе слышалась растерянность: билирубин... коагулопатия... печень... желчный пузырь... поджелудочная железа... селезенка... почки... И далее подавленное изумление: без видимой патологии.

— Так что же, чудо?.. — Я жаждал услышать хоть какое-то признание могущества любви.

— Ну, мы таких слов не любим говорить, но наметилась некоторая...

— Положительная динамика?

Дрожащим голосом я подсказывал ему слова помягче, чтобы не заставлять его отказываться от роли небожителя, но и сказать мне хоть что-то утешительное.

— Ну, об этом еще рано говорить, но наметилась некая стабилизация. Или даже я сказал бы так: наметилось некоторое снижение отрицательной динамики. Но уже можно сказать: состояние стабильно тяжелое. Попробуем добавить этамзилат натрия, рантак внутривенно, для стабилизации мембран гепатоцитов гидрокортизон миллиграммов триста в сутки, эспалипон миллиграммов по шестьсот. А для церебральной протекции добавим гепа-мерц миллиграммчиков сорок. И будем наблюдать.

— А она что-нибудь говорит?

— Ну что вы, полная церебральная недостаточность, глубокая кома.

Что ж, это ничего, пусть себе поспит, пока я буду выводить ее из преисподней. Только пол вдруг с чего-то дрогнул под ногами и тут же снова замер. А книги на полках внезапно сделались маленькими, словно записные книжки. Но когда я попытался взять их в руки, они опять выросли.

И я вдруг вспомнил, что перед моим сидячим пробуждением Ирка мне снова приснилась: она прошла мимо холодная и неприступная, какой я ее никогда в жизни не видел.

В жизни...

Поэтому я не стал пить пакетный чай, а заварил напиток из просмоленного корабельного каната, который где-то доставала Ирка. И даже не стал скрывать досады, когда меня оторвал от чая звонок одной из моих невесток. Она робко интересовалась, как дела в реанимации, а я в ответ дал телефон справочного бюро, прибавив, что все сведения у меня оттуда. Нуждаться же я ни в чем не нуждаюсь, я человек вполне самостоятельный, — и больше мне практически никто не докучал, изредка только проверяли, не требуется ли мне смирительная рубашка.

Их забота и впрямь рождала во мне подавленную ярость, ибо их сострадательные голоса расшевеливали мой дремлющий ужас.

А мне требовалась вера.

\* \* \*

В каленый континентальный мороз варяжская Балтика дохнула ледяным паром — с неба сеялся мелкий невесомый иней, тусклый, как пепел, — мир был матовым. Ледяной Геркуланум. Мои промерзшие резиновые каблуки стучали как деревянные молоточки.

Маленькие женские личики едва проглядывали из огромных инквизиторских капюшонов — Ирку было бы не высмотреть, если бы даже она была здесь. Но слезы у меня сочились только от мороза — вера, подаренная Орфеем, не иссякала.

Почти все тетки переваливались из-за своей вульгарности, — Ирку при любых искривлениях позвоночника и перерождениях суставов все равно несла бы над землей ее легкая душа. Не может быть, чтобы ее одолели какие-то бледные поганки! И я уверенно стучал деревянными каблуками, покуда не замер перед оранжевым плакатом: «Звонкая песнь металла. На нашем складе самый широкий выбор стальных металлоконструкций». Поэты, блин!

А вот и еще: ресторан «Орфей», по вечерам живая музыка, рок-группа «Бледные поганки». Черт, а вдруг и мой Орфей какой-нибудь чокнутый эстражник? Они с женой пели Орфея и Эвридику, он ее все время теребил: не опоздай, не опоздай, она побежала на красный свет и попала под машину, а он с тех пор повернулся на этом и спасает Эвридик...

Я поспешно прикусил жальце своему скепису: любая циничная мыслишка могла погубить Ирку окончательно.

Перед величавой венецианской аркой я выжидательно замер: мой покровитель выслал мне навстречу католического епископа в черном облачении и черной митре. Епископ опустил митру на лицо и отвернулся к стене, исторгнув из нее каскад сверкающих искр.

Это был сварщик. Пока я стоял, отдавая должное остроумию постановщика, меня обогнал на ксилофонных каблуках бравый крепыш в короткой черной курточке. Он еще и раскачивался по-морскому от собственной лихости, а руки как бы от избытка мускулов держал на растопырку — у нас на Паровозной некоторые пацаны даже бинтовали руки под мышками, чтоб они так держались.

Я потянулся за его ксилофонным перестуком, но куда!.. Я еще только вошел в подъезд, а его каблуки уже проксилофонили где-то в вышине и были разом прихлопнуты громовым ударом двери.

Как я и предчувствовал, именно эта дверь и была мне нужна. Крепыш открыл мне уже без курточки, но в чем-то таком же энергичном, как бы флотском и выжидательно вперился мне в глаза, снизу вверх, но как бы сверху вниз.

— Простите, пожалуйста, я из телефонной компании, мы проверяем качество связи. Можно я войду? Спасибо. У вас телефон хорошо работает?

— Хорошо... Лучше бы не работал. А то она трендит по нему целыми вечерами, — крепыш, будто старому приятелю, указал мне на выглянувшую из комнаты супругу в зеленом, как весенняя травка, халатике. Супруга была беленькая, миленькая, похожая на кошечку с вышивки.

— Значит, на связь жалоб нет. А то сейчас появились такие помехи — ты говоришь «здравствуйте», а телефон тебя посылает на три буквы.

Крепыш радостно расхохотался:

— Вот бы нам такой! Ты звонишь Зинке: Зиночка, добрый вечер! — Он постарался придать самое слащавое выражение своей скуластой курносой физиономии. — А она тебе в ответ: пошла на х...!

Последние слова он произнес рыкающим басом и без купюр. Кошечка скрылась, а крепыш без церемоний принялся расстегивать молнию на моей куртке:

— Пойдем посидим, у меня есть.

— У меня тоже есть.

Кухня была просторная и вполне благоустроенная. К ветчине и крошечным, словно пупырчатые мизинчики, огурчикам Толик выставил бутылку «путинки», а я фляжку Орфея, которую Толик тут же принялся недоверчиво и ревниво разглядывать своими глубоко сидящими, синими, будто у младенца, глазами.

— Это где так отфрезеровали?

— Это старинная работа, сейчас так не умеют.

— Почему не умеют? — Он был явно уязвлен. — Если б нас не подгоняли: быстрее, быстрее — мы б тоже делали не хуже. А то и получше. Ну что, вздрогнули?

— Давай лучше с моей начнем, пока вкус не притупился. У меня выдержанное, импортное. Не-не, не паленое, прямо из бочки в Греции брали.

— Слабовато... Но забирает, ничего не скажу.

— Так а я про что? Напиток богов. Греческих. А они в этом толк знали — в вине, в женщинах... Кстати, у тебя жена на редкость красивая, — вдруг само собой вырвалось у меня. — Только ты это, не обижайся, я от души...

— Да чего тут обижаться, — польщенно улыбнулся Толик, — я сам знаю, что красивая.

— И ужасно любит тебя, прямо в глаза бросается. Хотя я уже заранее знал. Мы ведь, когда проверяем связь, подключаемся к разным разговорам... Нет-нет, ты не думай, если какие-то секреты, мы сразу отключаемся... И бабы обычно мужиков ругают, а твоя всегда только хвалит. Какой ты красивый, храбрый, добрый...

— Еще б не добрый! Другой бы за ее трендеж уже давно бы этим телефоном по голове отоварил. Знаешь, что больше всего достает? Она уже кончает — ну, все, до свидания, спокойной ночи, и уже начинает со стула вставать, — Толик привстал, стараясь изобразить свою Эвридику со злостью, но изобразил с нежностью, — и вдруг опять: ой, правда?.. — и Толик опустил обратно на стул совсем разнеженно.

— Ты не понимаешь, ей же хочется похвастаться перед подругами своим счастьем, это ж женщина, нам мужикам не понять...

— Да нет, я понимаю. — Толик уже не пытался скрыть счастливой улыбки. — Но не каждый же вечер!

— А ей нужно каждый. Она все еще не может поверить своему счастью, что ты ей достался. Если б моя так про меня разливалась, я бы каждый вечер ей номера набирал. — Я не сдержал горького вздоха. — Ладно, давай теперь твоей светленькой, покрепче чего-нибудь хочется.

К газовой плите проскользнула беззвучная старушка, затрещала гусиным

ключом электрического зажигателя, но тут же, воровато оглянувшись, попыталась ускользнуть.

— Куда вы, Елизавета Потаповна, оставайтесь, оставайтесь, — гостеприимно захлопотал Толик, но старушка лишь что-то пискнула и растаяла.

— Видишь, какая хрень получается, — искательно улыбнулся Толик. — Когда мы въехали, она все время Галку прессовала — не так ходишь, не туда кладешь, а я набрал полную ванну холодной воды, зазвал ее и говорю: или мы будем жить нормально, или вы будете жить на улице.

— А воду зачем набрал?

— А чтоб она подумала, что я ее топить собираюсь. Теперь самому неудобно...

— Ладно, я тогда пойду. Можно я с твоей женой попрощаюсь?

— Даже нужно.

Когда мы вошли, кошечка с вышивки дернулась было сунуть руку с телефонной трубкой под журнальный столик, на котором стоял телефонный аппарат, но Толик сделал великодушный благословляющий жест:

— Тренди, тренди, гость попрощаться зашел.

— А если подруги уж очень достанут, ты сделай, как я, — уже натягивая в прихожей куртку, напоследок напутствовал я Толика. — Я их начал зазывать в гости и за ними приударять. Вечер за одной, потом вечер за другой. На жену ноль внимания, а только им подливаю, ставлю музыку, приглашаю, потом иду провожать... За три сеанса как отрезало, уже года два ни одной не видать.

— Ну ты даешь... — Толик взглянул на меня из своих норок яркими младенческими глазами с некоторой даже тревогой — видно, не ждал от меня такого коварства.

\* \* \*

На следующую операцию я направился уже с ощущением некоторой рутинности и даже известной причастности к той язве, от которой мне требовалось исцелить вторую Эвридику. Ибо в неприступную крепость телесериалов года два назад удалось проникнуть моему приятелю-стенгазетчику, хорошо приподнявшемуся на женских романах, которые за тюремную пайку ему намлачивали бесприютные гуманитарные девушки и тетушки под псевдонимами Джен Айрис, Айрис Вирджен и Вирджен Вольф, эротические сцены списывая друг у друга, а сюжеты черпая в собственных одиноких грезах. Однако на выделенной ему телевизионной жиле почему-то дозволялось развлекать только занудством. Сам он по-прежнему лишь продюсировал, иногда полушутки ради позванивая мне в поисках новых сюжетных ходов: «Как ты думаешь, что мне сделать с Лерой и Дашей?» — «Лера пусть делается сто второй женой султана Брунея, а Даша поставит об этом сериал», — отвечал я, но бывший стенгазетчик никогда не соглашался: «Нет, это будет гротеск, а нам надо, чтоб было скучно, как в жизни. А что делать с Ириной и Лобановым?» — «Пусть Ирина станет шахидкой, а Лобанов вампиром». — «Нет, это будет уже мистический триллер, а мне надо, чтоб было все как у всех».

Ему я и позвонил, томясь, насколько позволяла моя мобилизованность, стыдом перед не то что забытой, а почти незамеченной мною бабушкой.

— Есть идея — давай сделаем сериал про мою бабушку. Про ее жизнь.

— А что у нее было такого особенного?

— То-то и хорошо, что ничего особенного — все как у всех. В двадцать первом изнасиловали дочку и сожгли дом, в тридцать втором сын и дочка, уже другая, умерли от голода. В войну один сын пропал без вести, другого убили, один внук спился, другого закрыли, припаяли червонец... Ну и муж регулярно запивал, все семейство разбежалось кто куда... В общем, то что надо, сплошная рутина.

— Нет, это тоже не годится, надо, чтоб героев было не жалко.

Ну и чем же я буду пленять убогую, которая способна интересоваться чужой жизнью и при этом не жалеть?

Я намеревался вновь выдать себя за представителя телевизионной компании: «Как работает телевизор?» — «Да лучше бы не работал — давно собираюсь утюгом в него запустить!» — «А в чем дело? Помехи? Бывает такой фабричный дефект: герои сериалов выходят из ящика и поселяются в доме, не дают хозяевам жить». — «Во-во», — и так далее. Но от хозяев ординарнейшей хрущевки сразу дохнуло такой унылой скукой, что мой певческий дар увял еще в носоглотке.

Чтобы воспеть, надо влюбиться, а как влюбишься в длинный кляузный нос и жиденькие крашенные кудерьки немолодой гипертонической супруги, в словно бы намокшую от слез бороду геморроидального супруга, — придающую ему, впрочем, хоть сколько-то бодрящее сходство с водяным. У них и от книг веяло скукой (я только тут сообразил, что у Толика не видел ни единой).

Но я, притворившись, будто сморкаюсь, на мгновение закрыл глаза и вслушался. И услышал.

Супруг уже целые десятилетия размышляет, как нам обустроить Россию, и, начавши от истоков, никак не может опуститься до устья — все разбирается с полянами, древянами, северянами и радимичами, с варягами, половцами, хазарами и монголами, с византийством, славянством, иудейством, язычеством, евразийством, атлантизмом... Супруга же глубоко чтит в нем великого мыслителя и ни разу за сорок три года не решилась войти в его кабинет без стука, и детей начала приучать к такому же почтению — «тс-с, папа работает!..» — едва ли не раньше, чем к горшку. Она шла по пустыне за этим Моисеем сорок лет и наконец оказалась в пустыне еще более безжизненной. Ей наконец стало ясно, что мир так и не признает гений ее кумира, а нормальная женская жизнь ее, и прежде до крайности скудная, теперь иссякла окончательно: дети, в свое время очень охотно покинувшие отчий дом — храм одного божества, — наносили только редкие вымученные визиты, а подросших внуков и вообще удавалось загнать лишь на самые священные торжества — дни рождения дедушки.

Она и не заметила, как встречи с жизнерадостными разведенками Лерой и Дашей, обменивающимися рецептами витаминного салата и комплексами упражнений против живота, сделались единственными ожидаемыми ее радостями, а сладкими тревогами — причудливые отношения Лобанова с Ириной, в которых она и сама уже не знала, кому сочувствовать — Ирине или лобановской жене Лидии Аркадьевне, которая, похоже, всерьез решила уехать в Канаду. Хотя так тоже нельзя — надо же и о дочери подумать, она ведь ужасно привязана и к отцу, и к матери (везет же некоторым!..), да и сам Лобанов не настолько уж и

виноват: если бы Лидия Аркадьевна принимала его работу так близко к сердцу, как это полагается в хорошей семье, то его бы и не потянуло к Ирине, вот сама она всегда жила делами мужа, его никогда никуда налево и не тянуло...

Зато от мужа не укрылось, что единственную жрицу его культа тянет куда-то прочь, и это стало для него самым настоящим душевным потрясением — для косноязычного Орфея, сумевшего из целого мира околдовать одну только глуповатую Эвридику. И теперь единственная ниточка, еще связывающая его с жизнью, грозила оборваться...

Когда я их *услышал*, я тут же сумел и *увидеть* их, какими они были друг для друга — отгороженный от всего мирского паренек с Электровозной, сжигаемый жадной какой-то неведомой правды, и девочка с мордочкой доверчивой лисички, мечтающая на своей Тридцать второй Красноармейской посвятить жизнь неведомому герою, несгибаемому и бескорыстному...

И во мне послушным эхом тут же отозвалась нужная песня. Я поведал супругам о том, что наша компания жаждет припасть к источнику семейного сериала, в котором бы предстал какой-то лик России. Бывают такие выдающиеся семейства, в которых, как в капле росы (я знал, что этот образ — капля росы — покажется им особенно красивым), отражается вся история народа — и его подвигов, и его... Я хотел сказать: злодеяний, но вовремя успел отозваться их уже напрягшейся настороженности и произнес: бедствий — злодейства пусть творят наши враги. И вот, из десяти миллионов вариантов компьютер — главное, компьютер, он никогда не ошибается! — выбрал именно их семью. И теперь мы крайне нуждаемся в их помощи: нужно собрать как можно больше фактов, даже самых мелких — в искусстве нет мелочей! — из жизни их родственников, даже самых далеких, — в истории близки все!

Я излагаю так сухо и сжато, чтобы не пытаться пересказывать песню — все равно только испортишь. Главное, когда ко мне вновь вернулось зрение, супругов было уже не узнать — она казалась веселой рыженькой лисичкой-сестричкой из сказочного мультика, а он из унылого водяного обернулся вдохновенным лешим.

И когда мы прощались за руку, мне в ладонь уперся его скрюченный безымянный палец, острый, словно коготь.

\* \* \*

Улицу Генерала Федякина городские власти хранили в неприкосновенности для Музея блокады — черные дома, обведенные вокруг угасших, но еще что-то выдыхающих окон жирным барашковым инеем, подтекали скупыми слезами от дыхания Балтики, клубившегося по узкой, непроезжей из-за снежных брустверов улочке холодным взбаламученным туманом — ледяная парилка Деда Мороза. Бомжатник легко распознавался по самому мясистому инеевому хомуту под наброшенным на здание ради имитации ремонта маскировочным неводом. Вокруг дыры в непроглядную пещеру приюта для бездомных медленно, будто водолазы, бродили его обитатели, обряженные во все такое же пухлое, как они сами, а наиболее обессилевший, на коем я опознал свой китайский пуховик, превратившийся за эти годы из блекло-салатного в черный и пушистый, сидел у стены, уронив на колени голову в солдатской тряпочной шапке, из-

под которой перли упрямые седые космы моего таинственного спутника из двух ночных поездов.

Я выбрал наименее деградировавшего из водолазов, облеченного в жирную лоснящуюся дубленку с чужого плеча, и спросил, как мне найти Артиста.

— А, Артист... Он там, внутри, его Алевтинка-сучка не выгоняет, в тепле отсиживается, — серебряная щетина своим богемным мерцанием заслоняла даже лиловую одутловатость, но сиплого голоса заглушить не могла.

— А вы почему в тепло не идете? — Меня больше беспокоил мой таинственный спутник, отключившийся у стены.

Если, конечно, это был он.

— Санитарный час. Считается, клопов морит. А сама отдыхает. Алевтинка-сучка. Постучись, городских она иногда пускает. — Он сипел беззлбно: что поделаешь, раз мир так устроен.

Пещерный мрак дышал затхлостью, но я, задержав дыхание и включив в мобильном телефоне его маленький, как светлячок, но довольно пробивной фонарик, отыскал отливающую вороновым крылом стальную дверь и постучал по ней домашним ключом. Раздалась звонкая песнь металла, которой никто не откликнулся. Я постучал еще раз и, с приличествующими почтительными паузами, еще много, много раз, покуда мне не ответил свирепый женский рык:

— Какого херра?

— Херра Артиста, — почтительно прокричал я, мучительно ощущая крайнюю неуместность взявшей меня за горло сиповатости — с нею мне никак было не изобразить джентльмена.

Имя Артиста открывало и железные двери — мне в лицо ударило теплом и светом. И даже уютом — уже и столь краткий карантин в пещере резко снизил мои требования к миру. Я шагнул через порог и оказался в кубрике. Нет, в казарме, но уходящие вдаль казенно поблескивающие двухэтажные койки не перевешивали капитанского зыка встретившей меня морячки, еще отдающей по мобильнику последние команды: «Не надо нас грузить! Пусть выплывает сам!» Ее пышные тела облежала сухопутная тельняшка с блеклыми полосами чуть пошире, чем у нормальной, матросской, но под ней угадывались роскошные татуировки, сплетения якорей с русалками. И жесткие волосы ее, крашенные, похоже, сапожной ваксой, ниспадали на пышные плечи жесткой, но все-таки отчасти русалочьей волной. Даже тесный янтарный поясок на упитанной шее отдавал тельняшкой — полоска темная, полоска молочная, темная, молочная...

— Здравствуйте, мне Артист назначил встречу, — словно сигнал SOS, послал я ей заветное имя, чувствуя, что лишь оно может послужить мне спасательным кругом.

И сработало — выражение непримиримости стекло с ее мясистой физиономии с такой волшебной быстротой, словно рыночная торговка увидела перед собою санитарного инспектора.

— Сейчас я вас к нему провожу, — и, обметая сизый линолеум черными суконными клешами, зашагала вперевалку меж по-казарменному обтянутыми чем-то серым железнодорожными койками до тусклого железнодорожного титана, у которого над трехлитровой банкой с огромным кипятильником внутри

(титан, очевидно, не работал) печально стыл мой ночной гость, воззрившийся на мерцающие сугробы за окном. Мы вновь оказались в зимнем поезде, которому теперь уже никогда было не выбраться из снегов.

Орфей сидел в застиранной до серой голубизны растянутой майке, из-под которой меж сильных, словно пробивающиеся крылья, лопаток синели две церковные луковки с православными крестами. Руки, плечи принадлежали подзаплывшему, но сильному мужчине, а волосы — да, златовласому юноше: такую могучую волну мне приходилось видеть лишь в рекламе шампуней, а серебряные нити были добавлены только для отвода глаз. Как и кресты, понял я, — чтоб не слишком выделяться.

— К вам пришли, — робко обратилась к нему морячка, и он обратил к нам от снегов лицо печального, но всеприемлющего восточного божка.

— Благодарю, — своим полновзвучным голосом одарил он надзирательницу, проникновенно, как король в изгнании благодарил бы сохранившего ему верность оруженосца.

— Ну, я не буду вам мешать. — Оруженосица подвинула мне трубчатый стул почти подобострастным жестом и поспешила прочь по вагонному коридору чуть кокетливой семенящей походкой юной влюбленной провинциалки.

Я откашлялся, чтобы не ронять свой облик сипением, но Орфей меня опередил:

— Не надрывай связки, я все равно слышу твой настоящий голос.

— Прямо как сифилитик, — смущенно пожаловался я. — Хоть бы уж была... Мужественная трещинка, что ли. Как у Высоцкого. Как он вам, кстати?

— Неплохо. Душа, прорвавшаяся сквозь материю, изуродованная, но еще прекрасная. Только всего прекраснее душа, не ведающая о материи.

— А... А вы бы не спели?.. Сами... Хоть вполголоса. Если, конечно...

— Спой, светик, не стыдись? И прилегли стада? Сегодня и стада другие. Пение Орфея вам вообще не показалось бы музыкой. Сегодняшние стада отбирают в любимцы только безголосых кривляк. Меня бы расслышали, может быть, десять душ. Это совсем не мало, это очень много, ради этого стоит петь. Но мне без Эвридики больше не поется. Для других. Хотя в душе я все время пою.

Я не решился сказать, что хорошо его понимаю. Потому что мне, наоборот, пелось только для других. А оказавшись наедине с самим собой, я не решался хоть одним глазком глянуть в Иркину спальню: ее смятая постель отняла бы мой голос окончательно, я не сумел бы им приманить и бродячего пса, если бы даже тянул к нему руку с полукольцом ароматной копченой колбасы. Все, на что я решался, — побродить по просторному супермаркету «Перекресток», походами в который она когда-то мне досаждала: словно жизнерадостный щенок, она должна была все обнюхать, прежде чем двинуться дальше. Тоску по досаде я еще мог выдержать.

Я подождал, не добавит ли он что-нибудь, но мой собеседник так засмотрелся на городские снега, что я почувствовал опасение, не забыл ли он обо мне. Я старался не смотреть на его тюремную луковичную татуировку, однако, невольно скосив глаза, без особого удивления обнаружил, что ее больше нет. Я хотел откашляться, но вспомнил, что притворяться здесь не нужно, и заговорил как умел.

— Так я хочу отчита... Рассказать о своих...

— Да, успехи неплохие. Не каждый бы справился. В Толике ты пробудил тщеславие, в его жене жадность собственницы — этим можно скрепить их союз. Но союз невысокого разбора. Высокий союз рождается тогда, когда любящие живут пред ликом смерти, каждую минуту помнят, что им предстоит потерять друг друга. А потому дорожат каждым мгновением и прощают друг другу все, как мы прощаем умерших.

— Но это же убьет всякую радость?..

— Не убьет. Обострит. Потому что любящие на самом доньшке души все равно будут верить, что они бессмертны. Любовь и есть вызов, брошенный смерти. Отчаяние придет только тогда, когда один из них и впрямь покинет другого. Но оставшийся сумеет это перенести, потому что он сразу же начнет складывать песню об их великой любви. Она будет звучать лишь в его собственной душе и все-таки станет утешать его, как может утешить только песня.

— И... И вас она утешает?

— Да. Только поэтому я и не могу отправиться к моей Эвридике. Песня не может умереть, если даже сама того возжелает. Она по своей природе тоже перчатка, брошенная смерти.

— А у нас пишут, что вас растерзали вакханки. За то, что вы вроде бы отказали им во внимании, что-то вроде того.

— Это придумали мои безголосые завистники. Чтобы убедить себя, что для женщин секс важнее, чем песня. Или верность, даже чужая. Но вернемся ко второму моему уроку. Когда ты пытался внушить этим жалким супругам, что их жизнь достойна воспевания ничуть не менее, чем жизнь героев и героинь убогого сериала, ты действовал совершенно правильно. Ты уже до нашей встречи открыл, что каждый человек, сам того не зная, жаждет быть воспетым. И ты им подарил эту надежду, и они еще очень долго будут воспевать себя своими слабенькими дребезжащими голосами. Но ты бы мог дать им гораздо больше — указать, что все они участвовали в грандиозных исторических событиях, а тоска по грандиозности — еще более неутоленная жажда твоих современников. И даже твоя, как ни заглушала ее любовь к твоей возлюбленной. Но она была такой солнечной, что заставила тебя забыть: жизнь великая трагедия, а не сентиментальная сказка. И твоя любимая почувствовала это раньше тебя. Существование, в котором великая борьба за жизненное предназначение оттеснилась жалкой грызнью за достаток, невыносима для высоких душ.

— Я что-то в этом роде и сам почувствовал. Иногда и мне хотелось чем-то взбодриться, что-то заглушить, но я же держался?..

— Ты привык бороться с соблазнами. А она никогда их не знала. Она из тех светлых душ, для которых желание и долг всегда совпадали. А когда они однажды разошлись, когда ей пришлось изо дня в день терпеть боль и отказываться от обезболивающего, она в конце концов не выдержала. У нее не было никакого опыта бесцельного страдания.

Певец не позволил мне долго проникаться этим, как я почувствовал, не столь уж неожиданным для меня открытием и вернулся к повелительному тону.

— Но мы отвлеклись. Перейдем к последнему, самому трудному случаю.

.....

— Я понял, — наконец сумел очнуться я, понимая, что ничего еще не понял.

— Ничего, потом поймешь, — проникновенно улыбнулся чародей и, забыв обо мне, вновь устремил застывший взор в потемневшие снега.

Церковные луковки снова вынырнули из-под серо-голубой майки, и я только тогда решился спросить:

— Скажите, а вы не являлись мне когда-то в ночном поезде? Даже дважды...

— Мне не обязательно всюду являться самому, — последовал холодный ответ через плечо. — Имеющий уши услышит меня и в старческом кашле.

Я пристыженно откланялся.

Морячка по-прежнему энергично мела свой капитанский мостик суконными клешами, и даже мобильный ее телефон отдавал все те же команды: «А я тебе говорю: не надо нас грузить!»

Однако, увидав меня, Алевтинка сразу же разнежилась:

— Ну что, поговорили? — и окончательно умилилась: — С ним поговоришь — как будто к маме на могилку сходила.

— Там у выхода, один гражданин сидит — как бы не замерз, — дружески поделился я с нею, и она было сдвинула наваксенные шерстяные ниточки бровей, но привычный рык застрял у нее в широкой налитой шее, удержанный янтарным пояском.

Она вышла вместе со мной на потемневшую улочку Генерала Федякина и, не обращая внимания на клубы ледяного пара, склонилась к моему ночному спутнику:

— Ты это... Можешь заходить.

Тряпочная шапка не шелохнулась. Я просунул руку под мышку своего пуховика, морячка, поколебавшись, просунула под другую, и мы поволокли несчастного в пещеру, а потом в застывший в снегах вагон. Ногами он все-таки перебирал.

Пока доволокли, у меня свело судорогой бицепс, и я уже был рад свалить бедолагу на первую попавшуюся шконку. Лицо его сплошь заросло диким седым волосом, как у тех волосатых людей, которыми когда-то в исчезнувшей жизни любовалась Ирка. Поэтому разглядеть его мне так и не удалось. Да и не мог это быть он — не похоже, чтоб он был из породы долгожителей.

\* \* \*

Эхо прослушанного мною повествования начало нарастать во мне лишь на улице. Только я не сразу это заметил, ибо рассказ Орфея пробудил во мне какой-то новый слух. Я брел по снежному пуху неизвестных переулков, по которым не ступала нога человека, и слышал скрежет и хруст снежинок, как будто это были ледовые торосы. А под снегом в голосе асфальта я различал грозное молчание подземных битумных озер, в хоре подснежных песчинок — завывание ветра и шум прибоя, в скрытых от глаза диабазовых подсолнухах — яростное клототание магмы, а обнаженный ветром гранит Фонтанки встретил меня цокотом конских подков. Я уже начал тревожиться, что это вначале восхитительное, а затем уже и утомительное звучание мира не оставит меня и в собственных стенах, и, напрягшись, расслышал скрип налегших друг на друга сосен в столешнице моего кухонного стола.

Мне стало страшно, что этак я наверняка провалю последнее задание Орфея: слышать всех, значит не слышать никого. Но, к счастью, нарастающее внутреннее эхо, откликающееся чужой тоске, в конце концов оттеснило давящий снежно-каменный хор.

\* \* \*

Его возлюбленная в каждом порту ввергала Андрея в благоговейное изумление каким-то новым неземным устремлением.

Разочаровавшись миром театра, она пошла в добровольные помощники к православному психоаналитику Сосницкому, протягивавшему руку помощи тем несчастным, кто решался навеки погубить свою душу самоубийством. Злые языки говорили про него, что он пытается наложением рук исцелять тех, кто и без него хочет наложить на себя руки, но Белла всегда презирала сплетни завистников. Она считала, что у Сосницкого очень оригинальная собственная парадигма — православная синергетика, а кроме того, она была уверена, что именно ей удастся войти в духовный мир самоубийц, потому что она сама была в шаге от самоуничтожения. Андрей узнал об этом в Парамарибо. Те, кому не для чего жить, должны жить для других, повторяла она.

«Может быть, нам завести ребенка», — осторожно спросил Андрей, заранее зная, что вопрос его наивен и примитивен, и тут же убедился в этом. «Для меня важна в человеке только его душа, только то, что способно болеть без всякой причины, — с горечью ответила Белла. — А дети всегда веселы. Для меня главный голос души — это слово, а дети, даже умеющие говорить, любят твердить всякую бессмыслицу: бя-бя-бя, мя-мя-мя... Когда младенец «гулит», а мать умиляется — в этом есть что-то нечеловеческое, дочеловеческое...»

Больше Андрей на эту тему не заикался. Главное, чтобы его богиня наконец отыскала ту высоту, на которой ее сердце успокоится.

Но уже на Барбадосе она едва шевелила губами: Сосницкий сказал, что ее нельзя подпускать к самоубийцам, что она сама несет в себе тьму...

Андрей даже не рассердился: если человек — пускай не на солнце, пускай на луну говорит, что она несет тьму, значит, он просто слепой.

— Нет, нет, я поняла, мне и правда нужно смирить гордыню в каком-нибудь монастыре.

Голос ее был совершенно стерт, почти раздавленным — какого смирения им еще было нужно?.. Но не носорогам рассуждать о бабочках. И Андрей сумел вынести ее молчание до самого Кейптауна.

Поскольку он числился и у последней шведской компании на очень хорошем счету, а со шведами работать было вообще одно удовольствие, ему легко предоставили отпуск по домашним обстоятельствам, тем более что он улетел бы домой в любом случае, он этого не скрывал.

Богиню он дома не застал, храм оказался пуст.

На видном месте лежал белый лист А4, на котором единственным в мире почерком было написано: «Я не могу жить в мире, где нет ничего подлинного. Не ищи меня, я сама дам о себе знать, когда придет срок».

Андрей перевел дыхание и опустился на диван, вполне надежный, как и все в этом доме с тех пор, как он в нем поселился, и тем не менее не заслуживающий

имени подлинного. При всей недоступности для него той высоты, на которой пребывала она, в чем-то он ее понимал. Ему и самому портовые краны казались более подлинными, чем мобильные телефоны: своей грубо выкованной мощностью они как будто давали знать, что сколько ни тренди про хай-тек, в основе мира все равно остается перемещение громадных тяжестей. И обоссанные бляди с мурманской стометровки представлялись ему более подлинными, чем лощеные шлюхи на телеэкране. А сомалийские пираты более подлинными, чем банкиры. Он всегда пресекал — «Вы одни, что ли, жрать хотите?! Вы видели, как они живут?!» — мечтательные разговорчики, поднимавшиеся в команде все чаще по мере приближения к Африканскому Рогу, что хорошо бы де всех этих черножопых повесить за яйца на козловом кране добрым людям в усладу. Хотя он не задумываясь перестрелял бы тех же пиратов из старого доброго К-47, если бы они попытались вскарабкаться к нему на борт, и его серьезно возмущало, что пиратам иметь оружие разрешается, а честным морякам — нет. Иной раз он и вправду готов был согласиться с понимающими людьми, что законы пишутся либерастами для черножопых. Хотя и не понимал, чем он, собственно, хуже пирата в глазах пускай даже и либерастов.

Утешало его, что пиратские лодки издали выделялись на экране радара из-за их бессмысленного рысканья, а спугнуть их можно было, просто наняв охрану хоть из тех же местных; они перевесятся через борт с автоматом в руке: «Шалам-балам?» — те им в ответ: «Балам-шалам», — и разъехались. Этак и я умею, решил Андрей и приказал механикам наварить муляжей «калашников», а раскрасил их сам, и если черненькие подкатывали под видом рыбаков и пытались заводить перекрикивание, он тоже перевешивался через фальшборт со своей игрушкой и кричал по-простому: «Уот из зэ мэттэ?» — и те тут же отчаливали. Смотри, сшибут они тебе чердак, пытались его стращать, но он отвечал совершенно спокойно: хер с ними, пускай сшибают. Он иной раз холодел при мысли, что его богиня каким-то макаром может услышать, как он общается с экипажем, — с ней у Андрея и голос был другой, не то что сами слова. Но на борту они звучали бы невыносимо фальшиво. Зато погибнуть, защищая судно, было так же подлинно, как махать метлой, чтобы бросить к ногам возлюбленной лишнюю пригоршню золота.

Он установил такой порядок, чтобы в Аденском заливе и ночью вдоль каждого борта по освещенной палубе прохаживались как бы вооруженные люди, и ничего, пока хранил Николай Угодник. Андрей даже усвоил манеру креститься на его икону — подстраховаться никогда не мешает. Ему с его носорожьей натурой можно было креститься и без веры, на всякий случай. Но высокие души, он понимал, так не могут.

И, проведя над листом А4 полубессонную ночь, он отправился в Центр синергетического православия, адрес которого нашел в Интернете.

В прихожей его встретил сцепивший невидимые пальцы на отсутствующих коленях черный страшный Достоевский на огромном листе ватмана. Зато в чистеньком небогатом холле он увидел знакомого Николая Угодника, но креститься не стал — на людях это было совсем уж неловко. Похоже, это была обычная квартира, хотя Сосницкий называл ее офисом.

Сам Сосницкий был миниатюрен и осанист, благодаря окладистой боро-

де, разлегшейся на всю его узенькую грудку. Он разговаривал с Андреем как лечащий врач с не в меру разволновавшимся родственником, но в глазах его плясали веселые бесенята: он все делал по последнему слову, при первом же подозрении о порче начал читать молитву священномученика Киприана; но только он дошел до слов «кто убо стяжав молитву сию во своем дому да будет соблюден от всякого ухищрения диавольского, потвора, отравы злыми и лукавыми человеками, от заклинаний и всякого колдования и чародеяния, и да бежат от него бесы и да отступят злые духи», как порченую охватили корчи, ее вознесло на воздух и стало носить по комнате, ударяя о стены выше человеческого роста — Сосницкий совершенно серьезно указал на те места на обоях, где при старании можно было разглядеть и следы этих ударов, и в его востреньких глазках бесенята плясали еще веселее.

И тогда он, Сосницкий, понял, что ему не по силам изгнать овладевших супругой гостя бесов, — однако он и тут не утратился. Но когда у его дочери внезапно поднялась температура до сорока и трех десятых, ему стало ясно, что он не имеет права рисковать еще и невинным ребенком. Хотя он и тогда не отказал одержимой бесом страдальце в надежде на спасение — он назвал ей старца в Кингисеппе, умеющего отчитывать беса (Андрею представилось, как его самого за что-то отчитывает директор школы, методически покачивая у него перед носом указательным пальцем); правда, старца этого найти очень трудно, он живет в скиту, адрес которого меняет чуть ли не ежедневно.

Тем не менее Сосницкий не почувствовал в одержимой особенно глубокой признательности, она даже презрительно усмехнулась. Но лишь только она переступила изнутри наружу порог его офиса, как у дочурки температура мигом упала, и ожившее дитя принялось играть и резвиться.

Делать было нечего, и Андрей догнал свой контейнеровоз уже на Мадагаскаре. И промолчал — хозразговоры теперь не казались ему человеческой речью — до Мельбурна. Даже когда в Карачи при подтягивании к причалу лопнул трос и концом уложило на месте двух индусов или кто они там, Андрей высказывался исключительно по делу, а доказывать самим себе, чем целые сутки занималась вся команда, что индусы или кто они там сами не должны были подходить так близко к кнехтам, он считал слишком неподлинным. Только когда в Мельбурне он получил электронное письмо из Приволжского Свято-Преображенского монастыря от отца Виктора, заклинавшего его Христовым именем помочь им как-то разобраться с его супругой, — лишь тогда он впервые заговорил на неслужебную тему.

Андрей понимал, что вторым отлетом за один рейс он ставит крест на своей морской карьере, но для него было невыносимо даже помыслить о том, чтобы не прийти на помощь своей возлюбленной. Хотя его уже прочили в капитаны, и ему очень этого хотелось; он знал, что справится, тут главное следить, чтобы за бортом всегда была вода, а внутри не было, но еще главнее — явиться пред ликом королевы капитаном совсем не то, что старпомом, оно и звучит куда роскошнее. Однако что могло сравниться с тем счастьем, что она нашлась и он — кто знает! — может быть, как-то наконец сумеет серьезно ей послужить.

Повидаться со своими стариками на Первой Рессорной ему опять не удалось, но земные-то существа всегда и сами сумеют о себе позаботиться, —

Андрей снова заглушил спазмики совести, отправив им вдвое больше того, что могло присниться их соседям-пенсионерам.

Самолетик летал до Приволжска самый зачуханный, подниматься в него приходилось по откидной лесенке под хвостом, а внутри было так тесно, что толстые тетки с клетчатыми баулами напозлали друг на дружку, и сам он во время полета ни разу не пошевелился — не столько из деликатности, сколько из отталкивания от женского тела, которое не принадлежало его богине, слишком высокой для этого низкого мира.

На центральной площадке перед бывшим райкомом бросился в глаза огромный стенд «Лучшие люди города»; на месте бывших портретов зияли черные дыры. Тоска почета, подумалось Андрею.

Среди замызганных ларьков, набитых убогим китайским ширпотребом, он легко, поскольку не торгуясь, зафрахтовал такси до Свято-Преображенского монастыря, где так и не сумела преобразиться для убожества земной жизни его любимая, которую он ощущал уже не богиней, но беспомощной дочуркой, обожаемой особенно мучительно оттого, что настоящих дочерей, равно как и сыновей, у него, как он теперь это хорошо понимал, уже никогда не будет.

Долгий путь до последнего прибежища его любимой девочки очень ясно открыл ему, что в этом мире тщетно искать какого-то высшего покровителя. Если кто-то когда-то и держал людей на своей исполинской ладони, то он исчез в самые незапамятные времена, а ладонь иссохла и растрескалась до грязно-белой щебенки, и только в складках ее, куда забились кое-какая земля и застоялась кое-какая водица, пылали бесполезным осенним золотом густые кустарники.

Зато для водителя, — похоже, из инженеров, которых жизнь смайнала в таксёры, — вся эта земля наполнилась святыми источниками и местами сражений с татарами. И все это были победы, а если поражения, так еще и покруче всех побед: там здешние три богатыря истребили три тумена монгольской конницы, сям какая-то княгиня зарубила мужа, пытавшегося сдаться татарам без боя... Видите эти курганы, радостно показывал таксист на редкие вздутия, это могила знаменитого воина! «Батый думал, что на хвосте у него никого нет, а он в одиночку кривыми мечами изрубил триста человек, есть у нас в характере такой приволжский экстремизм, недаром мы считаемся родиной десантных войск! Но он был не просто экстремал, он владел восточными техниками. Есть такая техника — цвигун, она делает человека неуязвимым, монголы уже думали, что это какой-то дух, и начали в него швырять каменные глыбы из китайской машины... Потом Батый сказал, что всю бы свою гвардию отдал за одного такого инструктора».

А к Свято-Преображенскому монастырю Батый не посмел и подступиться, ибо ему во сне явился Никола Угодник и приказал: не замай. Андрей хотел спросить, почему Никола не приказал Батыю вообще валить отсюда, но пожалел портить красивую картину.

Тревогу он давил решимостью: если его бедная девочка нуждается в помощи, он не имеет права думать о чем-то еще.

— Знаете, как еще монахов называют? — радостно спросил таксёр, когда

за буграми рассохшейся ладони замерцали золотые луковки. — Чернецы. А женщин черницы.

Черница... Андрею никак не удавалось приложить это мрачное имя к своей нездешней бабочке. Он старался ни о чем не думать, чтобы сохранить в себе готовность ко всему.

Монастырь был окружен по-фабричному почернелой кирпичной стеной, а над воротами устремлялась ввысь чуть ли не еще одна кирпичная церковь, и Андрей невольно прикинул, умели ли делать такой кирпич во времена монгольского нашествия.

Гордившийся монастырем водитель отправился провожать его даже не ради щедрых чаевых: видите, какая чистота, осень, а сколько цветов, за ними сама братия ухаживает (вдалеке передвигались несколько серьезных бородастых фигур в самых настоящих рясах, которые Андрей до этого видел лишь по телевизору, и только тут он вспомнил, что монастыри делятся на мужские и женские, и, стало быть, его любимой девочки здесь быть не может), а вот это трапезная, тут они питаются, а вот это гостиница для паломников, раньше называлась — гостиница для черни...

Опять что-то черное... Как пугающе оно не шло его бедной страннице! Зато храм под золотыми маковками сиял такой белизной, что Андрей, пожалуй, был бы и не прочь увидеть там свою возлюбленную — только уж, пожалуйста, не в черном, а в чем-то светлом, струящемся... И где-то немножко золотом.

Но отец Виктор, хотя и тоже был в черной рясе, выглядел, несмотря еще и на черную бороду, добрым и смущенным, и икона у него в кабинете была всего одна, правда, не родной Николай Угодник, а кто-то другой. Расположившись за обычным канцелярским столом, отец Виктор, словно бы извиняясь, долго объяснял, что здешние монастыри расположены в зоне рискованного земледелия и требуются усердные труды не токмо послушников и послушниц (до этого Андрей думал, что надо произносить: послушник, послушница), но и трудников-волонтеров, однако это труды богоугодные, о них нельзя говорить такие кощунственные слова: православный колхоз, это называется, уж вы не обессудьте, приходите со своим уставом в чужой монастырь, послушание дано от начальствующих, а значит, и от Бога, у послушников и послушниц своей воли нет, преподобным Ефремом Сириным сказано: кто исполняет свою волю, тот сын дьявола, если послушник трудится до пота, то эти капли сверкают пред престолом Господним, аки перлы, тело изнемогло, а на душе мир и покой...

Андрей изо всех сил старался понять, к чему он клонит, и мучительно ждал, когда наконец дело дойдет до Беллы, но видел только, что его грузят какой-то мутотенью. Чувствуя, что еще миг, и ему уже будет не удержать поднимающиеся флотские матюги, он резко встал:

— Извините меня, святой отец, но где она сама-то? Моя жена?

— Она в затворе.

— ?..

Снова пошло что-то полупонятное: есть малая схима и есть великая схима, в прежние времена великая схима требовала не токмо полного отчуждения от мира ради соединения с единым Богом, но и вселения в затвор, дабы еще при

жизни умереть для мира, однако ныне затвор перестал быть неременным для схимонахов...

— А ваша супруга, не примите в обиду, принялась произносить хулительные речи, что если-де кто не готов умереть для мира, то и вера его не совершенна есть. И по наущению собственной гордыни вселилась в здешние пещеры, кои и сами отцы-пустынники давно оставили. И еще ввела в обольщение трех сестер, кои без игуменского благословения носят ей туда тайно черствый хлеб, а по воду она сама ночами выходит к святому источнику...

Андрей без сил снова опустился на стул и перевел дух: слава те, Господи, она жива. И впервые в жизни перекрестился на людях.

А черный бревенчатый домик издалека и вообще выглядел довольно уютно, и у него еще больше отлегло от души. Внутри, однако, оказалась лишь очень чистая и как-то по-особенному ясная прямоугольная яма. Вот из этого источника она и берет воду, указал отец Виктор, и Андрей понял, что яма эта наполнена какой-то невиданно прозрачной и спокойной водой. И душа его, не размыкая губ, возопила к небу: Господи, успокой ее душу, как эту воду!

Но они уже входили в дышащий погребом курган. Отец Виктор зажег тонкую и кривую желтую свечу, какими, Андрей думал, только поминают покойников, и двинулся впереди, шарканьем подошв ощупывая дорогу. Еле живой огонек — то потухнет, то погаснет — ухитрялся все-таки метаться, то выхватывая из непроглядной тьмы, то отдавая ей обратно куски обросшего грязным корневым волосом свода, кем-то притоптанного наподобие земляного пола, а каждые десять-пятнадцать шагов то справа, то слева открывались низкие проходы в еще более непроглядные отсеки.

— Так что же, люди здесь так и умирали — в холоде, в темноте? — не выдержал Андрей, и отец Виктор бросил через плечо не то сострадательно, не то презрительно:

— Лучше с Богом в темноте, чем без Бога в вашем хосписе.

Кажется, он и сам устыдился своего тона, потому что в следующий раз обратился почти ласково: «Где-то тут наша затворница», — и позвал очень осторожно, словно боялся рассердить каких-то вампиров: «Сестра Агния, за вами ваш супруг прибыл...»

— Почему Агния — Белла, — окончательно ошалев, напомнил Андрей беспроектной спине, и отец Виктор, совсем уж как ребенка, сюсюкающим голосом погладил его по головке:

— При крещении христиане получают новое имя.

Андрей, однако, пропустил его слова мимо ушей.

— Беллочка, Беллочка!.. — дважды воззвал он.

И ему отозвалось что-то вроде слабого стоны. Стон раздавался из отсека справа, и отец Виктор указал туда откатнувшимся пламенем свечи. Андрей успел разглядеть только блеснувшие глаза на чем-то вроде земляной лежанки, и тут же сам накрыл их своей огромной тенью (ему показалось, что он входит в разросшуюся и одичавшую русскую печь). Она лежала на каком-то тряпье и прильнула к нему, словно и впрямь маленькая девочка к отцу. Лицо у нее было до ужаса холодное, особенно нос. И Андрей на несколько мгновений замер перед

нею на коленях, зажмурив глаза и повторяя скороговоркой одними губами: слава те, Господи, слава те, Господи, слава те, Господи!..

А когда он поднял ее на руки, ему вспомнилось полупонятное слово «мощи» — она была невесома, как пушинка. Головкой она припала ему на плечо, и он боком, чтобы не задевать за стену ее ножками, следом за отцом Виктором понес ее к отдаленно белевшему выходу.

На солнце их обоих ослепило, и она уткнулась глазами ему в грудь, а он просто зажмурился, но успел разглядеть, что ее темные волосы слиплись и потускнели, и сердце его сжалось особенно больно, когда он заметил в ее волосах несколько серебряных нитей.

Она не просилась с рук до самого монастыря, да он бы ее и не отпустил. А когда отец Виктор спросил, повенчаны ли они, он так на него глянул (если речь идет о человеческой жизни, даже в нынешних торгашеских морях сигнал SOS принимают без торгов!), что ему без разговоров предоставили самую большую спальню в гостинице для черни.

Он отогревал несчастную затворницу охотским способом — под десятью одеялами с десяти кроватей прижимал к себе ее ледяное обнаженное тельце, не чувствуя решительно ничего, кроме невыносимой нежности. Зато она покрывала его лицо холодными одержимыми поцелуями, исступленно шепча: как я тебе благодарна, что ты любишь не мое тело, а мою бездомность, мою неприкаянность!..

\* \* \*

Хлебнул он-таки с нею... И все же я лучше бы выносил Ирку из затвора, чем выволакивал из сортира. Но ведь чем она всегда меня восхищала, так это своим приятием здешнего мира. И равнодушием к нездешнему.

Не он ли за это ей и отомстил?

А андреевой Агнии-Белле за враждебность к нему мстил мир здешний...

\* \* \*

Каким-то чудом она не заболела. Только и впрямь сделалась тихой, как вода в святом источнике. Целыми днями, обхватив худенькие коленки ручками-соломинками, сидела на диване перед плазменной панелью с диагональю 60 дюймов и, как будто давая себе какой-то жестокий урок, смотрела, смотрела, смотрела, смотрела одни лишь «реалити-шоу». В которых Андрей никак не мог разглядеть никакой реалити — нигде реальные люди так не живут. Во-первых, здесь никто не занимался своим делом — если что-то жарили или парили, то не повара и даже не домохозяйки, а не то певцы, не то артисты, не то хер их знает кто, но явно было видно, что здесь жарят-парят не для того, чтобы есть. Ну где и кто так восхищается едой — «все натуральное!»

А во-вторых, когда люди готовят еду, они делают это на кухне или на камбузе и стараются приготовить побыстрее, чтоб заняться чем-то поинтереснее — поесть, потравить за обедом про разное завлекательное... Короче, люди всегда стараются поскорей переделать нудное, чтобы перейти к интересному, а здесь пытались выдать за интересное самое занудное. То какой-то жизнерадостный мудак в поварском колпаке все ликует и ликует по поводу того, что в керамико-

вой сковородке ничего не пригорает, а шустрая бабенка косит под дурочку: да не может быть, да ах какое чудо, да неужели и мыть не надо?.. Ей же уже пять раз показали, что достаточно протереть, а она все ахает: как, и баранина?! Да неужели?! Что, и свинина тоже?! Не может быть!!! Что, и овощи?!!!

И так, похоже, сутки напролет.

Они там все сходили с ума от счастья из-за всякой дребедени — от майонеза, от электробритвы, от овощерезки, от женских прокладок, от поддельных брюликов...

Или раздражались деланым хохотом от приколов, которым в кубрике не усмехнулся бы последний придурок.

А то, наоборот, сидели и нудили — молодые пацаны, нормальные девки! — про то, что Рома неправильно *строит отношения* с Лизой, а какая-то классная руководительница, строгая, как будто тут обсуждают успеваемость и посещаемость, всех наставляла, а на самом деле стравливала, иногда до *потасовки* (тьфу!), но и тут никто никому не засвечивал по-настоящему, *реально*...

Только бесконечно выясняли отношения. Вообще-то и в любой команде кто-то с кем-то дружит, кто-то на кого-то косится, но все это преодолевается ради общего дела. А если бы никакого дела не было, отношения строились бы неизвестно ради чего, так, наверно, и вправду все круглые сутки сидели бы в кают-компании и орали друг на друга: «Ты меня достал, понимаешь, достал!!!» — «Заткни пасть, я тебе говорю: заткни пасть!!!»

И он с тревогой подумал, что у них с его любимой девочкой нет никакого общего дела...

Зато качество изображения спутниковая антенна давала издевательски четкое и многокрасочное. Андрей дольше минуты такой реалити выдержать не мог, а вот она, кому так не хватало подлинности, смотрела часами... Нет, ее нынешняя тихая вода не была прозрачной, что-то варилось в этом тихом омуте. Андрей даже боялся устроить какую-нибудь аварию — до того ему никак не удавалось сосредоточиться на работе, все время томило: что же еще она может учудить, что его ждет после вахты? Хорошо еще, ответственность тут была не та, что на прежнем просторном мостике с мониторами, он теперь ходил на бодающемся буксире, который, как умный бычок, прижимал к причалу огромные неповоротливые суда, вроде тех, которые Андрей еще недавно водил сам.

Но его не томила тоска по океанским просторам — ни на что, кроме любимой бабочки, душевных сил у него не оставалось. Он лишь старался не зачужиться на нынешней чумазой работе и оттого превратился едва ли не в щеголя, так что женщины теперь на него заглядывались даже еще больше чем раньше, и он был рад, что его повелительнице по-прежнему завидуют, пусть даже она никогда не выказывает удовольствия по этому поводу.

Он пытался переключать свою несчастную страдалицу на другую реальность — на виноделие в Хорватии, на оперы в Италии, на замки в Испании, но она слишком хорошо знала, что требуется ее печальным темно-янтарным глазам: фальшь. В которую еще и детей припутывали. Он, казалось, слышал, как она твердит самой себе: смотри, смотри, в каком мире ты живешь!

Помни! И никогда не забывай.

Она и не забывала. И не позволяла забыть ему. Как-то, на пробу щелкая

пультом, он услышал загадочные слова: тараканий хирург, тараканья хирургия — и задержал на огромном экране что-то красное и пульсирующее. Оказалось, это не тараканья, а торакальная хирургия, хирургия на легких. И все зачем-то делали четыре разреза, а один мастак сумел делать три. И только Андрей хотел поделиться с нею своим восхищением, как она взяла у него пульт и переключила на чей-то семейный скандал, в котором почему-то должна была участвовать вся страна.

— Молодец мужик, — попытался он вернуть ее к тараканьему хирургу, — людям жизнь спасает.

— И зачем? — еле слышно спросила она. — Если людям не за что умирать, им незачем и жить.

Ну что на это скажешь? В принципе и он так считал. Только немножко наоборот: умирать стоит, когда пытаются отнять то, ради чего живешь. Если бы у него попытались отнять ее, он бы пошел на смерть не фиг делать. Но жить ради того, кого любишь, — это же куда лучше, верно?

А вот она никого и ничего не любила, в этом была ее беда. Такое вот на нее пало проклятие — оказаться выше всего, что могла предложить жизнь. Это ему, носорогу, хорошо, а поди полюби что-нибудь, если ты прелестнейшая бабочка или нездешняя птичка!..

И тут на экране с чего-то вспыхнуло печальное, освещенное едва заметной грустной улыбкой лицо Усамы бен Ладена.

— Пророк в камуфляже, — почти неслышно прошептала она. — Единственное человеческое лицо. У меня с ним больше общего, чем с нашей фальшивой цивилизацией. В его мире люди готовы умереть за свою мечту.

Чудовищный, нездешний вой отбросил Андрея...

\* \* \*

Нет, уже без меня. Утратив посюсторонний слух, я едва не шагнул на набережной Обводного под колеса огромной мусоровозки. Нет, этак я еще и не доживу до третьего урока — тогда и бедной Ирке конец!

Ну и ладно, ведь это будет уже без меня. Черт, опять я!.. Я вновь испытал серьезный страх, что могу убить ее какой-то циничной мыслишкой.

Я побрел по матовому тротуару в сторону порта, и ко мне тут же вернулся слух, подключенный к душе моего товарища по несчастью.

\* \* \*

В его доме я уже обнаружил КОРАН, темно-зеленый до черноты. И, возвращаясь даже и с ночной вахты, Андрей почти всегда заставлял ее погруженной в чтение этой веской книги, установленной на черный деревянный пюпитр, хотя прежде она всегда читала, забравшись с ногами на диван. Она и реалисти-шоу теперь изредка смотрела, твердо установив стул перед экраном и взирая на него надменным взглядом опытного следователя, которого пытаются провести на мякине.

Андрею однажды тоже захотелось посмотреть, что же так поглощает ее в черно-зеленом томе, но она остановила его нежным и печальным прикосновением:

— Не нужно. Ты слишком естественный. И слишком русский.

Имея в виду, конечно, что-то в тысячу раз более сложное, чем запись в его свидетельстве о рождении, — ясно же, что в этом простейшем смысле он русский, какой же еще? И оттого что ему не следовало читать Коран, Андрею, наоборот, еще больше захотелось. Но ее просьба — это было свято, ему отрадно было сделать для нее хоть такую мелочь.

А потом в их доме появился хиджаб. Андрей видел их и в Александрии, и в Бейруте, и в Джакарте, немножко вроде бы разные, но суть та же, однако только сейчас он узнал, что хиджаб этот — двуслойный: нижняя, коричневая косынка плотно обтягивает голову, как у колхозниц на току, а верхний блекло-голубой платок с разводами уже располагается свободно, хотя укладывать его и закалывать Агнии-Белле пришлось учиться несколько дней.

Впрочем, к тому времени она уже произнесла шахаду и звалась более не Агния и не Белла, а Муслимат, и Андрей решительно ничего не имел против этого — лишь бы она была довольна. Только язык у него все равно не поворачивался назвать ее по-новому. Хотя мысленно он и прежде не называл ее по имени — она была в его мире единственной, а зачем единственному имя?

Ко всем этим непривычностям он относился с полной почтительностью — не носорогам судить бабочек, а ее новые одежды — светлые, струящиеся — ему даже нравились, и когда она уединялась в спальне для намаза, он никогда не приближался даже к двери, опасаясь как-нибудь ненароком оскорбить ее чувства. А к ее новым исламским друзьям из культурного центра «Рассвет» он заочно проникся прямо-таки нежностью — настолько его тревожило, что она всегда, всегда, всегда одна. Ну а когда руководительница «Рассвета» Зульфия Обручева разъяснила ей, что аллах не имеет ничего против брака с немусульманином, если брак был заключен до обращения и супруг относится к исламу с уважением, к его нежности присоединилась и безмерная благодарность: может, в их жизни и вправду наконец наступит какой-то рассвет? Любимое личико из-под голубого хиджаба и впрямь начало источать какое-то сияние, и Андрей просто-таки не мог поверить своему счастью.

\* \* \*

И правильно делал. Неприкаянность — она, похоже, что-то вроде алкоголизма. Когда Ирка временами вдруг резко завязывала и развивала кипучую деятельность, я нисколько не радовался — я знал, что будет только больнее, когда она снова сорвется.

То же самое ждало и Андрея. Очень скоро ее сияние стало меркнуть, меркнуть, любимое личико начало темнеть, опадать, а когда Андрей пытался оживить ее разговорами о рассветных друзьях и подругах, она еще больше мрачнела и уходила в себя.

А человеку нечего в себе надолго задерживаться, считал Андрей, и таки сумел постоянными восторгами по адресу «Рассвета» вызвать ее на откровенность. Когда он в очередной раз высказался в том духе, что если уже рассвет так осветил их жизнь, то каково же будет сияние дня, — ее личико окончательно потемнело. Нет, это было не презрение, это была скорбь.

«Рассвет» учит жить в гармонии со здешним миром, с миром лжи и пошло-

сти, хотя каждому мусульманину должно быть известно, что соблазн хуже, чем убийство. Андрей замер, боясь спугнуть ее порыв к откровенности, но она уже спохватилась и остаток вечера провела в молчании за чтением Корана. Так и пришлось отправиться в постель в одиночестве: завтра ему нужно было идти в утро, а он еще не смыкал глаз после ночи.

И оказался на таком громадном контейнеровозе, что с палубы ему еле-еле удавалось разглядеть причал — будто с самолета. И все-таки он сумел рассмотреть, что она подошла слишком близко к кнехту, а натянутый для швартовки канат, он это явственно чувствовал, уже всю потрескивает и вот-вот лопнет. Перевесившись через фальшборт, он изо всех сил кричал ей: «Отойди, отойди, тебя ударит концом!..» — но из его горла вырывалось лишь бессильное сипение.

И даже проснувшись, он все еще чувствовал, как ему в живот врезается горячий от солнца фальшборт, через который он перевешивался. Зато он совсем не удивился, увидев на пюпитре прогнувшийся поверх Корана лист А4.

*Постарайся забыть меня. Ты рожден для жизни, а я для смерти. Мне нет места в этом мире. Я поняла: мне тоже нужна какая-то неземная высота. Но, если я не сумела красиво прожить, может быть, я сумею красиво умереть.*

*Ради всего святого не обращай в левоохранительные органы — это было бы осквернением тех высоких минут, которые у нас все-таки были.*

*Ничья Муслимат*

Он перечитал это письмо дважды, потом трижды. Затем раскрыл черно-зеленый Коран. Начинаясь он так.

#### ОТКРЫВАЮЩАЯ КНИГУ

- (1). Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
- 1 (2). Хвала Аллаху, Господу миров
- 2 (3). милостивому, милосердному,
- 3 (4). царю в день суда!
- 4 (5). Тебе мы поклоняемся и просим помочь!
- 5 (6). Веди нас по дороге прямой,
- 6 (7). по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, —
7. не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.

Андрей ощутил тоскливое предчувствие, что не сумеет здесь найти разгадку, какая сила овладела его возлюбленной: если даже эта разгадка где-то там и таится, он все равно не сумеет ее распознать. Он был не слишком высокого мнения о своем уме и до сих пор не особенно переживал по этому поводу: ему казалось, есть вещи поважнее ума. Но сейчас он почувствовал мучительное раскаяние, что никогда не пытался выучиться каким-нибудь хитроумным штукам, которые сейчас, может, и пригодились бы!

Следующая глава начиналась еще более загадочно:

## КОРОВА

Почему корова? Он перевернул страницу и прочел, уже не замечая цифр: «Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их — завеса. Для них — великое наказание!

И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в Аллаха и в последний день». Но они не веруют.

Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не знают.

В сердцах их болезнь. Пусть же Аллах увеличит их болезнь! Для них — мучительное наказание за то, что они лгут».

Сердце Андрея захолонуло — а ну как это про нее?.. Конечно, она никогда не лжет намеренно, но здесь же и говорится о тех, которые обманывают самих себя...

А вот и еще: «А когда говорят им: «Уверуйте, как уверовали люди!» — они отвечают: «Разве мы станем верить, как уверовали глупцы?»

Нет, она точно не станет верить, как все прочие, не из такого теста она родилась, да и не из теста она вовсе, а из света и воздуха!

Андрей раскрыл книгу наугад — богобоязненным там были обещаны сады, где внизу текут реки, — они там пребудут вечно.

Нет, это не для него. Он не понимал, как можно блаженствовать, если у тебя нет никакого дела. Если бы он даже встретил в раю свою бедную любимую девочку — ну, и на сколько лет хватило бы их счастья? На год, на два? А ведь впереди была бы вееееееееееееееееееееееееееееееееечность!..

Нет, без общего дела любые *отношения* зацветут, как застоявшаяся вода в трюме...

Он написал заявление об уходе, а потом отработал полную смену — сколько можно кидать людей!

Дома же он набрал номер ее мобильного телефона, и тот заиграл под диванной подушкой. От нечего делать он начал смотреть, кому она звонила, и наткнулся на знакомое имя: Зульфия Обручева.

Ее голос был таким нежным и сострадательным, что у него впервые за много лет навернулись слезы. А то он как-то окаменел в бесконечном ожидании чего-то непоправимого. Конечно, вы можете зайти, говорила она, посидим, выпьем чайку, все хорошенько обсудим...

Она говорила с ним как мама с ребенком, и оттаявшее сердце сжалось, что он так давно не бывал у стариков на Рессорной, только слал бабки да отписывался, что его бросают из рейса в рейс. Но решился он их навестить хоть на три дня, он бы извелся, каждую минуту представляя, что она там еще сотворит без присмотра, а они бы изводились, не понимая, что такое на него нашло. Да и сейчас как им покажешься — щеки ввалились, желваки окаменели, глаза горят безнадёжным мрачным огнем... Это ж для них будет тихий ужас.

«Рассвет» был затерян среди унылых блочных коробок на улице Дерюченко и походил на серую авторемонтную мастерскую без вывески. Но на беззвучный звонок коричневая стальная дверь немедленно открылась. Зульфия под своим хиджабом цвета лилового подснежника оказалась еще более милой, чем ее

голос, что с женщинами бывает чрезвычайно редко. У нее было совершенно русское доброе лицо с чуть заметными материнскими морщинками у очень светлых, почти светящихся глаз.

— Легко нас нашли? — дружески, словно они были двадцать лет знакомы, спросила она. — Мы на всякий случай вывеску не вешаем из-за скинхедов.

В прихожей на цветном коврик стояли две пары пляжных пластиковых тапочек, и он с тревогой сообразил, что нужно разуться, а в целости своих носков он не был уверен, поскольку следил за ними сам. К счастью, носки оказались в приличном состоянии, и он поспешил влезть в холодные тапочки, дабы показать, что умеет уважать чужие обычаи.

Однако Зульфия смущенно сказала, что тапочки эти только для туалета, у них принято различать чистое и нечистое.

— Вы не бойтесь, у нас везде ковры, не простудитесь, — ободрила его Зульфия, и он заторопился сообщить, что совершенно не боится никакой простуды.

Идти действительно пришлось исключительно по коврам через большие комнаты, обставленные скромно, но чисто. Первая из-за ярких пластмассовых игрушек была похожа на детский сад, вторая из-за школьной доски — на классную комнату. Странно было видеть нездешние узоры арабского письма написанными мелом неумелой рукой.

В обычном канцелярском кабинете (только книги на полке стояли непривычные: Аль-Бухари Сахих, «Сады праведных», «Поминания Аллаха», «Права человека в исламе»...) Зульфия усадила его в кресло за стеклянный журнальный столик и в своем просторном лиловом облачении принялась его потчевать — ставить электрочайник, заваривать пакетный чай в цветастых чашках с блюдечками, расставлять чашки, подвигать ему вазочку с простеньким печеньем... Он и забыл, сколько теплоты может излучать самая незатейливая женская забота, и ему хотелось, чтобы она хлопотала и хлопотала, а что-то обсуждать — глядя на нее, он окончательно понял, насколько дела важнее слов.

И тоже не слова, а звучание ее голоса убеждали его, что она верит в то, что говорит. Уютно расположившись в кресле напротив, не притрагиваясь к своей чашке, она объясняла ему, какое это несчастье, что Муслимат не хотела по-настоящему вчитаться в суры Корана, тогда бы она избавилась от своей нетерпимости, ведь в Коране ясно сказано, что если бы пожелал Господь, то все люди уверовали бы, мы не делали тебя хранителем их, говорил Всевышний, и ты над ними не надсмотрщик, призывай к вере в Аллаха с мудростью и добрым словом, не ругай их богов, иначе они будут ругать твоего...

Наверно, в черно-зеленой книге все так и было сказано, да только кто же живет книгами. Если человек хочет рубить головы, он ищет топор; если хочет строить, ищет... Да тоже топор, топором можно и рубить головы, и обтесывать бревна. Вот и любая книга такой же топор.

— Вы не представляете, куда она могла отправиться? — неожиданно прервал он Зульфью. — У мусульман бывают монастыри?

Получилось даже невежливо, но Зульфия смотрела на него с прежней теплотой.

— Нет, нет, лучший мусульманин тот, кто живет с людьми и терпит от них,

лучшее служение Богу — через служение людям. Один человек все время находился в мечети и молился, а пророк спросил: кто же его кормит? Ему сказали: его брат приносит и ему еду, и кормит его семью. Тогда пророк сказал: его брат и есть лучший мусульманин.

Андрею страшно не хотелось уходить от этих светящихся глаз, от этого убежденного и вместе с тем мягкого голоса, от этой маленькой, но все-таки женской заботы — словно от теплой русской печи на безжалостный мороз, но когда-то же надо было подыматься!

\* \* \*

На мгновение я вновь вынырнул на матовой набережной Обводного и порадовался, как же я был прав, все эти дни без Ирки избегая женщин: я чувствовал, что они могут каким-то образом поколебать мою волю.

Вот и Андрей покосился уже каким-то особым взглядом, пересекая соседнюю комнату. За длинным столом там весело болтали другие молодые женщины в самых разнообразных хиджабах. Ближайшая к нему была в черном с лазурными цветами и новогодними блестками, попадались и веселенькие в цветочек, а один вообще красовался как-то даже залихватски, можно сказать, набекрень. Есть же счастливые люди — их женщины и в хиджабах, и смеются...

Однако тут до него дошло, что если не половина, то каждая третья из них — русские. Так что же получается — мы такие уроды, что нам наших женщин и удержать нечем?! На что же тогда мы вообще годимся?..

В нем впервые за все эти годы проснулась гордость: раз такое дело, мы можем и перебиться. Одно дело, ты летишь к любимой женщине, которая ждет твоей помощи, другое — она выбирает других.

И когда за ним с лязгом захлопнулась стальная дверь, он внезапно обнаружил, что в мире еще сохранилась весна с ярко-синим небом и ослепительными облаками, со сверкающими зелеными звездочками молодой листвы на деревьях, с детским гомоном на сохнувших песчаных дорожках. Один пацанчик ревел во все горло над опрокинутым самокатиком, и охваченный такой же забытой нежностью Андрей положил руку на его теплую стриженую головенку: что ты плачешь, голубчик, чем тебе помочь? Но мальчишка злобно отбросил его руку и принялся вопить еще пуще прежнего, адресуясь по-видимому к кому-то поважнее и понужнее.

И с Андреем приключился внезапный конфуз, какого с ним не случалось лет, может быть, с двенадцати — он разрыдался. Он стремительно зашагал прочь, стараясь спрятать мокрое лицо себе за пазуху, но содрогающееся тело спрятать было невозможно. Он уже хотел перейти на бег, как вдруг на его пути вырос зачуханный мужичонка:

— Слышь, друг, помоги на пиво...

— Отъебись!.. — зарычал на него Андрей, и только чудом не отправил его в нокадаун.

Мужичонка испуганно шархнул, чем немедленно привел Андрея в чувство. Он нащупал в кармане сторулевку и, не глядя, протянул ее назад.

— Куда ж так много, — растроганно прозвучало оттуда, и Андрей почувствовал, как купюру осторожно тянут из его пальцев.

Сразу вот так взять и уехать ему показалось все-таки не очень красиво, он отдал ключи от опустевшего дома своей любимой ее замужней сестре, с которой его богиня на его памяти встречалась только раз, да и то очень кратко и холодно, и отправился на побывку к старикам на Рессорную. А оттуда на Охотское море.

Когда-то еще на практике он разговорился на ветреной вечерней палубе с очень серьезным очкастым парнем во фронтальной плащ-палатке, и тот рассказал ему, что на биологической станции всегда требуется водитель катера наблюдать за косатками. Тогда это ему показалось не очень интересно, а теперь вдруг забрало, хоть он почти все и забыл. Вроде как косатки, облеченные вроде бы в один и тот же черно-белый камуфляж, бывают при этом нормальные и ненормальные; нормальные всегда плавают стаями, одними и теми же маршрутами, что отцы-матери ели, то и они едят: привыкли пожирать тюленей, значит, человека уже не тронут, разве что он разляжется на тюленьем лежбище, — ну и все такое. А бывают косатки-одиночки, которые все время ищут нехоженых-неплаванных путей и перекусить могут кого им на ум взбредет. Они могут вести себя совершенно по-разному, иногда даже как акулы — заранее никогда не угадаешь. И прослушивать их очень трудно — они больше слушают сами.

Бродяги и домоседы настолько чужды друг другу, что даже и не скрещиваются. Вот за домоседами наблюдать и не очень трудно, хоть и опасно: нужно все время идти параллельным курсом как можно ближе, а десятиметровые самцы, бывает, примут за врага, кинутся и носом опрокинут катер. Нет, домоседы человека не тронут, тут обычно убивает холод, а вот как наблюдать за косатками-бродягами, — их, кстати, англичане и называют китами-убийцами, — еще никто не придумал.

Так теперь он этим и займется, опыт у него уже есть.

\* \* \*

Это было последнее, что я расслышал в его душе. А от его одинокой косатки до меня не донеслось ни единого звука, — лишь напрягаясь изо всех сил, я еле-еле сумел разобрать, что она плещется где-то на Северном Кавказе.

Если бы каждый раз не приходилось заглушать ужас, доктор Бутченко меня бы даже забавлял: с первых слов обычно прорывалось простое человеческое удивление — ничего не понимаю, давления нет, а пульс есть, — но он тут же спохватывался и пытался восстановить свой жреческий авторитет потоком заклинаний: токсический гепатит, токсическая нефропатия, токсическая энцефалопатия, токсическая кардиомиопатия, печеночная дефицитарность, билирубин в плазме, щелочная фосфатаза, холинэстераза, протромбиновый индекс, фибриноген, эуглобулиновый лизис, зондовое питание...

— Вы замечали у нее нарушения памяти — двадцать раз рассказывает одно и то же, и ей тоже можно двадцать раз рассказывать одно и то же?

— Да, было такое.

— Вот видите — алкогольная энцефалопатия.

Наверно, и не без того. Но когда она мне жаловалась, что никак не может

запомнить, кто умер, а кто жив, мне это казалось нежеланием мириться со смертью, и более ничем.

\* \* \*

В сверкающем аэропорту Минвод я долго стоял, облокотившись на круглый столик и уже не понимая, в какой я стране. Если бы передо мной на тарелке лежал чизкейк, а не плоский бледный пирожок с сыром и какой-то зеленой веточкой, я бы окончательно забыл, что я на Кавказе. Я не хотел доедать этот пресный вкусный пирожок, ибо, доевши, необходимо было что-то предпринять, а что — я не знал.

Если я даже каким-то чудом отыщу эту вечно неуголенную бабочку, каким таким словом я ее обольщу? Ведь никакого дара слова у меня нет, брал я только хитростью и удачей, и покровительствовал мне никакой не Орфей, а всего только Гермес. Разве что Орфей за меня перед ним походатайствовал...

Среди озабоченной толпы одиночество всегда ощущается острее, но здесь меня окружали люди, среди которых даже по случайности не могло оказаться никого своего. И я воззвал к Орфею: помоги мне сделаться здесь своим хоть для кого-нибудь!.. Нет, для того, кто мог бы мне помочь!

Внутри я обращался к нему на «ты», без условностей.

И сразу...

— Почему такой грустный, отец? — Меня бы покорило от такой фамильярности, если бы в этом голосе вместе с сильным кавказским акцентом не прозвучало столько искреннего сочувствия и почтения.

На мой столик напротив меня оперся юный, однако небритый до крайности мужественно горный орел в круглой черной тубетейке и черной же кожаной куртке. Он походил на абрека, но голос его сразу вызывал доверие. Я вообще люблю кавказский акцент — он всегда вызывает у меня представление о чистосердечии и вере в какую-то высшую справедливость.

— Идрис. — Он протянул мне твердую руку через пирожок более чем уважительно.

Я назвался тоже по имени, однако он почтительно, но твердо потребовал присоединить отчество, и с этой минуты называл меня только так.

— Я смотрю — такой культурный отец стоит такой грустный, никого не встречает, никуда не идет, ничего не кушает... Я подумал: наверно, какие-то неприятности. Вы же не местные?

— Нет, из Ленинграда. — Я побоялся, что девичья фамилия Петербурга будет воспринята как попытка возвыситься — и только тут до меня дошло, что из моего голоса после разговора с Орфеем исчезла осточертевшая мерзкая сипота.

— О, такой культурный город! Не был никогда, только в Москву-Шмоксу катаюсь туда-сюда. А в Ленинград — нету времени. Потом документы-шмокументы начнут спрашивать... — Он безнадежно-презрительно махнул рукой, словно речь шла о не заслуживающих внимания склочниках. — А вы зачем к нам приехали? Какие-то неприятности, правильно говорю?

— Правильно, — вздохнул я и, с недоверчивой радостью прислушиваясь к

звучности своего голоса, рассказал историю бедного Андрея, выдав его за своего друга.

Да он и вправду сделался мне другом за те часы, пока я вслушивался в его судьбу.

Идрис сочувственно покивал, проникновенно поцокал языком, ответственно подумал. И просветлел в своей непроглядной щетине:

— Здесь один только человек может помочь. Мухарбек. От него никто не ушел с пустыми руками. Вдова, сирота — всем что-то дает. Как, Мухарбека не знаете? А говорят, Ленинград культурный город... Вы не обижайтесь, вырвалось.

— Нет, это вы не обижайтесь. Но я вообще далек от политики, а тут с этими неприятностями совсем отстал... Это что, президент?

— Какой президент-шмузидент!.. Президента сегодня назначили, завтра отчислили, а Мухарбек всегда Мухарбек. У нас так рассказывают: стоит на остановке девушка без платка. Мужчина ее спрашивает: ты почему без платка? Она говорит: ты что, отец мне, что замечания делаешь? Он говорит: а если бы отец сказал, ты бы надела платок? Она говорит: не надела бы. «А если бы Мухарбек сказал?» — «Если бы Мухарбек сказал, и ты бы надел платок».

Я грустно посмеялся — мне было совсем не до смеха. Идрис тоже это понял.

— Все, докушивайте ваш пирожок, допивайте ваше кофэ — пойдём к Мухарбеку. Я в его эскорте сопровождения. Через весь город прошли на сто восемьдесят.

Я выразил унылое восхищение.

В углу провинциальной площади столпились лакированные, как гондолы, черные иномарки величиной с прежнюю карету «скорой помощи» — опять забыл, как их называют, эти кроссинговеры... Идрис поставил меня у одного из них и куда-то исчез. Я некоторое время ждал в полном отупении, как привязанный пес у магазина. А потом снова взмолился: Орфей, родной, шепни за меня словечко!.. И тут же Идрис вновь возник передо мной окончательно просветлевший:

— Я же говорил: Мухарбек никого не оставит без рука помощи.

Раздался различимый лишь своими сигнал «по коням!», во главе колонны возникла милицейская мигалка с сиреной, прокладывающая нам дорогу среди плебейских «Жигулей» и самосвалов, и мы рванули. Я хотел пристегнуться, но Идрис остановил меня со снисходительной улыбкой: это у вас в России надо пристегиваться...

Замешкавшиеся на спуске в кювет самосвалы просвистывали в сантиметре от моего локтя, да еще и сами кроссинговеры иногда вступали в состязание друг с другом, и мы то принимались кого-то медленно обгонять, то нас кто-нибудь, но если в эту минуту начинала маячить встречная машина, выбившийся из ряда кроссинговер запрыгивал обратно в колонну, хотя место для него там не всегда отыскивалось. Однако в сантиметре от чужих бамперов все пока что хоть с трудом, но втискивались. Я понял, что если буду напрягаться и обмирать каждый раз, когда окажусь на волосок от гибели, то доеду до места уже совершенно седым, и решил положиться на судьбу. Тем более что скорость ни разу не

дошла до гордых ста восьмидесяти, а колебалась в районе скромных ста шестидесяти пяти.

Мимо проносились начинающие темнеть холмы, из которых время от времени вырастала мохнатая гора до неба, но все-таки не до снегов, а иногда за окном оказывалась равнина с унылыми полями пожухлой кукурузы. В обычные советские городки мы не заезжали, пронзая разве лишь их обочины.

— Это ничего, — ободряюще улыбнулся мне Идрис сверкнувшими из черной щетины зубами. — Вот когда я из Москвы иду на новой машине — за один ден доезжаю.

Я почтительно покивал, стараясь не отвлекать его от дороги, но он не удержался, чтобы еще раз не прихвастнуть:

— Последний раз за шестьсот тисач машину взял, а продал за миллион.

— Да-а... Мне год надо работать.

Все же голое восхищение показалось мне слишком формальным, и я поинтересовался сочувственно:

— А милиция в Москве не цепляется?

Мой вопрос доставил Идрису двойное удовольствие:

— Если, бывает, цепляются, я звоню нужный человек: я от Мухарбека. Он спрашивает: какой район? Потом звонит начальник милиции: ты что, хочешь себе какие-то неприятности? И все, выпускают. Но я больше люблю, когда все цивилизовано: ты человеку даешь денги — он к тебе не привязывается. Надо чтобы — как это по-русски? — авторитет какой-то люди уважали. Он сказал: ты вот так делай, ты вот так — и все тихо-мирно. А то что бывает? Твой родственник кого-то убил, его родственники тебя убили — кому хорошо? Мой дядя еще при советской власти был очень большой человек — главный инженер, с московский диплом, партийный, и получился такой случай: у них на фабрике наградили комсомольскую бригаду, что они хорошо план перевыполнили. Наградили поехать на автобусе куда-то не помню, я еще маленький был. И они, эти комсомольцы ждут автобус, а у шофера в этот ден кто-то умер, и он не приехал. А комсомольцы подумали, это мой дядя виноват, они сидят, пьют и его ругают. А тут идет его сын, мой двоюродный брат. Они на него напали: твой, говорят, отец такой-сякой, и начали его бить. Бьют, бьют, он видит — сейчас упадет, тогда совсем убьют, он вытащил ножик-складишок, такой, как мой мизинец, и ударил одного в живот. Тот даже не посмотрел, моего брата только мать одного этого комсомольца у них отобрала, объяснила, что мой дядя не виноват. И этот раненый еще пошел пить, а оказалось, у него... Как это называется по-русски, когда кров не из живот течет, а, наоборот, в живот? Да, правильно, внутреннее кровотечение. И он начал падать. Пока вызывали доктора, шмоктора, пока кров искали — у него была какая-то неправильная кров, — он умер. Суд присудил как неумышленное убийство при самооборона, дал год условно, а родственники того сказали, что кого-то убьют из дядиной семьи. И дядя с моим двоюродным братом уехали скрываться в Казахстан, строили коровники. Как такое может быть — с московский диплом чтобы строил коровники! Пока младшему сыну исполнилось четырнадцать лет. Тогда к их дому подъехали три человека в масках и застрелили его из ружья, моего двоюродного брата, и уехали. Тогда дядя написал Мухарбеку, что не хочет больше кров. Написал: они потеряли сына, мы

потеряли сына, хватит искать кров. Мухарбек собрал две семья и сказал: кто простит кров, это самый дорогой человек для Аллаха. Так и закончили, цивилизованно. Мухарбек всегда был в большом авторитете, он же из рода святого шейха...

Идрис произнес какое-то имя из двух частей, но я расслышал только вторую — Хаджи, а переспросить постеснялся, чтобы окончательно не уронить репутацию Ленинграда как культурного города. К тому же Идрис больше не называл святого по имени, но именовал просто Устазом явно с большой буквы. Устаз, как я догадался, означало учитель: у кого нет Устаза — у того устаз шайтан, разъяснил мне Идрис. Он так увлекся рассказом, что даже отстал от колонны, сбавив скорость до жалких ста пятидесяти.

И вдруг у меня перед глазами плеснуло желтое пламя. А в следующую секунду я уже снова откинулся на сиденье, держась за лоб, которым впился в переднее стекло, и не вполне понимая, что такое гневное несет мой сосед: он же не имел права там ставить машину, ишак, без задние огни, еще за мостиком, хорошо, успел тормознуть, если бы мы врезались, он был бы виноват!..

— А что, нам бы на небесах от этого было легче?

— Зачем сразу на небесах? Я уже переворачивался, и ничего. Только ключица сломал, и нога треснула. Ну еще туда-сюда, голова немножко сотряслась...

Идрис оказался прав: не надо драматизировать, уже назавтра лоб у меня почти не болел. Но для разрядки бесстрашный джигит все же поставил какую-то современную тупейшую эстраду. Я потерпел-потерпел и попросил чего-нибудь местного. Идрис послушно включил захватывающую дух необъезженную музыку, под которую задыхающийся от страсти мужской голос повторял и повторял какое-то слово — наверняка «Любимая! Любимая!», — я был готов впивать его и впивать без конца, а когда голос все-таки умолк, я сумел выговорить лишь после длинной паузы:

— Про что эта песня? Про любовь, наверно?

— Нет, про Мухарбека. Он за нее тот, кто сочинил, машину подарил. Он сам и поет.

— А что за слово он повторяет?

— Отец, отец.

Подъехали мы к резиденции Мухарбека в полной темноте, которую не могли разогнать даже бесчисленные горящие окна, — я совершенно не представлял, что нас окружает. Зато три длинных двухэтажных здания из светлого кирпича, окруженные неприступной кирпичной стеной, были видны яснее ясного.

Листовые железные ворота медленно отворились, и мы въехали в театрально сияющий двор, такой длинный, что столпившиеся в дальнем конце кроссинговеры заняли только половину. Нас встретили приветливые женщины в платках и, отделив меня от Идриса, повели, мне показалось, в банкетный зал, окружив такой нежной заботой, что я уже не знал, куда деваться, — мне нечем было им ответить — оставалось утешаться тем, что на меня работает обаяние Орфея. Бочком, бочком я отправился искать туалет, и они тут же выпустили меня из своей ауры, деликатно намекнув, что мне нужна дверь возле лестницы. В этом интимном уголке все было абсолютно по-европейски, только на полу стоял кувшинчик с изящным носиком из «Тысячи и одной ночи».

Чтобы прийти в себя, я поднялся на второй этаж, где у входа в сверкающий зал с дворцовым паркетом стояла корзина с голубыми больничными бахилами. Натянув бахилы, я вступил в дворцовый блеск. Вдоль стен шли застекленные книжные шкафы, и я прильнул к ним как к весточке из прежнего мира. Похоже, сюда была целиком закуплена какая-то районная библиотека — в алфавитном порядке шли сочинения Бабаевского, Гегеля, Гюго, всех Ивановых, Каверина, Нексе, Проскурина, трех Толстых, Митчелла Уилсона, Эренбурга, Языкова и Бруно Ясенского. Его роман «Человек меняет кожу» был популярен у нас на Паровозной. Могли вдруг напористо предложить: «Скажи: человек меняет кожу!» А когда ты в растерянности повторял, тебе отвечали с торжествующим смехом: «С моего... на твою рожу!»

Идрис, однако, не позволил мне долго бродить по этим «елисейским полям» — он почтительно сообщил, что меня хочет видеть Мухарбек.

Мухарбек был в расширяющейся кверху круглой твердой папахе из серого шелковистого каракуля, и лицо его с коротко остриженной серебряной бородой выражало такое приветливое достоинство, что все бесчисленные президенты, каких мне случалось видеть по телевизору, годились ему разве что в шустрые референты. Как он только сохранил все это в казахстанском изгнании?

Не сохранил — где почерпнул?

Уж не знаю, что здесь действовало — чистое великодушие или обаяние Орфея, но прежде всего хозяин заверил меня, что я могу оставаться в его доме сколько мне пожелается и о малейших неудобствах должен тут же сообщать лично ему (я изобразил невозможность желать еще чего-то сверх благ, уже мне дарованных). Что же до беды моего друга, он попробует что-то сделать, но обещать невозможно (я изобразил, что понимаю это как нельзя лучше и буду бесконечно благодарен даже и за бесплодные усилия).

Потом меня накормили за отдельным столом вкуснейшей вареной бараниной с горячими полупешками-полупирогами, — мне показалось, с творогом и зеленью. Черноглазый парнишка лет шестнадцати ухаживал за мной с такой проникновенной заботой, как будто я был... Даже не могу подыскать кто — у нас так не ухаживают и за родным отцом.

А оказавшись в своей комнате, я снова перестал понимать, в какой я стране — хорошая европейская гостиница, и все тут.

Мухарбек внушил мне такую надежду, что тревога даже не приближалась к моему ложу: я заснул, чувствуя себя почти счастливым. И что еще более удивительно, таким и проснулся. Не сразу вспомнив, что ночью я уже просыпался от выстрелов — не столько пугающих, сколько вызывающе бесцеремонных, — палили то одиночными, то очередями, то соло, то дуэтом, то трио. Я было поднапрягся, но, видя, что никакой суматохи в доме не наблюдается, а значит, отбивать штурм не требуется, заснул снова.

Завтрак мне был подан, чуть я высунул нос, — опять горячие лепешки и воздушное печенье, напоминающее наш хворост, только очень крупный и незакрученный. Парнишка — его звали Иса — снова ухаживал за мной так, что я чувствовал себя жуликом, которого принимают за кого-то несравненно более заслуженного: мне снова приходилось утешать себя тем, что служат не мне, служат Орфею.

После завтрака Идрис предложил мне навестить могилу Устаза, которую он называл не то зерат, не то зиерат. Разумеется, я согласился.

— Да, а почему ночью стреляли? — спросил я как можно более небрежно, чтоб не подумали, что я испугался.

— Праздник вчера был. Свадьба. Ребята немного посалютовали, туда-сюда.

На улице было пасмурно. Двор Мухарбека восстал на вершине каменистого холма, который не сразу решишься назвать горой. Остальные дома крепкого красного кирпича, окруженные садиками и подворьями, в которых ощущались коровы и овцы (кое-кто из них бродил по склонам, пощипывая наметившуюся первую травку), расположились пониже. Среди них виднелась и мечеть, не слишком большая, но очень красивая — с золотящейся кровлей, синеющими изразцами и, чувствовалось, совсем новенькая. Другие холмы позади нее таяли в тумане.

— Мухарбек построил, — с гордостью указал на мечеть Идрис.

Когда мы на нашем кроссинговере миновали вторую компанию мальчишек в тубетейках, я сообразил, что, может быть, неприлично являться к святыне с непокрытой головой, и спросил у Идриса, не найдется ли у него лишней тубетейки. Вместо ответа он притормозил у третьей компании и, приоткрыв дверцу, подозвал ближайшего пацана; затем, не говоря худого слова, снял с него головной убор и спокойно газанул. Мальчишка пытался за нами бежать, но не человеческим ногам тягаться с автомобильной промышленностью Запада.

Поколебавшись, я решил-таки уважить местные обычаи и пристроил черную бархатную шапочку у себя на макушке.

К могиле Устаза от мечети вела прямая эспланада, мощенная керамической плиткой; сама могила была окружена просторной кованой решеткой и тоже покрыта позолоченной выпуклой кровлей с полумесяцем на вершине. Надгробие же было очень скромное — узкая заостренная стела темного мрамора с арабской вязью и золотым полумесяцем.

Засмотревшись, я снова пропустил начало и уже не решался спросить, когда это было — при Советах или при государе-императоре: «...Начальники сам баниднитничал хуже абреков... Сами баниднитничал, а всегда кто-то наш виноват — то абреки, то боевики, то вакхабисты, сами хуже вакхабистов... Народ стал прятаться в горы... Устаз стал за них заступаться...»

— Что интересно — он сам знал, куда его отправят. Пришел, сказал жене: собирай вещи, поедem Сусольск... есть такой город?

— Наверно, Усть-Сусольск? — Мне показалось, на родине акцент у Идриса усилился.

— Да, наверно. Усть-Сусольск. Приехал и сам пошел в тюрьма. Они говорят: как, мы ничего не знаем. И тут пришла бумага: взять в заключение. Но во время намаз он всегда молился во дворе. Камера закрыта, а он во дворе. Чтоб небо было сверху. Начальник бежит, охрана ругает: ты такой-сякой, я тебя самого посажу — а Устаз уже сидит на нары, четки перебирает. И сейчас, из могилы помогает народу. К нему приезжают больные, парализованные, слепые, всякие, и он всем помогает. Иногда даже обидно бывает: про это им говоришь, а люди думают, ты какие-то сказки рассказываешь. Можете сами у него что-то попросить — увидите, обязательно подаст рука помощи.

И я взмолился со всей страстью: «Пускай Ирка воскреснет!» И только на следующий день сообразил, что я имел в виду не просто «выживет», а сделается такой, как раньше. В сказках всегда так — в просьбе открывается какой-то второй, издевательский смысл. Есть анекдот: муж и жена попали в аварию — на муже ни царапины, жена в реанимации. Выходит врач: «Ну что — лобные доли разрушены, говорить не будет, будет мычать, пускать пузыри. Позвоночник сломан, ходить не будет, только под себя. Зато остальные органы в порядке, лет двадцать еще проживет». Муж начинает сползать со стула, и тут доктор ободряюще треплет его по плечу: «Да пошутил, умерла, умерла».

А что, если бы Ирка ожила и сделалась трезвой и деловой бизнесвумен?.. Что тогда?

Лучше уж положусь на Орфея, он издеваться не будет.

— ...Распорядился снести, — вновь услышал я голос Идриса. — Зачем такое — народ ходит, чудеса происходят, приказал: снести. Прислали бульдозер. И только бульдозерист взялся за рычаг, его самого разбил паралич. Так и умер.

— Что ж он не попросил, чтоб святой исцелил?

— Наверно, не догадался. А святой всегда учил: надо прощать. Он был ужасно мудрый. Его один раз спросили: что такое воровство? Он сказал: если берешь и оглядываешься, значит, воровство.

В его голосе звучала такая уверенность в своей правоте, что, подогреваемый затлевшей тюбетейкой, я решился проверить давно блуждающий слух, что у немусульман красть-де разрешается.

— Какой ишак такое сказал?! Устаз говорил: украдешь у мусульманина, он тебя еще может простить на тот свет. А немусульманин уже никогда не простит. Хотя хороший человек и немусульманин может попасть в рай, — поспешил успокоить он меня.

— А как же мы у пацана забрали тюбетейку?.. И даже не оглянулись.

— Так это мой племянник! Нет, у чужой нельзя. А вы хотите посмотреть фотография Устаза? Мухарбек дал ученым денги, они собрали целая книга святых шейх.

Книга оказалась не толстая, но роскошная, с золотыми тисненными узорами. Зато фотографии были подлинные, черно-белые, не огламуренные даже слишком шикарной глянцевой бумагой. А уж лиц такого благородства и достоинства у нас и отыскать невозможно — у нас просто-таки нет миссии, в которой бы человек мог ощутить такую свою высоту.

Нельзя просто *возвыситься духом* — нужно, чтоб было куда возвышаться. А если возвышаться некуда, если ты сам мера всех вещей — тогда и пеняй на себя, что остался карликом.

После этого я тоже поднялся на второй этаж и собрал все, что писали о Кавказе наши классики от звонкого Марлинского до богоравного Толстого, — и уже к полуночи держал в руках изумившее меня открытие: у кавказцев, как мы их изображали, отсутствовала метафизика.

Если выражаться по-умному. А если по-человечески, горцы были гордые, меткие, бесстрашные, но они никогда не размышляли ни о чем высоком. Даже Толстой расщедрился на одни только детские воспоминания. Этот богоиска-

тель и богоборец, духовные искания русских героев изливавший десятками страниц, прорезая прозу неразбавленными дозами Евангелия, на Кавказе не расслышал и слабого эха Корана.

Можно людей, оказывается, воспевать и так — как тигров, как ланей, как татарник, — не слыша главного — мечты о чем-то неземном, без которой человек невозможен.

На следующее утро стыд за нашу глухоту мешал мне смотреть в глаза не заботливым — нежным хозяевам. И незримо присутствующий всюду Мухарбек немедленно это почувствовал. В мой еврономер, откуда я старался не казаться носа, почтительно постучался Идрис и осторожно спросил, не хочу ли я отдохнуть в «Горный ключ». При советской власти паритийные начальники отдыхали, а теперь Мухарбек кого хочет посылает бесплатно.

Мучительно ощущая, сколь далеко моим благодарностям до горского чистосердечия (одно утешение — они служат Орфею, а уж он-то заслужил!), я поспешил согласиться.

До «Горного Ключа» мы успели промчатся через несколько миров. То нас выносило на обледенелую дорогу, слева от которой бешено мчалась обмороженная трава с забившимся кристаллическим снегом, а справа, будто с самолета, открывалась меж невесомыми облаками изумрудная долина, прорезанная поблескивающими паутинками речек; то мы неслись не ущельями — щелями, стены которых уходили неизвестно в какую высь, заходя друг за друга, нависая над нами то одной, то другой стороной, — каменная халва сменялась круто замешанным каменным тестом, распахиваясь в осыпи, над которыми чудом удерживались прозрачные рыбы хребтики еще не одевшихся листвою деревьев. А бешеная речка, взбитая, словно безе, сумевши отыскать защищенную заводь, отпечатывалась в памяти неземной прозрачностью и покоем...

«Горный ключ» встретил нас гвардейским строем торжественных кремлевских елей, за сетчатой оградой сменившихся тонкими, солнечными даже в подступающем сумраке совершенно летними соснами.

— За территория лучше не надо ходить, — извиняющимся тоном попросил меня Идрис, как будто чувствуя себя лично за это ответственным. — Правда, если что, всегда надо сказать: я гость Мухарбека, не надо всякие неприятности искать, можно так и здоровье потерять... Но бывают такие ишаки — никого не уважают, туда-сюда...

Ему было совестно, что среди его соплеменников встречаются подобные уроды.

— Конечно-конечно, везде бывают дураки, — поспешил утешить его я, про себя-то думая, что Орфей не даст меня в обиду.

Но может быть, его власть на ишаков не распространяется?

Партийные начальники были по-ленински скромны: полированная мебель и сама-то по себе сегодня смотрелась довольно убого, а уж в возрастных язвах, обнажающих ее опилочную природу... Но зато в окне!..

На первый взгляд казалось, что это наш простой среднерусский холм, приходящий в себя после жестокостей зимы, покрываясь по черно-рыжему легким зеленым напылением. И только когда взгляд замечал ближе к макушке четырехгранную каменную башню величиной с мизинец, до тебя доходила

огромность этого склона. А когда я вышел на противоположную веранду, я обмер, чтобы так больше и не ожить.

Это были сияющие изломы вечных снегов. Громадность, изящество, тяжесть, легкость, неземная чистота снега, подкрашенная еще более неземной чистотой заката, — что тут могут слова! Сразу после завтрака (здесь кормили тоже в стиле партийного ретро — без выкрутасов, но и без надругательства, здесь сохранился даже полузабытый компот из сухофруктов) я сел на венский стул, чью неудобную сквозную спинку переставал ощущать уже через мгновение, и исчезал, оставались только они, горы.

Но во мне, даже исчезнувшем, немедленно прорастали два разных слуха — первый слышал все, что стоит слышать, а второй — только то, что было обращено ко мне. Первый слышал даже грозное шуршание снежных лавин, для второго и тектонические катаклизмы, громоздившие эти хребты, совершались в абсолютном безмолвии, — зато первый был глух для вульгарного тарактеня поселкового мопеда, в котором второй отчетливо разбирал мечту о гордом верном скакуне. Но они оба, слух здешний и слух нездешний, подобно верному скакуну, вскидывающемуся на посвист хозяина, разом подбрасывали меня с венского стула при первых же звуках необъезженной музыки, которую в пору моего детства именовали то кабардинкой, то лезгинкой.

Я так и не понял, что здесь делали эти школьники и школьницы, но когда гордый горский танец захватывает не сценических красавцев и красавиц в роскошных одеяниях, а обычных девчонок в платьицах и туфельках и обычных мальчишек в джинсиках и кроссовках — только тут-то и раскрывается его собственная красота: в танце открывалось столько восхитительных мелочей, которых никогда не разглядишь на сверкающей эстраде. Вот какими они приоткрываются в собственной мечте: мужчина — огонь, напор, полет, женщина — царственность, невесомое скольжение и ускользание, — и его огненный вихрь каждый раз разбивается о ее нездешнюю кротость...

Я готов был забываться перед этими танцами так же бесконечно, как перед горами. Не уставая дивиться, что, покинутые духом танца, огонь и царственность немедленно обращаются в обычных мальчишек и девчонок. Хотя и не совсем обычных. Поднимаешься по лестнице и слышишь, как мальчишки гурьбой с воплями катятся сверху, — заранее хочется прижаться к стене, чтобы не сшибли. Но в последний миг они видят взрослого и даже, по их меркам, может быть, и пожилого человека, и — мгновенно рассыпаются, осторожно проходят мимо, почтительно здороваясь.

Девочки, конечно, по лестнице не носятся, но если столкнешься с ними в дверях — даже с большими, почти девушками, — никакими любезными ужимками не заставишь их пройти первыми: старшего надо пропускать, и никаких галантных гвоздей.

Мы все стараемся их развить до нашей высокой цивилизации, а сам-то я где бы предпочел жить — в мире, где у каждого по три мобильных телефона, или в мире, где уважают старших? В мире, где моя жена ходила бы в платке, или в мире, где она валяется у сортира с задранной подолом?

Моему обращению в ислам, кажется, воспрепятствовал только Идрис. Он явился утром столь ранним, что наверняка выехал глубокой ночью, и поинтересовался, как мне здесь нравится, без обычной сердечности.

Возле Мухарбека кто-то... Как это называется, когда слушает и про все докладывает? Да, вспомнил: стучит. Кто-то настучал, и жена моего друга куда-то ушла, спряталась. Мухарбек еще будет ее искать, но мне надо уехать. Прямо сейчас. У меня ведь мало вещей — надо сейчас же все собрать и уезжать, если что, он поможет. А то эти ваххабисты могут подумать, что я хочу чего-то разузнать про их базу, а им, если вобьют в голову, ничего не докажешь.

И прощаться тоже не надо, выходим через задний дверь.

Я решил не испытывать пределы влияния моего покровителя и последовал совету Идриса. Хотя и тревоги особой не испытал.

Так я снова оказался в сверкающем аэропорту, тут же переставши понимать, выезжал я отсюда или мне все это только привиделось.

Мы снова стояли за тем же самым столиком, ожидая объявления. Билетов до Петербурга не было, но для гостя Мухарбека местечко, разумеется, нашлось.

— Идрис, простите, вы не забыли передать тубетейку вашему племяннику? Чтоб у него не осталось обиды против меня.

— Нет-нет, он спасибо просил передать.

И тут раздались выстрелы. Два подряд. Они были не столько громкие, сколько пугающе бесцеремонные. Все замерли, и тут же многие, подхватив детей и вещи, ломанулись к выходу. А я во главе немногих неверной рысью устремился туда, где только что раздавалась стрельба, не слушая Идриса, умолявшего: не надо туда ходить, что я скажу Мухарбеку?..

Два охранника в черном что-то делали с распростертой на полу женской фигурой, укутанной во что-то еще более черное, крошечное, как ненастная ночь в погребе. Видны мне были только полуприкрытые глаза, но я и так знал, что это моя искательница подлинности в мире подделок.

И пуля оказалась неподдельной.

А прежде чем нас оттеснила милиция, мой обострившийся слух разобрал:

— Что за херня — пластилина нет!..

— Как нет, она ж провода при мне соединяла, я еле среагировал!..

— Провода есть, а пластилина нет.

— Вообще нет, ни одного сникерса?

Я сразу понял, что речь идет о взрывчатке.

\* \* \*

Мне казалось, я был готов к такому финалу, и все-таки пальцы не сразу попадали на нужные кнопки, когда я звонил Беллиной сестре прямо из аэропорта, представившись сотрудником эфэсбэ и, чтобы не сорвался голос, изображая удвоенный служебный напор. Она была потрясена, но не удивлена. Выразив беглое официальное сочувствие, я спросил, не знает ли она, кто такой Андрей.

— Ваша сестра звала его перед смертью. Может быть, это ее соучастник? Мы должны его допросить. Вы знаете, о ком идет речь?

— Н-не знаю...

— «Нне знаете» или не знаете? Если скрываете, вы тоже становитесь соучастником.

— Так звали ее мужа, он теперь где-то на Охотском море. Он сам ее потерял. Он мне иногда звонит, спрашивает...

— Вот так-то лучше. У вас есть его телефон?

— Нет, он сам мне звонит. Там мобильный не берет.

— Когда позвонит, скажите, что мы его разыскиваем. Как его отчество, фамилия?

— Я даже не знаю — Андрей и Андрей, мы почти не общались.

— Муж сестры, и вы с ним не общались?

— Если бы вы знали мою сестру... Я и с ней почти не общалась.

— Так вы поняли? Когда он вам позвонит, непременно передайте ему, что случилось, и скажите, что мы хотим его видеть, он может обратиться в местное отделение эфэсбэ. Иначе вы подпадаете под статью о неоказании помощи следствию.

— Я *обязательно* передам.

Кажется, я немножко отвлек ее от потери сестры и мог уже не сомневаться, что она все ему передаст.

Проваленная операция была успешно завершена.

\* \* \*

Или я сотворил еще одну глупость? Так у несчастного Андрея оставалась хотя бы надежда, а теперь... Я плохо соображал. И, не отходя от автомата, набрал доктора Бутченко. На этот раз я действительно был готов к худшему.

Однако голос доктора вибрировал оптимизмом и нескрываемой гордостью. Лейкоциты изумительные, нейтрофилы просто зашибись — хочешь сегментоядерные, хочешь палочкоядерные, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, соз — те вообще хоть на выставку. Но после выписки все-таки не помешает сирин в таблетках недели три-четыре.

— Как, речь идет уже о выписке? — безнадежно переспросил я: мне было ясно, что Орфей еще не знает о моем провале.

— Да, можете ее забирать хоть завтра.

— И она что, в сознании, разговаривает?..

— Разговаривает как мы с вами, все помнит. Смотрит телевизор, читает газеты. Про вас постоянно спрашивает.

— Неверо... Так что же, все-таки чудо?..

— В медицине чудес не бывает. А бывает правильно и своевременно оказанная терапия.

Что еще выдумали — чудо!.. А инфузионная терапия? А комплекс аминокислот? А введение глюкокортикоидов? А глутаргиновая гепатопротекция? А коррекция электролитного баланса аспаркамом? А витаминотерапия? А сирин в качестве гепатонепроцеребропротекторного средства?

— В общем, можете ее забирать.

\* \* \*

В нашем опустевшем доме холодильник урчал, как разнежившийся кот. Он тоже верил, что она скоро вернется. Но я-то брел за смертным приговором на улицу Федякина, едва передвигая ноги, так что меня было легко принять за одного из обитателей тамошнего бомжатника. Единственное, что помогало

мне отвлекся от безнадежности подступающей минуты, это затверживание где-то по дороге занозившего память объявления: «Требуются продавцы кваса с российским гражданством». Я никак не мог понять, какое гражданство может быть у кваса, и откликнулся моим бесчувственным поискам лишь квасной патриотизм.

Музей блокады пребывал в целости и сохранности, затуманенный водной пылью, казалось, просто висевшей в воздухе, никуда не двигаясь. Но все-таки почерневшие дома были заплаканы от крыш до фундаментов, а бомжатник в строительном неводе напоминал затонувший дредноут, обросший ржавыми водорослями, — бродившие вокруг по просевшим сугробам водолазы на этот раз были вполне у места.

Морячка Алевтинка встретила меня как родного и, подметая нищенский, но довольно чистый линолеум своими матросскими клешами, сразу же повела пустым вагонным коридором к наверняка уже отвернувшемуся от меня покровителю.

Все в той же застиранной майке Орфей сидел у того же окна, недвижно глядя на черный лед за невымытыми стеклами, и его густые золотые волосы с едва заметной примесью тончайшего серебра все той же пышной волной ниспадали к церковным маковкам неумелой размытой татуировки.

— К вам, — с фамильярной почтительностью обратилась к его сильной подзаплывшей спине Алевтинка громким голосом прислуги-фаворитки.

— Я знаю, — не оборачиваясь ответил он, и она ускользнула царственной походкой танцующей горянки — и татуировка немедленно исчезла.

— Я провалил ваше задание, — произнес я голосом просевшим и тусклым, как заплаканные блокадные сугробы.

— Нет, ты все сделал как нельзя лучше, — не оборачиваясь ответил Орфей своим полнотонным голосом. — Теперь она уже не будет мешать ему боготворить ее образ. Ведь мы все любим не человека, а свою мечту, которую стараемся им накормить. Но наши любимцы редко годятся ей в пищу. Однако твой подопечный из тех счастливых, кто способен насытить свою мечту собственным воображением, от их любимых требуется одно — не мешать. И теперь она ему больше мешать не станет. Он до конца своих дней будет носить ее фотографию у сердца, а к другим женщинам, которые его полюбят — а их окажется еще много, — он иногда будет лишь ненадолго снисходить, а со временем и сам становится лучшим, поэтичным воспоминанием их жизни. Словом, можешь отправляться за своей Эвридикой в дом скорби.

Синие церковные маковки вновь возникли на прежнем месте, и я понял, что аудиенция окончена.

Он так ни разу и не оглянулся.

Я бы даже почувствовал сострадание к нему, если бы он не казался мне таким несокрушимым.

И не казался таким сокрушимым я сам. Я должен был воспарить, но почему-то чувствовал себя растерянным.

— Да, — уже за дверью спохватился я, вспомнив своего ночного попутчика, — а что с тем... ну, помните, мы его с вами с улицы тащили?

— Да что ж я их запоминаю, что ли! У них жизнь как у тех матросов — нынче

здесь, а завтра... — Алевтинка сделала движение показать пальцем в небо, но вовремя спохватилась и ткнула им в сизый линолеум: — Там.

\* \* \*

Мне казалось, улица Федякина и без того местечко мрачнее некуда, но оказалось, покуда Орфей окончательно от меня не отвернулся, я еще не знал, что такое настоящий мрак. Орфей как будто вернул мне Ирку, но погасил свет. Ну что бы ему стоило улыбнуться, пожать руку, пожелать счастья... А то не по-людски как-то: заработал — получи. И гуляй. Я-то думал, мы друзья, а с нездешним миром, оказывается, не подружишься.

Мне даже его слова на этот раз не показались такими уж проникновенными. Потому что он меня не слушал, а очаровывать может только тот, кто сам умеет слушать. Нет, наверно, все это было мудро, но чего стоит мудрость без света!

А главное — это было не просто удивительно, но даже страшновато: мысль о том, что я скоро вновь обрету мою Ирку, света почему-то тоже не зажгла...

\* \* \*

Дворничиха Танька за последние месяцы спилась окончательно и лишь изредка, опухшая и страшная, в раскорячку появлялась во дворе, опираясь на две лыжные палки. Зато новый почтительный дворник-таджик уже отскоблил обледенелую плитку до почти такой же чистоты, как путь к могиле Устаза. На этой выскобленной арене меня и встретил богемаствующий сосед по площадке.

Немолодой, примерно мой ровесник, он ходил с жидковатым полуседым хвостом на затылке и всегда здоровался со мною холодно, чтобы я не вообразил о себе лишнего, а может, и вообще презирал буржуазию. Зато жена у него была очень приветливая и разговорчивая, по виду черноглазая хохлушка без высшего. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что она виолончелистка из Малой филармонии, а он их — теперь завхозы называются менеджерами. Мне это открылось, когда черноокая соседка перед полночью позвонила к нам в дверь одолжить триста евро: в Ганновере им все вернут, но нужно что-то там срочно... Я не дослушал, чем, видимо, особенно ее купил: вернув деньги, хипповатый менеджер начал обращаться со мною как со старым приятелем. А сейчас заговорил прямо-таки по-родственному, на «ты»:

— Что же ты нашу Ирочку не бережешь? Давно хотел тебе сказать: после Нового года возвращаюсь с концерта, а она лежит на лестнице. Я думал, с сердцем плохо, но нагнулся — слышу, храпит. Я хотел поднять, а у нее ручек ведь нету, я привык все носить с ручками. Знаешь такой мультик — все пытаются поднять колобок, а у него ручек нету? — Он был уверен, что мне так же приятно его слышать, как ему рассказывать. — Но тут она прочухалась, начала сама подниматься, вместе уже доковыляли. Ее же лечить надо, нельзя так легкомысленно.

— Алкоголизм не лечится, — прятать свой позор для меня еще унизительнее, чем признаваться в нем; если бы можно было, я бы объявил по радио, чтобы только избавиться от намеков и прощупывающих вопросов.

— У меня есть знакомый — много лет пил, а потом завязал. Так он в бывшем ДК ЖЭКа собирает алкоголиков и алкоголичек и травит им байки, он слова не

может сказать без анекдота. А они сидят вокруг него, как куры. Может, ей к нему пойти?

— Нет, она в курятник не пойдет.

Я попытался произнести это с достоинством, и до самого доньшка почувствовал, насколько достоинство неуместно в моем положении. Оно и не произвело ни малейшего впечатления.

— Я могу телефон дать. Смотри, если что, обращайся.

То-то он и перешел со мной на «ты». Я больше не имею права на уважение.

Холодильник урчал зловеще, словно о чем-то предупреждая, и я невольно втягивал голову в плечи.

Поскольку я отвозил ее в больницу в халате и ночной рубашке, уже дома приведенными в негодность, мне приходилось собирать ее вещи, начиная с нижнего белья. И трусики-лифчики ее я впервые в жизни брал в руки без растроганности, хотя даже после самых отвратительных ее запоев мне всегда достаточно было увидеть их на сушилке, чтобы грудь мою залило жаром нежности. Но сейчас мне и в них чудилось что-то зловещее.

Когда Орфей назвал больницу домом скорби, у меня мелькнула мысль, что для меня он теперь окажется домом радости, но когда такси взлетело на пандус, сердце замерло от тяжелого предчувствия. И не в том было дело, что идти пришлось мимо хирургического отделения, мимо ожогового отделения, мимо инфекционного отделения, я и без них знал, что наш мир — юдоль страданий. Но — страданий с просветами, а я, даже надевая по торжественному случаю пальто вместо куртки, не мог освободиться от чувства, что ввязываюсь во что-то беспросветное.

Только Бутченко меня как-то взбодрил: он был прямо-таки счастлив, что вернул живую душу в эту юдоль, — гуцульские усы безостановочно приподнимались радостной улыбкой, которую он тщетно пытался погасить начальственной серьезностью, аршинные плечи под белым халатом сами собой расправлялись как на параде. Он был действительно очень славный мужик. Нарушая инструкцию, он даже оставил меня одного дожидаться в своем кабинете с компьютером и множеством папок, хранивших врачебные тайны.

Я посидел-посидел, посмотрел на папки, тщетно пытаюсь понять, что написано на их корешках, однако оказалось, что читать я разучился: буквы знал, а слов не понимал.

Тогда я принялся пялиться в огромное окно, но тоже ничего понять был не в силах. Предметы я видел и даже, если бы кто-то потребовал, пожалуй, сумел бы назвать их по имени, — это грузовик, это асфальт, это слежавшийся снег, — но что они означают, я решительно не понимал.

Потом в какой-то момент я удивился, что Бутченко отсутствует так долго, хотя и не представлял, сколько прошло времени — десять минут или два часа. Вернул меня на временную ось только таксист, предусмотрительно спросивший номер моего мобильного. Он интересовался, поедем ли мы сегодня вообще и знаю ли я, что за простой положено платить отдельно. Я пообещал расплатиться аккуратно и щедро.

И только тогда до меня наконец дошло, как я был счастлив, борясь за Иркину жизнь... И какое это было бы счастье — бороться и бороться без конца!

Чтобы она не мешала ее любить.

А что, если бы сейчас вошел Бутченко и, рассмеявшись, потрепал меня по плечу: «Да пошутил, умерла, умерла!»

Я ужаснулся этой подлой мыслишке.

Что уж я так вовлекся в эту борьбу за ее жизнь, почему бы и не вернуться нашему прежнему мирному счастью? После этого страшного урока Ирка, разумеется, бросит пить, и...

И что я ей предложу? Себя? Да такая ли уж я большая ценность, чтобы посвятить мне остаток дней? Ведь жизнь сама по себе и не может иметь смысла — смыслом, все оправдывающей целью может быть только какое-то дело. И какое же дело я ей предложу — я, который сам его не имею? На невозможное она замахиваться не станет, а возможного для нее не осталось.

К счастью, нарастающую безнадежность отбросила распахнувшаяся дверь, и на пороге возникла ИРКА!

На этот раз она была уж бледненькая так бледненькая, на голове во все стороны топорщился полуседой приютский ежик, щеки, подглазья темнели впадинами, приспадающие джинсики она по-арестантски поддерживала обеими руками, но это несомненно была она — именно ее единственный в мире голос робко спросил меня:

— Страшная я, да?

Кажется, она не забыла, как мы расстались, и я первым шагнул ей навстречу. Мы обнялись и надолго замерли под умильно-хозяйским взглядом Бутченко.

За всю дорогу мы не произнесли ни слова, держась за руки, как влюбленные подростки. Я и правда боялся ее выпустить хоть на миг.

Мы разъединили руки только перед распухшей Танькиной образиной.

— Ируся, — прохрипела она, — ну, поддержи!..

— Мы только что из больницы, — с ненавистью ответил я и не отпихнул ее, боюсь, лишь потому, что побрезговал до нее дотронуться.

Однако отравить нам встречу она все-таки сумела. Едва раздевшись, Ирка слабым голосом принялась сетовать, что вышло нехорошо, что надо бы дать ей хоть рублей пятьдесят...

— Но она же их пропьет! Твоя Татьяна Руслановна.

— Пускай пропьет. Хоть напоследок порадуется.

Я уже напрягся, женская это логика или алкоголическая. Но не выпустить ее я не мог, нахлынувшая безнадежность лишила меня голоса. Единственное, на что у меня хватило сил, — отправиться на розыски не через пять, а через пятнадцать минут.

Мой хвостатый доброжелатель еще на лестнице с насмешливым сочувствием подсказал мне, что «Ирочка» с Танькой удалились в подвал:

— У них там целый клуб.

Мой хиленький фонарик мне не понадобился — под пыльным кишечником труб камуфляжные вакханки сидели на прокисших овчинах при каком-то блиндажном каганце. Заплывшими физиономиями они напоминали неведомое племя, открытое в дебрях Амазонки отважной путешественницей, — Ирка с квадратной бутылкой виски смотрелась такой путешественницей, приобщающей ди-

карей к благам цивилизации. Увидев меня, она вскинула бутылку с возгласом: «Йо-хо-хо и бутылка рому!»

Мужчина, мужчина, садитесь с нами, закряхтели менады, и две ближайšie уже начали тянуть меня за полы вниз. «Пойдем домой», — просипел я сквозь зубы, потеряв голос от бессильной ненависти, и вырвал полы своего пальто из этих мерзких клешней. «Девоньки, да на что он вам, — эхом отозвался еще более сиплый голос, и из темноты выступила Танька, — мы ж для него хуже дерьма». Она подняла лыжную палку, и я понял, что она собирается делать, только когда она с размаху всадила ее мне в горло. Я не столько ощутил боль, сколько услышал мерзкий хруст, и упал на колени как будто больше оттого, что когда в тебя вонзают клинок, полагается падать. Второй удар опрокинул меня навзничь, и я еще успел почувствовать боль в выворачиваемых коленях.

А потом я уже ничего не чувствовал, только слышал, как страшно кричала Ирка, когда ее подружки стеклами от разбитой бутылки с хрустом отпиливали мне голову. И еще видел уже с высоты вороньего полета, как они расплывающейся процессией отволокли мою голову к Фонтанке и плюхнули ее в воду. И моя голова медленно поплыла к заливу, распевая во все перерезанное горло: «Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход...»

И я снова очнулся в кабинете доктора Бутченко.

Господи, зачем я ее воскресил?! Ведь было так хорошо, пока она спала в стеклянном гробу!..

Дверь приотворилась, я обреченно поднялся.

Однако никто не входил. Я подошел и выглянул в коридор.

Как будто не смея войти, за дверью высился Бутченко, весь в каплях, а возле растрепанных усов даже в струйках пота, но при этом белый, как его халат. Мраморно голубел вислый гуцульский нос.

Непонятно, что случилось, совершенно непохоже на себя забормотал Бутченко, систолическое, диастолическое, паренхима, билирубин, лимфоциты, тромбоциты, дуоревверсивный диализ...

— Скажите одно — она жива?!

— Мы ее потеряли. Не удалось вывести из комы. Она уже переодевалась, и тут внезапная гипогликемическая кома...

— Но ведь я не хотел! — в отчаянии завопил я. — Я же только на секунду струсил!!! Орфей, ну сделай же что-нибудь, я больше не буду, я исправлюсь!!!

Но Орфей молчал, говорил только Бутченко. На мою голову опять хлынули дефибрилляция, коагуляция, интраспектрация, и, к своему изумлению, я почувствовал, как под этим тоскливым ливнем в моей душе вместе с ужасом и отчаянием вновь воскресает та моя Ирка, которая, покуда я жив, теперь уже навсегда останется во мне.

Та Ирка, моей любви к которой теперь уже ничто не угрожает.

*Александр Кабанов*

## Под небом из бесплатного вайфая

### *Достоевский*

Сквозь горящую рощу дождя, весь в березовых щепках воды —  
я свернул на Сенную и спрятал топор под ветровкой,  
память-память моя, заплетенная в две бороды,  
легкомысленной пахла зубровкой.

И когда в сорок пять еще можно принять пятьдесят,  
созерцая патруль, обходящий торговые точки, —  
где колбасные звери, как будто гирлянды висят  
в натуральной своей оболочке.

А проклянется снег, что он скажет об этой земле —  
по размеру следов, по окуркам в вишневой помаде,  
эй, Раскольников-джан, поскорей запрягай шевроле,  
видишь родину сзади?

Чей спасительный свет, не желая ни боли, ни зла,  
хирургической нитью торчит из вселенского мрака,  
и старуха-процентщица тоже когда-то была  
аспиранткой филфака.

\* \* \*

Чтоб не свернулся в трубочку прибор —  
его прижали по краям холмами,  
и доски для виндсерфинга несут  
перед собой, как древние скрижали.

Отряхивая водорослей прах,  
не объясняй лингвистке из Можайска:  
о чем щебечет Боженька в кустах —  
плодись и размножайся.

Отведай виноградный эликсир,  
который в здешних сумерках бухают,  
и выбирай: «Рамштайн» или Шекспир —  
сегодня отдыхают.

Еще бредет по набережной тролль  
в турецких шортах, с черным ноутбуком,  
уже введен санэпидемконтроль —  
над солнцем и над звуком.

Не потому, что этот мир жесток  
под небом из бесплатного вайфая:  
Господь поет, как птица свой шесток —  
людей не покидая.

\* \* \*

Подскажи мне, зеркало, куда  
спрятать мое тело молодое,  
здесь, на кухне, где сидит алоэ  
на горшочках страшного суда?

Жизнь дерьмиста у таксидермиста,  
милый шурави,  
набиваешь третье — во второе  
и приходит к чучелу героя —  
мумия любви.

\* \* \*

Рука рукколу моет и покупает купаты,  
щупает барышень, барышни — жестковаты,  
перебирает кнопки на кукурузных початках —  
пальцами без отпечатков,  
пальцами в опечатках,  
закрывает черные крышки на унитазах,  
и смывает небо в алмазах, небо в алмазах.  
Раньше — она принимала образ десницы:  
вместо ногтей — глаза и накладные ресницы,  
ночью — рука влетала в форточки к диссидентам,  
склеивала им ноздри «Суперцементом».  
Здравствуй, рука Москвы, туалетное ассорти,  
и запинаясь, звучал Вертинский, звучал Верти...  
Чья же она теперь, в помощь глухонемому,  
кто ей целует пальцы и провожает к дому,  
другом индейцев была, верной рукою-кою  
выхватила меня и уложила в кою.  
Кто же ей крестится нынче,  
а после — гоняет шкурку,  
выключив свет, еще листает «Литературку»?

\* \* \*

Гойко Митич, хау тебе, и немножко — лехау,  
таки да, от всех, рожденных в печах Дахау,  
таки да, от всех ковбоев одесских прерий —  
мы еще с тобой повоюем семь сорок серий.

Краснокожий флаг поднимая рукою верной:  
пусть трепещет над синагогой и над таверной,  
да прольется он — над мечетью башибузуков,  
и тебя никогда не сыграет актер Безруков.

Смертью смерть поправ,  
мы входили в юдоль печали:  
был пустынен Львов, это здесь Маниту распяли —  
на ж/д вокзале, а где же еще, на рельсах,  
затерялись твои куплеты в народных пейзах.

Гойко Митич, этот мир обнесен силками:  
я прошел Чечню, я всю жизнь танцевал с волками,  
зарывая айфон войны у жены под юбкой,  
там, где куст терновый и лезвия с мясорубкой.

## Побег в Брюгге

Я назначу высокую цену — ликвидировать небытие,  
и железные когти надену, чтоб взобраться на небо твое,  
покачнется звезда с похмелюги, а вокруг — опустевший кандей:  
мы сбежим на свидание в Брюгге — в город киллеров и лебедей.

Там приезжих не ловят на слове, как форель на мускатный орех,  
помнишь, Колина Фаррелла брови — вот такие там брови у всех,  
и уставший от старости житель, навсегда отошедший от дел, —  
перед сном протирает глушитель и в оптический смотрит прицел:

это в каменных стойлах каналы — маслянистую пленку жуют,  
здесь убийцы-профессионалы не работают — просто живут,  
это плачет над куколкой вуду — безымянный стрелок из Читы,  
жаль, что лебеди гадят повсюду, от избытка своей красоты,

вот — неоновый свет убывает, мы похожи на пару минут:  
говорят, что любовь — убывает, я недавно проверил, не врут,  
а когда мы вернемся из Брюгге, навсегда, в приднепровскую сыть,  
я куплю тебе платье и брюки, будешь платье и брюки носить.

*Николай Веревошкин*

## Землетрясение на кладбище

*Записки велосипедиста*

*Памяти Леонида Арамовича Теракопяна*

Предгорье. На вершине лохматого холма, поросшего шиповником, между стволом дикой яблони Сиверса и еще более дикой урючиной натянут гамак.

В гамаке лежу я.

Егор Продажный.

Вы тоже думаете, что мне нужно сменить фамилию?

Холм. Два дерева. Гамак. Я. Ветер. Сухое шуршание трав.

Ностальгический ветер августа, полный предчувствия увядания. И грустной, грустной предосенней ленью.

Чувствую себя червяком в яблоке, которое вот-вот упадет.

Уютно и тревожно.

Половину тела печет солнце. Вторая — в прохладной тени, как в погребу.

С прародительницы всех яблонь Земли падает крошечный плод, щелкает меня по носу.

Отрываю глаза от перестроечного номера «Нового мира» со статьей Бердяева.

Плод, от которого, возможно, вкусили Ева и Адам, деревянист и горьковат.

Вижу натруженные долгим подъемом ноги со вздувшимися венами, разветвление ствола с темной растрескавшейся корой. К урючине прислонен покрытый пылью и семенами осенних трав горный велосипед.

В том, как он прислонен, есть нечто одушевленное. Спокойная печаль пожилого существа, задумавшегося о вечном.

Далеко внизу под моими ногами через пелену смога смутно проглядывается город. Белые пиксели зданий в блеклой зелени. Марево. Он написан импрессионистом, озабоченным передачей настроения, а не сходства.

Выстиранная печаль осени.

На уровне моих ног, нарушая неподвижность полотна, белыми улитками ползут облака. Маленькие. Упругие.

Мысли Бердяева ясны, чисты и прохладны, как эти задумчивые облака.

Возвращаюсь к статье.

Строки ее напечатаны на облаках.

Предосенние запахи обволакивают паутину гамака.

Я встаю, чтобы поменять точку зрения и отогреть остуженную тенью половину тела.

Теперь я лежу головой к провалу, на дне которого спрятан город, и вижу свои ноги на фоне снежных вершин. Пятка упирается в пик Советов. Горы в цивилизованных обществах не принято переименовывать. У нас это правило соблюдается не всегда.

Суета и вечность.

Я на границе между ними.

Одно из определений Бердяевым человека: точка пересечения двух миров — вечного и временного.

Достаю из рюкзака бинокль.

Горы вырастают взрывоподобно. Делаются громадными. Космически громадными. Соразмерными вечности.

Пугающе величественными.

Торжественно дикими.

Уменьшаюсь до муравья.

Впечатление молодой, незнакомой планеты и полного одиночества.

Великий покой вечности наполняет меня прохладой.

Я думаю о японцах.

Они не читают стихи. Они стихи созерцают.

Возвращаюсь к «Новому миру».

Бердяева нужно читать на высоте облаков, в обществе горного велосипеда, раскачиваясь в гамаке, натянутом между дикоросами — яблоней Сиверса и урючиной, торчащих на рыжем темени холма.

Это чтение, как полет орла, поймавшего восходящий поток над мусорной свалкой.

Дорога домой будет напоминать этот полет без усилий. Единственная разница — я буду не подниматься вверх по спирали, а спускаться вниз, стоя на педалях и клацая вилкой-амортизатором. Мне не надо крутить педали. Я буду лишь притормаживать на особо крутых склонах и виражах.

Предвкушаю.

Долгим подъемом я заслужил это чтение и этот спуск.

(...)

Гнусное это зрелище: улицы, забитые автомобилями. Особенно после безлюдных предгорий.

Автомобили похожи на больших жестяных тараканов. У всех водителей одинаковые лица, истомленные скукой ожидания.

А я ликую при виде километровых пробок. Люблю я это дело — обгонять элегантные, как концертные рояли, с сотнями лошадей, упрятаных под капотом, иномарки. Впрочем, в моей стране не выпускают автомобили. Они все теперь иномарки. Стадо жестяных тараканов едва движется, а ты мимо них со свистом.

Шины на агрессивных протекторах шуршат мощно и ровно.

Грех злорадства — один из самых приятных грехов.

(...)

Тихий оазис в автомобильном аду. Непроезжая улочка. Пять столиков под карагачами. Все свободны, кроме одного.

Совершенно хамская табличка у входа: «Администрация имеет право запретить вход без объяснения причин».

Прислонив велосипед к корявому стволу, я повесил на руль шлем, бросил в него перчатки. Сел за свободный столик. Повесив рюкзак на спинку стула, достал из него «Новый мир» и вытянул ноги.

Какое наслаждение!

Но Бердяев не пошел.

Отвлекала официантка. Упругая попка и тугие груди под натянутой тканью мелко содрогались при каждом шаге. Раскачивалась занавесочка юбки. Каблучки, как две курочки, клюющие зернышки с деревянного настила.

Не задерживайся на деталях, хорошо? Понятно, что у девушки есть также глаза, волосы, ноги. И все об этом знают.

— Кружку пива, — сказал я таким приятным голосом, что сам удивился.

— Разве спортсмены пьют? — спросила она, покачиваясь на носочках и содрогаясь.

— Пьют. Но только в одном случае.

— В каком?

— Когда есть деньги.

— Соленые орешки принести?

— Спасибо — нет. Я не настолько богат.

Сижу. Жду кружку холодного пива «Ирбис».

Наслаждаюсь жаждой в ожидании скорого утоления.

— Не занято?

Дама без комплексов. Без макияжа и прически. В гамашах, маечке и домашних тапочках. Грудь рюкзаком.

Надо было бы мне на свободный стул рюкзак положить.

Она садится, закуривает чахоточную дамскую сигарету, пристально и сурово смотрит на меня.

Как огорченная мать на сына-двоечника.

— Не узнаешь, — вздыхает незнакомка и стряхивает пепел мимо пепельницы.

Напрасно напрягаю я память.

— А вот ты не изменился. Даже эта соплячка с тобой заигрывает.

Это не комплимент. Обвинение.

— На диете сидишь, страдалец?

— Исключая явные случаи каннибализма, никаких ограничений.

— Для своих лет ты выглядишь неплохо, — говорит она печально, — для мужчины это не возраст. Милая, кружку пива. Не слишком холодную, но и не слишком теплую.

Это уже девушке, поставившей передо мной кружку «Ирбиса».

Жажда делает эту кружку прекрасной.

«Милая» дама произнесла столь холодно и надменно, что я на месте девушки обиделся бы. Но официантки такие пустяки не замечают. Надменность дамы разбивается о ее улыбку, полную вежливого презрения.

— Не узнаешь, — снова огорчается дама, — а я тебя сразу узнала. Все такой же тощий и рогатый, как твой велосипед.

— Почему рогатый?

— Потому что женился не на мне, а на Нюрке, Индюк. Как, кстати, она поживает? Растолстела?

Уф, отлегло.

На Анюте женат мой старший брат. Вот уже десять лет они живут в Канаде. Прекрасная страна, но меня огорчает, что он с презрением отзывается о своей бывшей родине. Кстати, мой старший брат взял фамилию жены. Кажется, я догадываюсь, кто подсел за мой столик.

— Милая, сколько мне еще ждать — день, два, месяц? — кричит дама в пространство.

Я двигаю по столу свою кружку, в которой только что осела пена. По пути в кружку падает золотой лист клена, похожий на лебедя с тонкой изящной шеей.

Она, не благодаря, выбрасывает вон лист, делает большой глоток и откидывается на спинку стула.

Даже жертвоприношение не избавляет моего брата от удара ниже пояса.

— В твоём возрасте, — говорит она, — люди стесняются ездить на велосипедах и ходить в обтягивающих трусах. В твоём возрасте люди ездят на «мерседесах».

— Очень жаль, — отвечаю я, забавляясь ее заблуждением, — велосипед — прекрасный городской транспорт. В радиусе двадцати километров использовать автомобиль вообще не имеет смысла. Велосипед — решение многих проблем. Когда-нибудь я напишу о нем повесть.

Она поднимает брови, хмыкает и отпивает пиво.

— А что? Для Экзюпери орудием познания мира был самолет, для меня — велосипед.

— Ну, Экзюпери, — сказала она тоном, после которого я должен был оскорбиться, — и что о нем можно написать? Что может заинтересовать читателя в повести о велосипеде.

— Среди читателей встречаются и велосипедисты.

Она, прищурившись, посмотрела на мой покрытый пылью и царапинами маунтинбайк, отпила маленький глоток и щедро поделилась осенившей ее идеей:

— Железный друг. Сорок лет однополной любви. А ты все так же пишешь «жи-ши» через «ы»?

Официантка поставила перед дамой кружку не холодного, не теплого пива и спросила меня:

— Вам повторить?

— Принесите зеленого чая. И соленые орешки для дамы.

— Какая щедрость! — воскликнула дама, разбавляя холод моей кружки не холодным и не теплым пивом своего заказа. — Так что же интересного можно написать о велосипеде?

— А вот послушайте. «Для него велосипед был не просто средством передвижения, а образом жизни. Характером. Философией. Ведь что такое велосипед? Металлический скелет, абстрактный зародыш первомашины. В нем все на виду. Нет тайны. А есть лишь простота, крайний аскетизм, сочетающийся с совершенством идеи. Единственная машина, кроме ветряков, которая не противоречит природе, вписывается в природу, словно создана ею. Ни у одного механизма нет такой степени свободы. Для велосипеда не нужно топлива, гара-

жа, даже дорог. Пока везет, едешь на нем, кончилась дорога — несешь его на себе, подставив под раму плечо. Эта машина — само равноправие, сама справедливость. На нем невозможно застрять, им невозможно нанести вред. Велосипед как бы вне времени. Над временем. Сбоку от времени. Сквозь его простоту, мелькающие спицы просматривается вечность...»

— Я сейчас расплачусь, — перебила она меня. — Это ты написал?

— Это написал не я. Это написал мой друг Ветошкин. Но из этого семечка вырастет тыква на моем огороде. Как поживает папа?

Она нахмурилась. И долго мы наблюдали полет кленового листа с самой вершины дерева.

— Послушай, ты все равно мотаешься по горам. Не мог бы ты заглянуть в Мокрую Щель?

Мокрая Щель — ущелье, откуда на город постоянно накатывают дождевые тучи. В Мокрой Щели когда-то жил мой кумир — дед Амантай. Он не художник, не писатель. Он просто жил в Мокрой Щели, ни от кого особенно не завися. На ручье из велосипедного колеса и пластмассовой трубы соорудил личную электростанцию. На крыше сарая стоял ветряк-мельница. Из тачки и мотоциклетного мотора дед сконструировал трактор с длинным шлейфом навесных орудий. Этим трактором он пахал, рыл арыки, пропалывал картошку и даже красил забор. По всему участку у него была проложена оросительная система. У него была даже самодельная машина. Конечно, смотреть страшно. Однако же фурыкала, двигалась. На этой машине, кроме деда Амантая, можно было свободно перевезти мешок-другой яблок. Но — самое главное! — у деда была личная горнолыжная трасса. Добраться до его хижинки зимой на машине было невозможно, и катались мы на этой трассе вдвоем. Топтали склон тоже. Дед Амантай был философом. Он говорил: только тот человек может быть счастлив, кто кормит себя своими руками. Он говорил: человек может кормить себя либо своими руками, либо своей шляпой, либо кистенем. Других способов нет. Попрошайки нигде не уважают. В хорошем обществе, говорил дед Амантай, уважают людей, которые добывают своими руками хлеб для себя и других, но мы строим общество людоедов, где уважают просто богатых людей. Дед Амантай считал, что богатство, роскошь — клеймо, избличающее мошенников и людоедов. «Да вы, агай, коммунист», — говорил я, на что он отвечал: «Я не люблю людоедов, а как ты меня за это назовешь — коммунистом, анархистом — твое дело». Я называл деда Амантая коммунистом-индивидуалистом с небольшим кулацким уклоном. Я был его связным. Привозил книги из библиотеки. Дед не читал ерунды. Заказывал исключительно техническую литературу. Он часто спорил со своей старухой. Она завидовала женщинам, мужья которых настоящие, то есть богатые, люди. «Будь я богатым — от стыда бы сгорел, — отвечал дед, — все богатые или воры, или попрошайки. В лучшем случае — людоеды. Я не хочу быть богатым человеком, я хочу быть честным человеком». Дед добился своей цели — умер честным человеком. Давно я не был в Мокрой Щели. Пять лет прошло с тех пор, как не стало деда Амантая.

— В следующую субботу, — говорю женщине, которая, кажется, до сих пор любит моего иностранного брата, — как раз собирался в Мокрую Щель.

— Вот и хорошо. Передашь письмо Халабуде. Ты знаешь Халабуду? Как это ты не знаешь Халабуду? Старый чудак. Живет отшельником в «Стрижах». Передашь?

— Это придаст моей поездке смысл.

— Послушай, Индюк, а почему ты сделал вид, будто не узнал меня? — спросила она, словно знала ответ.

Но я ее разочаровал:

— Потому что я не Индюк. Я Утконос, младший брат Индюка.

Она не смутилась. Обрадовалась.

— То-то я думаю, что случилось с Индюком? Вроде Индюк, а ведет себя по-человечески. Так вы, э...

— Егор.

— Так вы, Игорь, заедете на неделе за письмом?

— Не Игорь — Егор, — настаиваю я.

— Егор так Егор. Хотя какая разница. Можно я вас буду звать Игорем?

— Лучше Утконосом.

— Утконосом пусть вас зовет жена.

— Я не женат, к счастью.

— Почему?

— Какая девушка согласится стать Продажной. Вы бы согласились?

— Так вот почему вы не меняете фамилию.

— Фамилию я не меняю из принципа. Среди моих предков, несомненно, жил предатель, но это не причина предавать предков. Это мой крест и оберег. Кто-то ведь должен отвечать за грехи прошлого.

Она попросила официантку принести авторучку и, написав на салфетке адрес, сказала:

— Егор Продажный. Неплохо для писателя. И псевдонима не надо придумывать. Захватите что-нибудь из своего.

— Лет через десять, — отвечаю. — Пока я ничего не написал.

Вы тоже подумали, что я чокнутый?

Она точно подумала.

(...)

Так я стал ангелом. Вестником.

Чтобы понять эту историю, нужно постоянно слышать упругий шорох велосипедных шин, переходящий в утробный гул, и тяжелое дыхание велосипедиста. Рваный ритм подъемов и спусков. И читать эту историю нужно со скоростью велосипедиста — не быстро и не медленно.

Лично меня устраивает именно эта скорость.

Пешком — слишком медленно и утомительно. Идешь, идешь, а забор все не кончается.

На машине — слишком быстро. Пейзаж размывается в пестрый фон. Глазу не за что уцепиться.

Велосипед — в самый раз. Успеваешь все разглядеть и не заскучать.

Вечером в пятницу я поехал за письмом.

В центре двора, окруженного десятиэтажными домами, как старинный кованный сундучок на дне колодца, стоял особняк из розового ракушечника. Над ним громадным зонтом возвышался старый дуб. Если верить табличке, самый старый в городе. Дома защищали особняк от шума улиц. Дуб — от солнца. Солнечный свет до него добирался только к полудню. Сквозняки проникали с востока в щель между домами и приносили запахи горной речки Малая Веснов-

ка. Они проникали в форточку вместе с лепетом листвы, криками детей, тревожным поскрипыванием и цоканьем черных дроздов.

В особняке доживал свой век некогда до того знаменитый писатель, что назови я его просто талантливым, он бы непременно оскорбился.

Он и сегодня известен.

Правда, не столь широко. Слава его похожа на пыльные бархатные шторы, давным-давно вышедшие из моды.

Писатель давно не издавал книг.

Но из уважения к его званиям и прошлым заслугам особняк не тронули, когда сносили массив частных домов, освобождая место под городскую застройку. О чем-то это говорит. То ли дубу повезло с соседом-писателем, то ли хозяину дома повезло с дубом. Кто кому покровительствовал — вопрос темный.

Я приковал велосипед к перилам крыльца и позвонил в дверь.

Знакомая старшего брата поразила меня своим перевоплощением.

Вместо женщины без комплексов, холодно сверкая очками, передо мной стояла чопорная дама начала двадцатого столетия. Очки с цепочкой, напоминали пенсне. Темное глухое платье без декольте и прочих затей. Прямой стан, высокая грудь, гордо поднятая голова.

Актриса Ермолова в расцвете таланта.

Я отказался от чая, и она провела меня в кабинет писателя Чалдона-Заилийского.

Седой старик очень невысокого роста, почти лилипут, сидел за массивным, как пьедестал, антикварным столом. Я бы даже сравнил его с триумфальной аркой. Над ним громадным крабом свисал с потолка ионизатор воздуха — люстра Чижевского.

Все в кабинете, кроме этой авангардистской люстры, было древним, уютно потертым и слегка потраченным молью.

Стены состояли из книжных полок, сколоченных из прочных, в три пальца толщиной, досок. Из потрепанных изрядно книг торчали разновеликие разноцветные закладки. Деревянная стремянка уткнулась печальной жирафой в угол. Три пары разновеликих гантелей, возглавляемых чугунной гирей, стояли под окном, в которое задумчиво глядело кресло-качалка. Кабинет был уютен. Во всем царил ритуал.

Старик сидел на деревянном кресле, похожим на трон. Очень потертом, с очень высокими ножками. К креслу прислонен деревянный бадик с ручкой в виде головы лошади. С засаленной гривой и оскаленными зубами. Если не знать, кому принадлежит эта палочка, можно подумать, что на этой лошадке только что прискакал малыш. Под старика был подложен тюфячок. На таких тюфячках обычно лежат комнатные собачки. Ноги его покоились на чем-то вроде лесенки. На нем был восточный халат. Очень старый, с сильно потертым воротником. На голове — нечто среднее между тибетейкой и профессорской шапочкой музейного возраста.

Но что меня поразило — он был без очков.

Спина ровная, голова поднята, как у примерного первоклассника.

Чалдон-Заилийский писал простым карандашом с резинкой. С такой необыкновенной легкостью и удовольствием, будто карандаш писал самовольно, а Чалдон-Заилийский лишь держался за него.

Рядом со стопкой бумаги на голубой салфетке улыбалась вставная челюсть. Бледно-розовая десна, желтые зубы с коричневой каймой. Во мне этот предмет всегда вызывает содрогание. Здравствуй, будущее, здравствуй. Человек день за днем в течение многих десятилетий поступательно шел к великой цели. А пришел к этому мерзкому протезу. Всех нас ждет эта улыбающаяся вставная челюсть.

Бывшая подруга старшего брата показала мне раскрытые ладони, и мы, почтительно сложив руки, застыли в ожидании.

Но старик строчил без пауз. Он заполнял лист ровными бисерными строчками, экономно и аккуратно.

За окном стучал пластмассовый шарик. Доносились азартные крики детей, играющих в настольный теннис.

Лист кончился.

Писатель поднял руку с карандашом на уровень глаз и, покачивая им, словно собираясь метнуть в бюст Толстого, перечитывал написанное. Рядом с маленьким бронзовым бюстом Льва Николаевича стоял большой деревянный бюст Чалдона-Заилийского.

В простенке висело полотно, на котором маслом в полный рост был написан хозяин дома. На картине Чалдон-Заилийский был в три раза выше, чем в натуре.

Перечитывая только что сочиненный текст, писатель улыбался.

Знакомая старшего брата снова подняла ладони, призывая меня к терпению.

Старик дочитал страницу. Все так же блаженно улыбаясь, перевернул карандаш и аккуратно — букву за буквой, строчку за строчкой — стер все подряд.

Смахнул шарошки с чистого листа на пол.

Вздыхнул.

Перевернул карандаш и снова принялся бисерным почерком заполнять лист.

У него было лицо совершенно счастливого человека. Такое лицо могло быть только у сумасшедшего или у вдохновенного творца.

Пол под креслом усыпан останками стертых слов.

Как бы перхотью.

— Отец! — крикнула знакомая моего старшего брата.

Старик был глуховат.

Она подошла ближе и крикнула в самое ухо:

— Отец! Познакомься! Это начинающий писатель! Егор! Я о нем говорила!

Старик вздрогнул и с негодованием посмотрел на нее, на меня. Улыбнулся и прошепелявил тонким голосом:

— Мои соболезнования.

После чего сделал грустное лицо и торжественно продекламировал:

— Вы обрекаете себя на монашеский подвиг, юноша. Предостерегаю вас.

Вот уже лет двадцать никто меня не называл юношей.

— На опасную стезю вступаете, юноша, душой рискуете. За работу Бога принимаетесь самозвано. В Бога-то веруете? За работу Бога обычно безбожники принимают. Хорошо, если ваш дар не велик. Но, если у вас талант, тогда беда. Лучше на углях спать, лучше в грозу реку переходить. Это дорога в ад.

Должен вам сказать, я не рецензирую рукописи начинающих авторов. Не беру грех на душу. Не в моих правилах подталкивать невинные души к пропасти.

— Я не писатель. Я велосипедист, — успокоил я Чалдона-Заилийского.

А знакомая старшего брата закричала:

— Отец! Егор отвезет письмо! Халабуде!

Старик встрепенулся. Лицо его стало желчным, язвительным. В предвкушении потер он ладонь о ладонь и с интонациями зловещей угрозы произнес:

— Десять минут. Дайте мне десять минут.

От него, от стопки бумаги вдохновенно, уютно и мстительно пахло нафталином.

Дочь отняла у него карандаш и воткнула острием вверх в обрезанную наискось гильзу снаряда, из отверстия которой топорщились ежовыми иглами такие же остро заточенные карандаши. Она сняла колпачок с «вечного пера». Перо было действительно вечным. Золотым. Расписав, она вставила его между пальцев Чалдона-Заилийского.

— Десять минут, — повторил патриарх литературы и мстительно поджал тонкие губы.

— Идемте, Егор, я все-таки напою вас чаем, — сказала одноклассница старшего брата.

— О чем он пишет? — спросил я ее, когда мы прошли на кухню.

— О чем может писать человек его лет, — ответила женщина сухо, — о суете и тщете жизни, о несбывшихся надеждах, о необратимости времени, о маленьких ошибках юности, маленьких камешках, причинах больших обвалов.

Наверное, подумал я, об этих печальных вещах хорошо думается под крики детей, играющих в настольный теннис. Хотя вряд ли он слышит их. Старик глуховат. Честно сказать, я позавидовал восьмидесятилетнему ребенку, который каждый день, как школьник за домашнее задание, садиться за свой антикварный стол, уверенный, что его мысли важны для человечества.

— Он ребенок, счастливый ребенок, — словно прочитав мои мысли, сказала знакомая моего старшего брата с грустной досадой. — Для него писательство давно стало игрой. Песочницей. От тщеславия, страсти давно ничего не осталось. Он всегда доброжелателен, ровен, если речь, конечно, не заходит о Халабуде. Он самозабвенно играет в писателя, никуда не спеша, никому ничего не доказывая. Его можно было бы сравнить с летописцем-затворником, если бы он сколько-нибудь интересовался временем. По-моему, он просто доигрывает жизнь. Получает удовольствие от многолетней привычки, как курильщик от сигареты. Ах, да, вы не курите. Вам не понять. А я закурю.

Дым дамских сигарет отдает парфюмом.

— Он напоминает мне пень от недавно спиленного тополя. Знаете, такие пни на месте сплошных вырубок, которые вдруг густо обрастают «волчками». Ему кажется, что он возрождается с нуля. Перевоплощается при жизни. Ваше дело меня пилить, рубить. Сжечь и забыть. А мое дело прорасти.

Слова ее были одновременно злы и печальны.

— А, впрочем, я могу только гадать, о чем он пишет и что думает. Все, что пишет, а пишет ежедневно с семи утра до обеда, он тут же стирает.

Садится с утра за стол и до обеда работает. В половине девятого кричит: «Сашенька, голубушка, чаю».

Заполнит лист.

Перечитает.

Сотрет.

И снова пишет.

На этом же листе, пока не дотрет до дыр.

И так уже пятнадцать лет: пишет — стирает, пишет — стирает.

И счастлив.

Он думает, что это его служение, его миссия.

Он уверен: все, что он пишет, читает Бог.

Стоит за спиной, смотрит из-за правого плеча на его карандаш и читает.

А, если его читает Бог, зачем ему другие читатели?

После обеда он переходит в кресло-качалку и «беседует с великими мертвецами». Книги читает, если без метафор.

Так я узнал, что народный писатель Эдуард Чалдон-Заилийский пятнадцать лет тому назад сошел с ума.

Его дочь, старая дева, так и сказала:

— Он сошел с ума.

И сразу стала некрасивой и жалкой.

— Все мы в разной степени сумасшедшие, — попытался утешить ее я, смутившись.

Но не утешил.

— Стопки бумаги ему до конца жизни хватит. Вечным пером он пишет только Халабуде. Все остальное, для вечности, — простым карандашом. С одной стороны графитовый стержень, с другой — ластик. Размышляет. Мучается. Ищет слово. Радует, когда найдет. Почерк у него женский — аккуратный, мелкий, разборчивый. Вы видели его лицо, когда он перечитывал? Восторг. А потом все стирает. С таким же выражением на лице. Сотрет и снова пишет, мучается. Напишет — сотрет. Напишет — сотрет. Даже не представляете, как тяжело на это смотреть. Напишет — сотрет, напишет — сотрет. Я скоро сама с ума сойду. Если не уже.

— Интересно, что же он все-таки пишет? — тупо повторил я.

— Может быть, ерунду. А, может быть, гениальные вещи.

— Какая жалость. А вы не пробовали...

— Пробовала. Все пробовала. — Она по-мужски затушила окурок, вдавив его в дно пепельницы. — Что его жалеть. Он счастлив. Жизнь его наполнена смыслом. Напишет — сотрет, напишет — сотрет. И счастлив. Ему хорошо с самим собой.

— Не такой уж он сумасшедший, — сказал я, — а мы все разве не тем же занимаемся? Все мы, абсолютно все. Все, что делаем мы, не долговечнее этих карандашных рукописей, стираемых ластиком. Ваш отец просто более последователен и до минимума сократил промежуток между откровением и забвением.

Внезапно она снова перешла на «ты»:

— Ты говоришь это с таким оптимизмом.

— Почему бы и нет? В конце концов, мы идем бесконечной дорогой вечно-го совершенства и куда важнее наших дел то, что происходит у нас в душе.

— Ты тоже сумасшедший, — прервала она меня и, усмехнувшись, спросила сама себя. — А я чем занимаюсь? всю жизнь нянька при сумасшедшем старике.

— Не такое уж плохое занятие...

Взглядом она обрубил фразу.

И я стал хвалить чай.

Редко в последнее время я пил настоящий чай.

(...)

По дороге в Мокрую Щель я размышлял о монументальном столе сумасшедшего писателя Чалдона-Заилийского.

Хороший стол. Из мореного дуба и смысла жизни.

Но лично мне такой стол не нужен.

Зачем мне антикварный стол?

У меня есть велосипед.

Я никогда ничего не пишу за столом. Да у меня и стола, кроме кухонного, нет.

Все, что я написал, я написал на велосипеде.

Не понимаю, как можно размышлять о чем-то, не двигаясь.

Крутишь педали, поднимаешься по долгому тягуну в гору, а сам шлифуешь фразу. И так ее повернешь, и эдак. А когда она станет упругой, как масленок — вот-вот выскользнет, остановишься, достанешь из рюкзака грассбух из серой бумаги и, прикусив кончик языка, запишешь.

Удовольствие, как говорил знакомый поэт, эмигрировавший в Канаду, больше, чем от секса. Сочинительство в моем случае не работа, а отдых от нудного тягуна.

Странная вещь. Когда ты потный, задыхающийся, поднимаешься в гору, мысли легкие и приятные.

За столом же получают потные, мучимые одышкой мысли.

Я пробовал. Сидишь за столом, как двоечник за домашним заданием, и думаешь чужие, давно передуманные другими мысли.

Все, что написано на велосипеде, читается легко.

Как с горы катишься.

Только притормаживай на поворотах, чтобы в глазах не рябило.

Чтобы не занесло от восторга.

Занесло.

Сколько раз зарекался не сокращать путь.

Однако чудный народ живет в этом ауле. Неделю назад проезжал — была сквозная дорога. А сегодня она упирается в забор из рифленого оцинкованного железа.

Перегородили проезд.

Строят дом.

Прямо на дороге.

Тыкнулся в переулок — та же история. Забор из кровельного железа. Строят дом посреди дороги. Стал возвращаться — забор.

Когда успели?

Лабиринт.

Не дай Бог, пожар.

Плечо под раму, пошел по полевой тропинке между строящихся домов. Тропинка привела к дыре в расплетенной сетке-рабице.

Никогда, никогда не сокращай дороги.

Наконец-то тягун!

Что мне особенно нравится в велосипеде — открытость. Между тобой и

воздухом никаких преград. Воля. Ты не инопланетянин в жестяном таракане, ты — часть этого мира, этой дороги, ручья вдоль нее и карагачей. Часть этого живого, упругого воздуха, этих диких запахов, гор, облаков, туманов, дождей.

Ты — часть этого движения, этого круговорота.

Ты — колесо.

Кентавр на колесах.

Лучше кросс-кантри может быть только параплан.

И то вряд ли.

Летающий велосипед — вот что я хотел бы иметь в идеале.

(...)

Вы даже представить себе не можете, какое это наслаждение — слезть с узкой седушки, о которую натирал зад тридцать пять километров горной дороги.

Пятая линия, третья дача налево.

Райские кущи. Из-за заборов свисают яблоки, груши, сливы.

Стайка дачной интернациональной малышни, тревожно перешептываясь, подглядывает в щели калитки и просветы живой ограды.

— Чудовищ! Чудовищ! — закричал маленький Чингисхан, и, завизжав, дети, хлопая пятками по попкам, побежали по заросшей муравой дороге и скрылись в зарослях недостроенной дачи.

Светло-коричневый бражник, зависнув над растущим у забора кипреем, ежесекундно погружая кривой и длинный хоботок в сладкое лоно соцветий, кружил в страстном, порывистом танго. Вместо крыльев — оливковое мерцание. Это о нем местная журналистка взволнованно пропищала в телерепортаже о наркоманах, вставших на праведный путь: «И вдруг неизвестно откуда в саду появилась колибри!» Соблазненная бархатцами, бабочка так резко метнулась в сторону, что показалось — растворилась в пестром и теплом воздухе.

На ржавом железе двустворчатых ворот белым маркером, пушкинским почерком:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —  
Летят за днями дни, и каждый день уносит  
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем  
Предполагаем жить... И глядь — как раз умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля,  
Давно завидная мечтается мне доля —  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Шумела инородная в этих райских кущах сосна. Невидимый за деревьями, оградами, домами бормотал детские стихи ручей.

Старый пес, лежа на боку, пытался лаять, не поднимая головы.

Приятная скука умиротворения и неги окутала обитель дальнюю прозрачной паутиной.

Прелестная, щемящая скука старой дачи.

Не решаясь стучать в бессмертные строки, я крикнул:

— Хозяин!

Из лачуги, сложенной из пестрого пережженного кирпича и крытой ис-

пользованными газетными формами, на которых можно было разглядеть строки и клише, вышел худой человек в шортах. Босой. Без майки.

В руках он держал нож размером с саблю.

Шорты когда-то были джинсами. Они чудом держались на впалом животе. Живота, собственно, не было. Пуп прилип к позвоночнику. Обрезанные штанины бахромилась чуть выше колен.

Кудлатой бородой и формой черепа, а более всего дистрофичной, сутулой фигурой человек напоминал Бернарда Шоу.

Было очевидно: дед еще та язва.

Он подошел к сетке, ячейки которой были оплетены колючими побегами вьющейся розы, и поверх сетки посмотрел на меня как на доuku.

Как если бы я был участковым милиционером или заблудшей коровой.

В глазах его не было гостеприимства.

Он сурово посмотрел на свое отражение в моих очках и спросил:

— Ну?

— Вы Родион Петрович Халабуда?

— Ну, — ответил он с неприязнью, будто только что я оскорбил его самым хамским образом.

Я снял рюкзак, достал из него пакет, завернутый в газету, и протянул через живую ограду. Живую ограду не подстригали никогда.

Халабуда вспорол конверт страшным ножом, словно брюхо леща, и с выражением омерзения извлек письмо.

Словно рыбы внутренности.

Газету, сложив, сунул в задний карман, а конверт скомкал и со словами «делать старому дураку нечего», — бросил в пепельное пятно от костра, который жгли посередине дорожки. Он, забыв обо мне, читал письмо, вытянув руки и откинув голову.

— Ничего передавать не будете? — спросил я, дождаввшись, когда он дочитает, и разворачивая велосипед.

Родион Петрович посмотрел на меня с недоумением и досадой.

— Заходи, — сказал он хмуро, как бы раскаиваясь в своей доброте.

Пушкинские слегка заржавевшие строки, заскрипев, раскрылись, пропустив меня в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Пес, лежащий на заросшей дорожке, очень похожий на Халабуду, посмотрел на меня одним глазом и не соизволил подняться. Я обошел его, а велосипед пронес над ним.

Сад был запущен.

Правильнее было бы назвать его фруктовым лесом.

А еще правильнее: дико заросшим раем, из которого давно были изгнаны его обитатели.

— Я ему отвечу, я ему отвечу, — вытаращив глаза, бормотал хозяин в ярости и, обернувшись, погрозил мне кулаком, в котором вместе с письмом был зажат ржавый нож.

Не весь ржавый, а только по заточке.

Халабуда подошел к двум разновеликим пням. Один служил стулом, а другой столом. На высоком пне стояла пишущая машинка.

Пни стояли под зимним вырождающимся апортом, древом познания добра и зла.

Я уже лет десять не видел пишущих машинок.

Простотой конструкции, рабочей потертостью она напоминала мне велосипед.

Но когда яростно застучала под сухими пальцами Родиона Петровича, мне представился немецкий автомат времен Второй мировой войны. Шмайсер.

Выхлестнув несколько длинных очередей по заросшему саду, Халабуда вскочил и, размахивая руками, бормоча, побежал по извилистой тропинке к деревянному туалету. Но, не добежав, порывисто развернулся и бросился к бурно застрочившей пишмашинке.

В ответ на соседней даче застрекотала сорока.

Утолив первую ярость, Родион Петрович вновь бросился к туалету и надолго там застрял. Оттуда доносилось глухое бормотанье.

Построить дачу и укрепить себя?

Из года в год видеть одни и те же деревья? Соседей? С их однообразными изнуряющими разговорами?

Зачем?

Никогда, никогда не променяю велосипед на дачу.

Для чего эта тоскливая оседлость?

Я — кочевник.

С велосипедом весь мир — моя дача.

Что нужно человеку от дачи? Покой и воля? Тишина? Уединение?

Этого добра сколько угодно в любом ущелье, в степи, в лесу, на реке. Где угодно. Даже в городе.

Везде — покой и воля.

Если ты на велосипеде.

А вот на даче с покоем и волей, по моему разумению, как раз большая напряженка.

К тому же покой и воля несовместимы.

Свобода совместима с движением, вечным путешествием. Куда хочу, туда качу — вот свобода, вот воля. Да и покой без движения — скука.

Нет, не нужен мне этот скучный рай.

На свете счастья нет, но есть горный велосипед и места, куда не проехать на машине.

Дверь туалета взрывоподобно распахнулась. Родион Петрович, на ходу застегивая шорты бежал на тонких, как у гигантского кузнечика, ногах к пишущей машинке. Плюхнулся на пень. Навесил над клавишами хищно скрюченные пальцы и застыл.

Мысль, пришедшая в туалете, внезапно покинула его.

— А ты знаешь, отчего он двадцать лет не написал ни строчки? — спросил он желчно.

Но на лице его не было злорадства. Лицо его вдруг стало противным и жалким.

Я пожал плечами, не желая обсуждать за глаза человека, о котором мало что знал.

— Он ничего не печатает, потому что не может написать ничего лучше моего «Ноля». Ты читал мой «Ноль»?

Бестактно задавать такие вопросы. И в моем случае отвечать тоже бестактно. Я, задержав дыхание, изобразил погружение в глубины памяти, сфокусировав взгляд на золотой «лимонке».

— Ну да, конечно, — высокомерно обиделся Родионов, — что может написать провинциальный писатель? Кто читает писателя из захолустья? Понимаю. Впрочем, кто кого сегодня вообще читает? Никто никого не читает.

Халабуда задохнулся от гнева. Выпученные глаза его побелели.

— Назарет! — закричал он с яростным сарказмом. — Да что хорошего может быть в этом захолустном Назарете?

— Да, настоящая литература вымирает, — поспешно согласился я, — писателей пора заносить в Красную книгу.

— Красная книга! — вскричал Родион Петрович. — Литература подыхает, как бож в канализационном люке, как плешивый пес у помойки!

Он приподнял пишущую машинку и выхватил из-под нее потрепанный журнал, видимо, лежащий там на счастье, как монета в фундаменте дома.

— Прочитаешь — вернешь. Последний экземпляр.

Журнал назывался «Глухой переулочек».

Не думая обидеть автора, я по привычке заглянул в выходные данные.

1.500 экземпляров.

Но Родион Петрович обиделся.

— А ты знаешь, какими тиражами издавался Пушкин? — спросил он, ревниво играя желваками.

(...)

Хороший велосипедист, поднимаясь по изнуряющему тягуну, думает о спуске.

А спускаясь, готовится к следующему подъему.

Не знаю лучше музыки, чем гудение туго накачанных шин с агрессивными протекторами по сухому асфальту. Музыку эту дополняет ветер, свистящий в полостях шлема. Пот стекает по желобу спины.

Если человек получает одинаковое удовольствие от спуска и подъема — он великий велосипедист.

Парень в майке «Астаны» выскочил из-за спины и промчался мимо с такой скоростью, что я не успел разглядеть, какую звездочку на заднем колесе он раскручивает.

Инстинкт побуждает броситься в бесполезную погоню, но невероятным усилием воли сдерживаю себя: гоночный на горном не догонишь.

Главное — темп.

Свой темп.

Я великий велосипедист, но не великий гонщик.

Из меня не получилось бы гонщика. Потому что в велосипеде для меня важна не скорость, а покой и воля. Свобода свернуть на проселочную дорогу, остановиться и искупаться в ручье или заночевать в стогу сена.

Я бы не смог, согнувшись кочергой, часами крутить педали по заданному маршруту.

А поглазеть по сторонам? Зачем лишать себя удовольствия созерцания?

Увидеть каменную бабу на ковыльном холме и не свернуть?

Я уважаю гонщиков, но не гонщик.

Лежу. Маленький в большой безлюдной степи, населенной лишь грызунами, насекомыми и птицами.

Голова — на сиденье велосипеда, моего железного ослика.

Смотрю в небо.

На планете только я и мой велосипед.  
Медленно, как мысли, плывут облака.  
Простые, неспешные мысли, которые никто не пытается записать и опубликовать.

Эти мысли плывут со стороны гор и города.

Может быть, и мои мысли плывут сейчас белыми островами над чужими странами. Россией, например. И какой-нибудь белобрысый пацан лежит в поле рядом со своим велосипедом, смотрит на облака и ничего не понимает. Что уж говорить о других странах, где говорят на чужих языках.

Никто не прочтет мои мысли. Никогда. Я последний житель Атлантиды. Страны, которой никогда не было.

На моем языке давно никто не говорит.  
Степной ветер пахнет знакомым ущельем.  
Шуршит крыльями стрекоза.  
Хорошо.

Хочется жить долго. Хотя бы тысячу лет.

Многие представляют долгую жизнь как нечто невообразимо скучное, проецируя свою ипостась на вечность. Они видят себя за опостылевшими занятиями, которые продолжаются бесконечно.

На самом деле вечная жизнь при условии нормального здоровья полна покоя и воли. Невероятными возможностями переписывать набело неудачные попытки, менять привычки, характер, профессии. Начинать все заново с чистого листа.

Прожил. Стер. Начал по новой.

Сто лет я бы лечил людей, сто лет — животных. Пока не вылечил бы всех негров и носорогов в Африке.

Сто лет занимался бы подводной археологией. Искал бы Атлантиду. Плевать, что ее нет. Что-нибудь бы да нашел.

Сто лет летал бы на всем, что летает — самолетах, ракетах, воздушных шарах, тарелках.

Сто лет плавал бы по всем океанам и морям планеты, побывал бы во всех портовых кабаках.

Сто лет был бы художником — графиком, карикатуристом, живописцем, скульптором. Нет, художником я был бы двести лет.

Сто лет занимался бы науками. Хорошо бы проколупать дырочку в завесе времени и заглянуть в нее.

Учил бы детей...

Проектировал и строил города...

Пожалуй, тысячу лет — мало.

Нужна именно вечность. Вечное совершенствование, вечное открытие себя. Вечное обучение.

Вечная жизнь, должно быть, невероятно интересна. Для любопытного человека, разумеется.

Жить долго и точно знать, что происходило и происходит на самом деле, а не то, что думает по этому поводу Хрен Иванович из ящика.

Вот сидят за круглым столом шельмы, развалившие страну, обманувшие и обворовавшие всех, сидят и, горько икая от сытости, переживают: какой плохой народ — никто никому не верит.

Да! Тысячу лет писать одну книгу. День за днем.

На этой приятной мысли я погнался за хаотично порхающей бабочкой-эндемиком.

Я преследовал ее на велосипеде.

По воздуху.

Когда я проснулся, бабочка сидела на руле, изредка раскрывая и тут же складывая крылья. Темно-красные с желто-оранжевыми разводами.

Зачем я за ней гнался во сне?

Мир вывернулся наизнанку.

Планета была прекрасна.

Что такого необычного произошло? Никто не удивляется, увидев во сне существа и предметы, которые видит наяву. Отчего же так волнует существо из сна?

Я чувствовал ветер от бархатных крылышек насекомого.

Наша расширяющаяся вселенная — всего лишь выдох спящего существа. Скорее всего, бездомного щенка.

(...)

— Эй, Егор! — кричал со двора дворник Хоттабыч. — Икебану встречай! Знатная икебана к тебе поднимается!

Хоттабыч дворник интеллигентный. Всех красивых женщин он зовет икебанами. Посмотрит вслед и скажет в восхищении: «Ишь ты, какая икебана!»

Изъясняется он изысканно. Ему очень нравится слово «присовокупил». А ругается возвышенно: «Я вот тебе сейчас все чресла переломая!»

Когда же я в глаза при народе назвал его интеллигентным дворником, он обиделся:

— Какой я тебе интеллигент, если в городе родился.

— И что?

— Интеллигент — слово крестьянское, происходит от «телеги», — разъярил он. — Ты знаешь, как лошадь в телегу впрячь? Выходит и ты не интеллигент. Женщин моя однокомнатная квартира приводит в ужас.

И не только потому, что однокомнатная.

— Ужас! — так и сказала дочь писателя Чалдона-Заилийского, напорвшись в коридоре на горный велосипед.

Он сполз по стене на пол, гремя сочлениями титанового скелета и страшно вывернув руль.

Изумленный внезапным появлением дамы, я провел ее в «зал», и она повторила:

— Ужас! Какой ужас!

Это слово в сочетании с рукой, прижатой к груди, делает женщину любого возраста невероятно привлекательной.

На этот раз знакомая старшего брата была одета в брючный костюм. Несколько консервативный, но стильный.

Что могло навести на нее такой ужас?

Неужели висящий в простенке между стеллажами книг изящный гоночный велосипед с тонкими трубками и, ради экономии пространства, вывернутыми параллельно раме рогами?

А может быть, туристский внедорожник, одетый в пухлые, туго набитые походной утварью штаны — рюкзак из трех отделений: два свисают по бокам

заднего колеса, одно сверху, над багажником. Турист стоял у окна, прижавшись к батарее отопления.

Посредине комнаты перед раскатанным на полу спальным мешком вилками вверх торчал расчлененный велосипед. Рядом на газетах лежали колеса и детали.

Запасные шины, камеры, колеса попеременно со звездочками, цепями, рамами частью подвешены к крюкам, вбитым в стены, частью прислонены к ним или засунуты под диван.

— Боже! Как ты здесь живешь? Здесь невозможно жить!

— Да отчего же невозможно?

— Без женщин мужчины дичают. Этой квартире срочно нужна женщина.

Тут пришел в ужас я.

— Зачем мне женщина? Носки стирать и яйца варить я умею.

— При чем здесь носки, при чем здесь яйца? Неужели у тебя никогда не было любви?

— Любовь, как корь. Она у всех была.

— Ты циник, Егор.

— Циник, — согласился я, — все ваши счастливые жизни, все ваши любви я бы, не глядя, обменял бы на один спуск по ущелью Монахов. В дождь. По размытой тропе. На лысых шинах.

Женщины и велосипеды несовместимы. Нужно выбрать что-то одно.

— А это что за хлам?

Ее внимание привлекли сваленные в угол мотки веревок, «беседка», два жумара, карабины, каска с налобным фонариком, полная крючьев, анорака, избитые о камни ботинки, кошки.

— Этим я зарабатываю на жизнь. Мою окна в высотках. Иногда вожу чайников на восхождения.

— Моешь окна в высотках? Это же очень опасно.

— Не опаснее, чем переходить через дорогу.

— И хорошо платят?

— Платят хорошо. Плохо — альпинистов много, а высотных зданий мало.

— Так ты альпинист?

— Альпинисты в Альпах. Я тяньшанист.

— Зачем тебе так много велосипедов?

— Этот — грузовик. Этот — на каждый день. Этот — представительский. Это — шоссейник, этот — для гор. Остальные ремонтирую. Приработок.

— Сколько хлама! Здесь просто необходима женщина.

— Спасибо. Знаю я этих женщин. Велосипеды — в подвал. Комнату загромождать мебелью. Заставит в кабалу идти.

— А это что за рухлядь?

— Это не рухлядь. Это бюро. Осталось от прежнего хозяина. Не знаю, как он занес его, а вынести, когда съезжал, не смог. Вещь старинная, громоздкая.

— Вот, значит, за такими бюро и писали классики?

Она присела на корточки перед рухлядью. Рухлядь ей нравилась, поскольку не имела отношения к велосипедам.

— Это что? Полки для книг? А это что? Буфет! Очень удобно. Выдвижной столик! Чудо! Ты писал когда-нибудь стоя?

— Никогда. Только лежа.

- Подумать только: все великие вещи написаны стоя, гусиными перьями.
- Прогресс все усредняет.
- Что ты имеешь в виду?
- Компьютер.
- Крайности комичны. Середина банальна. А это что? Ящички, ящички, ящички. Для чего?
- Для чего угодно. Я в них детали храню.
- Зачем тебе этот гроб? Продай.
- Не могу. Даже подарить не могу.
- Тесно же.
- Во-первых, его невозможно вынести, а во-вторых, в нем домовой живет.
- Чем он так пахнет? Домовым?
- Уютом. Старым бытом позапрошлого века. Это бюро помнит еще дворянок в кружевных платьях до земли, с зонтиками от солнца и маленькими собачками. Он пахнет историей. Антиквариатом. Знаете, сколько он пережил землетрясений? О! Стоит. Надежно, с достоинством. В нем есть что-то вроде смысла. С ним не хочется суетиться. Знаете, почему его нельзя вынести? Он же сделан, представьте себе, из цельного ствола дуба. Его нельзя разобрать. Его можно только изрубить.
- Да ты что! А где у тебя стулья? Как можно жить без стульев?
- Идемте на кухню. Там у меня табурет для особо важных гостей.
- Боже, у тебя нет даже чая.
- Завариваю только травами и ягодами. Что будете? Зизифора? Мята? Барбарис? Шиповник? Облепиха?
- Она достала из сумки пакет с посланием мизантропу Халабуде.
- Послушайте, что не поделили великий Чалдон-Заилыйский с никому не известным Халабудой? — спросил я, пытаюсь завести легкий светский разговор.
- Долгая история.
- Самую суть.
- Непривычный вкус, — сказала дочь великого писателя, собираясь с мыслями. — Случилось это лет пятьдесят назад. Сам понимаешь, свидетельницей этого события я не могла быть. Халабуда пришел к отцу и принес рецензию на его книгу. Статья была написана в очень критических тонах. Отец прочитал и спрашивает: «Зачем ты это принес?» Халабуда отвечает: «Чтобы ты потом не сказал, будто твой друг ударил тебя ножом в спину». — «Ну, вот — я прочитал. Что дальше?» — «Отнесу в «Книголюб». — «Зачем? Ты уже дал мне ее прочитать. Указал на мои ошибки. Зачем же печатать эту статью? Объясни. Какой теперь в этом смысл?» Этот запазушник Халабуда говорит: «Хорошо, значит, ты считаешь, что статью публиковать не надо?» И опубликовал. Причем во врезке передал весь этот разговор. Отец так и не понял, зачем он это сделал. Зачем вынес приятельский разговор на всеобщее обсуждение? Он посчитал это предательством. Халабуда так не считал. Он думал, да и сейчас, наверное, думает, что это — принципиальность.
- О чем статья?
- А ты спроси Халабуду. По-моему, он всегда завидовал отцу. А тогда было принято подлость называть принципиальностью. Как он тебе, кстати, показался?
- Знаешь, я пытаюсь не принимать людей близко к сердцу. Отношусь к ним

как к литературным персонажам. Любопытный тип. Бешеный, вспыльчивый, обидчивый, несправедливый. По-моему он из породы правдоискателей. Мне его отчего-то жалко.

— Это ужасно! Ужасно относиться к живым людям как к литературным персонажам.

— Может быть. Но это примиряет меня с людьми. Все мы, если подумать, литературные персонажи в великой книге, которую пишет Бог.

— У тебя вообще-то есть друзья?

— Нет, конечно. Подружиться я мог бы только с велосипедистом. Но, когда тот катит под гору, а ты на эту гору поднимаешься, познакомиться невозможно. Одно из основных правил: поднимаясь в гору, крути педали, не останавливаясь. Однажды я встретил батюшку на велосипеде. В рясе. Борода. Крест. Сидит прямо, преисполнен достоинства. Весь развивается на ветру, как флаг на бронетранспортере. И так мне захотелось с ним подружиться. Вот кто бы мог стать другом. Ну, о батюшке нельзя говорить — друг. Наставник, собеседник. Не решился его остановить. А больше я его не встречал. С человеком, который не на велосипеде, я и разговаривать не буду. Во всяком случае, по душам. Человек не на велосипеде меня совершенно не интересуется. А тем более если презирает велосипед. Это даже не человек, а совсем другой вид. Для меня человек без велосипеда все равно что велосипед без человека. Нечто неполноценное, негармоничное. Я даже представить себе не могу, о чем можно говорить с человеком, который презирает велосипед. Разве что о вздорожании цен на продукты питания.

— А Ветошкин разве не велосипедист?

— Ветошкин? Велосипедист. Но ведь он писатель.

— И что?

— Писатели в провинции не дружат. Каждый смотрит на другого и думает: зачем здесь он, когда уже есть я? Правда, Ветошкин не знает, что я писатель и поэтому считает меня другом. Но я-то знаю, кто он такой.

— Никогда не ездила на велосипеде, — сказала без сожаления дочь великого писателя, подумала и спросила: — Трудно научиться?

Когда она ушла, я долго размышлял о причинах ее визита.

Возможно, причина крылась в нашей с братом похожести?

Да, кажется, в душе Александры я занял место моего старшего брата.

Чем иначе объяснить это неспровоцированное «ты»?

Не дай бог, если чувства, отвергнутые братом, обрушатся на меня.

(...)

Хорошая книга — это как хорошо смазанный велосипед.

Встаешь с утра разбитый. Мышцы закрепощены, ноют. Суставы скрипят, дыхания нет. Уныние.

Сядишься на велосипед и — постепенно, постепенно — мышцы разогреваются, открывается дыхание, появляется удовольствие от движения. Ты с приятным перещелком переключаешь скорость. Внутренне улыбаешься. Возвращается детская, забытая радость ночного полета.

Я прочитал «Ноль», и повесть не вызвала во мне этой детской радости движения.

Тоже велосипед. Но велосипед плохо смазанный.

У Халабуды не было оснований страдать манией величия. Не то что причины, ни малейшего повода не давал этот «Ноль».

В повести, которую Родион Петрович Халабуда назвал романом, было много от характера самого Родиона Петровича. Она была бескомпромиссна и зла.

Злым можно быть по-разному.

Родион Петрович был зол некрасиво.

Это была история о человеке-невидимке, авторе-ноле, писавшем книги за богатого человека.

И не было у Халабуды к этому нолю ни малейшего сочувствия. Уж на что, на что, а на сочувствие имеет право любой человек, любое существо и даже многие из неодушевленных предметов.

По некоторым портретным деталям можно было понять, что прототипом главного героя послужил Чалдон-Заилийский.

Начиналась история с эпизода довольно гнусного. Парад суверенитетов. Будущий автор-ноль, находясь в зените славы, принародно целует руку президенту. И язва Халабуда пишет: «Очень своенравный писатель этот Ноль. Просто необъезженный скакун. Вместо того чтобы без затей облизать сапоги правителью, он осмелел до того, что лишь поцеловал его руку. Хотя и взасос. Невероятная, неслыханная дерзость!»

Повесть могла бы и даже должна была бы получиться, если бы не чувства, захлестнувшие автора.

Он ненавидел своего героя.

А героя, какой бы он гнидой ни был, нужно любить. Иначе ты никогда не доберешься до его души. А без души нет литературы.

Не справившись с чувствами, Родион Петрович впал в грех публицистики. Этот грех журнализма мне легко обнаружить, поскольку я и сам им хронически страдаю. Захлестнет — и вот ты уже не отстраненный созерцатель, а неистовый обличитель. Каратель.

Сюжет такой. Ноль отрекся от внезапно наступившей голодной свободы, предпочел ей сытое рабство. Кушает, стоя на задних лапках, со стола олигарха, которому в голову пришла мысль стать писателем-интеллектуалом. Фамилия олигарха Кимин. Знакомые зовут его Кимингуэем.

Получив нескромное предложение от Кимингуэя, будущий Ноль некоторое время колебался. Трудно вот так сразу из лауреатов — да в невидимки, литературные шерпы. Одно время он решил удариться во все тяжкие и писать криминальные, хорошо присоленные эротикой, романы. Или даже сценарии для тупых сериалов. Он было выбрал второй путь, но дудки — не выдержал конкуренции молодых пройдох, циничных графоманов.

Поколебался Ноль, поболтал о святом назначении творчества, а жрать хочется.

И подписал тайный договор с олигархом. Продал душу.

Сцена эта была написана в огненных тонах ада.

Олигарх Кимин с внешностью и повадками врага человеческого за молчание, выгодное, кстати, обоим, платил щедро.

Каждую новую книгу Кимингуэй дарил автору-невидимке. Разлиняет простым карандашом титульный лист и каллиграфическим почерком пятиклассни-

цы напишет по прямым линиям: «Такому-то от АВТОРА с пожеланием дальнейших творческих успехов».

И затейливо подпишется.

Издавал СВОИ книги олигарх-интеллектуал огромными для постперестроечного времени тиражами. И все до единой раздаривал. Рассылал в библиотеки для пользы юношеству. Родственникам. Знакомым по бизнесу. Творческой элите. Знакомым и незнакомым людям из верхнего эшелона власти.

И все, до единой, подписывал саморучно.

На каждую книгу Ноль писал рецензии, которые публиковались на купленных олигархом полосах популярных газет.

Десять лет обязан был Ноль по договору писать книги за Кимингуэя и забыть о своем имени.

Но однажды его погубили амбиции. Попал Ноль впросак. Не прошло и пяти лет, затеял он однажды разговор с хозяином: нельзя ли в связи с надвигающимся юбилеем издать и его, Ноля, книжицу, под своей фамилией, но за ваш счет?

Кимингуэй обиделся и приревновал. «Мало плачу? — спросил он. — Буду платить больше. А договор нарушать нельзя. Последнее дело нарушать договор. К тому же читатель забыл твое имя. А с новым именем трудно сегодня пробиться на книжный рынок. Давай издадим под знакомым читателю именем. Заплачу вдвое».

Могла бы, должна была бы получиться повесть, если бы Родион Петрович посочувствовал своим героям. Кимингуэю за то, что Бог обделил его талантом. Нолю за то, что от недоедания попал в кабалу.

Хотя бы попытался разобраться.

Но и тот и другой у него мерзавцы, достойные лишь презрения.

Гравюра без полутонов.

Хотя изредка встречались и неплохие эпизоды. Допустим, когда олигарх хвастается своему литературному крепостному: «Вчера в гостях был Х. Представляешь, уходя, МОЮ последнюю книгу стырил. Ты даже не представляешь как это приятно, когда ТВОИ книги тырят».

Но даже после этого не заглянул Халабуда в душу несчастного невидимки.

Заканчивалась повесть тем, чем и должна была закончиться.

Родион Петрович не без злорадства сообщает читателям «Глухого переулка», что после пяти лет халтуры, его герой купил себе новую машину, дачу, квартиру в двух уровнях и разучился писать.

Олигарх разорвал с ним договор, поскольку Ноль все-таки выпустил к своему юбилею книгу под своим именем, и нашел себе другого раба.

Сильная могла бы получиться вещь, если бы не бесноватый характер Халабуды.

«Ноль» мог бы стать очень хорошей повестью, если бы не получилась длинная статья. Нравоучительная, нудная и злобная в своей прямолинейности.

Мне было жаль Родиона Петровича. У него был повод исследовать самый отвратительный вид предательства — предательства самого себя. И самый отвратительный вид эксплуатации — эксплуатации таланта.

Я не нашел в себе мужества сказать ему все это в глаза. Возвращая книгу, стал бродить вокруг да около, туманно размышлять о предательстве своего таланта и своей свободы, предательства, по сути, Бога...

— Знаете, — запутавшись, промямлил я, понимая, что нужно сказать что-

то критическое, — роману не хватает прекрасного сумасшествия — любви. Любви-подвига. Это и делает роман романом. А без любви, какой же это роман.

Он положил руку на седло моего велосипеда. И по тому, как он это сделал, было понятно: человек понимает толк и в седле, и в велосипеде.

— И сколько стоит? — спросил он мрачно.

Я ответил. Он присвистнул.

— Мне бы этого хватило до конца жизни. Еще бы и на похороны осталось. Зачем такой дорогой?

— Дорогой? Что вы! Это так, средний класс.

— Говоришь, любовь? Говоришь, подвиги? — скривился он. — Понимаем. И мы ради любви подвиги совершали. У меня в свое время тоже велосипед был. Гоночный. Она жила, скажем так, в городе Н., в ста километрах с копейками. Сажусь после работы на велосипед и кручу педали. А дорога преимущественно в гору. Сосед завидовал: «Опять отдыхать поехал? Самому, что ли, велосипед купить?»

Ага, отдыхать. Посмотрел бы я на тебя после ста километров.

А градиент местами до двенадцати процентов.

Ты-то понимаешь, о чем речь.

Дыхалки нет. Ноги свинцом забиты. Сердце вот-вот изо рта выпрыгнет. И тут же взорвется. На спине блины можно печь.

Чем не прекрасное сумасшествие? Чем не подвиг?

Подъезжаю затемно. За речкой дикий сад. Велосипед в зарослях прячу, к стволу яблони приковываю.

Ее домик с краю стоял. Свистну из-за живой ограды.

— Ты свистни, тебя не заставлю я ждать.

— Вот именно. Ну и — прекрасное сумасшествие.

А потом до света, по холодку бегу в заброшенный сад. Расковываю велосипед — и сто километров в обратном направлении. Что хорошо — в основном под гору. Катишь и песни поешь.

Хотя слуха у меня нет.

На работе спишь сидя. А если не спишь, предаешься воспоминаниям.

Начальница у меня была пронцательная, как и все старые девы. «Что-то лицо у тебя сегодня глупее, чем обычно. Влюбился?»

И так я изнурял себя любовью и велосипедом все лето. Позвонишь с работы предварительно, чтобы подвиг зря не пропал, и давишь на педали.

А в тот раз получилось экспромтом.

Не дозвонился.

Мобильников тогда не было.

Представляешь, сколько сюжетов загубило это дитя прогресса?

На месте авторов детективных романов я бы давно серию диверсий организовал на заводах, где производятся эти карманные телефоны.

Прикатываю. Приковываю велосипед. Подхожу к ограде. Свищу.

Из-за ограды румяная морда высовывается. Небритая, в майке. Спрашивает с набитым ртом: «Чего надо?» А сам яблоко жрет. Хруст стоит — катастрофа, крушение состава со стеклотарой.

Меня так серпом и резануло.

Я свое имя называю: «Халабуда здесь живет?»

Он на меня смотрит с подозрением и орет не оборачиваясь: «Машенька, какого-то Халабуду спрашивают».

И ее нежный голосок: «Скажи, Олежек, ошиблись адресом».

Даже не представляешь, какие нехорошие чувства вызвали у меня все эти уменьшительно-ласкательные суффиксы.

Опять серпом по тому же месту.

Лучше хакарири сделать, чем слушать подобное. Ты меня понимаешь.

— Велосипедист велосипедиста всегда поймет.

— Кстати, о велосипеде. Он меня от этого прекрасного сумасшествия враз излечил.

Подхожу к знакомому дереву в полном смятении чувств.

Переживаю предательство.

Думаю: разгонюсь с горы и на встречную полосу выкачу.

Серьезно.

Смотрю: у велосипеда колес нет.

Сняли, мерзавцы.

Висит одна рама.

Сразу забыл все мелкие неприятности. И Машеньку, и Олежку. В две секунды от прекрасного сумасшествия избавился.

Ты-то меня должен понять.

Да. Ее я давно простил.

Но сколько прошло лет — почти сорок пять — а если бы сейчас встретил вора, честное слово, убил бы.

Раму на плечо, и сквозь заросший сад на дорогу.

Автобусы уже не ходят. Да и денег ни копейки. Иду, скриплю щелчком.

Но народ в то время был посострадательнее. Бескорыстней.

Первый же грузовик остановился, а я и руку не поднимал. «Куда это ты без штанов, на ночь глядя? Бросай металллом в кузов, прыгай в кабину».

Но это уже к делу не относится.

— Сюжет для небольшого рассказа, — сказал я.

— Рассказ? — удивился он. Подумал и рассеял сомнение. — Мелковато.

Снова задумался. Пробежался по тропинке туда-сюда, резко остановился. Замер. И утвердился во мнении:

— Нет, мелковато. За этим нет никакого общественно-значимого явления.

Я стал убеждать его в обратном, доказывая, что для рассказа и не надо никакого явления.

Халабуда скривил рот и прервал мои размышления:

— А ты когда-нибудь кого-нибудь предавал?

Думал я недолго:

— Возможно, по мелочам. С моей говорящей фамилией трудно предать.

— Подожди, мой преданный друг, — утешил меня он, — подождем, когда петух прокричит во второй раз. А впрочем, ты прав. Я не советую тебе менять фамилию. Человек с фамилией Продажный вряд ли продаст.

(...)

Из окна «мерседеса» в меня швырнули огрызком яблока.

В первую секунду я пожалел, что у меня нет пистолета.

Через минуту, успокоившись, подумал: «Хорошо, что у меня нет пистолета».

И все-таки надо бы купить пистолет.

В нашем провинциальном городе идет война.

Воюют автомобилисты и велосипедисты.

В городе можно жить, не оглядываясь по-птичь, только очень ранним утром после ночного дождя, когда на улицах сравнительно мало автомобилей, а воздухом можно дышать.

Велосипедистов в провинции не любят ни водители, ни пешеходы.

Велосипед учит терпимости.

Знаете, что я думаю, пояись Христос в наше время — фиг бы он ездил в «мерседесе». Он ездил бы на велосипеде.

Господи, прости человека, бросившего в меня огрызком яблока!

Вернись и брось в меня второй огрызок, козел.

Один из толстых московских журналов опубликовал повесть моего друга Ветошкина. В ней рассказывается о печальной судьбе лешего, у которого сожгли родное урочище. Он стал бомжом, перебрался в город и обнаружил: каждый второй бездомный, ошивающийся у баков с пищевыми отходами, — свой брат, леший, лишенный своей чащобы.

Леший внешностью похож на Карла Маркса, а характером — вылитый Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Он сразу же организовал первичную ячейку, а затем и подполье леших. В отместку за сожженные и вырубленные леса принялись они охотиться на машины, как люди охотятся на зверье. Одна из сюжетных линий, понятно.

Журнал вышел в апреле, а в мае в Москве, бывшей столице моей бывшей родины, сожгли семьдесят автомобилей. Не думаю, что к этому причастен леший Ветошкина. Полагаю, совпадение. Предчувствие. Вряд ли люди, поджигающие машины, заглядывают в «Журнальный зал».

Представляете, если бы редактором был крутой, в меру циничный пацан, ох и воспользовался бы он случаем, ох и пропиарил бы и журнал, и повесть.

К сожалению, в журнале работали исключительно интеллигентные люди — и славы другу Ветошкину не обломилось. Люди из порядочных семей чураются рекламы и сутенерства.

Конечно, нехорошо жечь машины, но ведь, как говаривал один из обэриутов по другому поводу, что-то делать с ними нужно.

Хотя бы в порядке самообороны?

Согласен: у машины есть водитель.

С другой стороны, покупая машину, каждый должен ясно понимать — он становится соучастником преступления, поощряя истощение земных недр.

Примыкает к банде убийц.

Наезды на пешеходов и аварии — лишь крошечная доля преступлений. Подумаешь, какие-то миллион с хвостиком трупов в год. Пустяки для планеты. Но вот ты проехал по городу и отнял у нескольких тысяч прохожих по часу-другому жизни. За день в сумме — один покойник из множества отложенных смертей. Только не надо басен про чистое топливо. Чем чище бензин, тем мельче фракции, вылетающие из выхлопных труб, тем глубже проникает отравы в организм пешехода. Ты не пил, не курил, вел исключительно здоровый образ жизни. Откуда у тебя эта дрянь? Оттуда. Из двигателя внутреннего сгорания.

Автомобиль — та же газовая камера. Только выхлопная труба направлена не в салон, а наружу. Весь город — одна газовая камера.

Это ты вытесняешь краснокнижное зверье, потому что автомобиль подни-

мает твою ленивую, дряблую задницу в глухие места, где твоей заднице делать нечего.

Но даже зная, что совершаешь преступление, ты все равно купишь автомобиль. (...)

Конечно, прошло бы некоторое время, я бы забыл огрызок яблока, успокоился и пришел к выводу, что жечь машины все-таки нехорошо. Может быть, даже покаялся за сердитые мысли.

Но из плотной вереницы машин выкатил джип и, пристроившись рядом, стал прижимать меня к арыку. Я подумал: любопытный человек, замеряет скорость велосипедиста. Слегка опустилось тонированное стекло, в щель, вместе с попой высунулась рука — то ли детская, то ли женская — и хлопнула меня по каске.

Взрыв самого идиотского смеха оборвался вместе с поднявшимся стеклом.

Обогнав меня, джип резко затормозил.

Задняя шина моего велосипеда завизжала и задымилась.

Тормозные колодки меняю каждый год. Задние протекторы стираются в несколько раз быстрее передних. Через два года переднюю шину ставлю на заднее колесо, заднюю — на переднее. Еще через два покупаю новые.

Стекло снова опустилось.

Давно не слышал такого искреннего смеха.

Сразу столько идиотов в одной машине.

Только что они едва не убили человека.

Что смешного?

Из окна в мою сторону летит огрызок яблока. Второй за полчаса. Не слишком ли часто?

Потеряв скорость, я привстал над седлом, уговаривая себя:

— Ну, давай, Егор! Не кормят тебя, что ли? Давай, давай.

Очень мне хотелось догнать этот джип и перебить всех до одного в салоне велосипедным насосом. Жаль, что насосы делают ныне маленькие, легкие и даже без шлангов. То ли дело прежние насосы: большие, тяжелые, похожие на раздвижные кнуты.

Из окна джипа высунулась веснушечья мордашка. Волосы трепетали подобно водорослям на перекате. Высунулась и прокартавила:

— Эй, пылесос без штанов в ночном горшке!

И джип ушел в гору, как от стоячего.

После километровой подъема начинался трехкилометровый спуск. Слегка притормаживая, я въехал в деревеньку. Сельская идиллия: дома — по обе стороны большой дороги, пропахшей городским чадом.

Впереди была водопроводная колонка. На обочине возле нее стояла маршрутка, ржавая иномарка, два пацана с колясками для фляг. Жигуленок, загрузившись пластмассовыми емкостями с водой, собирался выезжать на встречную полосу. Ему нужно было развернуться через сплошную линию, в противоположность. Водитель смотрел в мою сторону, ждал пока я проеду. Чтобы не заставлять его ждать, я отпустил тормоза.

Внезапно он выехал на дорогу и, заметив выворачивающую из-за угла встречную, резко остановился.

Я бы таким водителям на лбу знак «У» татуировал.

Справа — арык и маршрутка, слева — встречная, а прямо передо мной, поперек дороги стоят «Жигули» почтенного, доперестроечного возраста. Зажимаю заднее колесо и тут же переднее. Но меня все равно разворачивает. Асфальт у колонки мокрый.

Меня несет юзом, и правым рогом влетаю в окно.

Окно сыплется бриллиантами.

Хруст.

То ли стекло, то ли мои кости.

Перчатка набухла кровью. Все-таки они меня подловили. Если бы не рог на руле, пальцы бы срезало напрочь.

Стою потрясенный. В прямом смысле. Кровь через перчатку сочится. Плечо болит. Но ключица, кажется, не сломана. Встречная на секунду притормаживает, и восточный, хорошо откормленный человек, опустив стекло, орет на меня: «Глаза смотри, козла!» Ментальность. У них всегда виноваты велосипедисты и пешеходы. Какое вообще право имеют эти ничтожества появляться на дороге, по которой еду я на своем «мерседесе»? И губа отклячена до самых колен.

Крепкая все-таки эта машина — маунтинбайк. Рог, конечно, треснул. Руль вывернут. А так — ничего.

— Промой руку, брат, — говорит паренек, выкатывая из-под струи флягу.

Сдираю перчатку.

Ключья кожи трепещут под холодной водой, как бумага на ветру.

Подходит водитель. Достает из кармана кошелек. Из кошелька — три паке-тика пластыря. Протягивает мне.

Водитель маршрутки пожертвовал рулон туалетной бумаги.

Окружили заботой.

Я поднял над головой изрезанную о стекло руку и принялся трясти ею. У меня хорошая свертываемость крови. Даже слишком хорошая.

— На больницу поедем? — спросил водитель «Жигулей».

Я очень сердит на него. Очень. А когда ты злишься на человека, нужно сосчитать до десяти, прежде чем ответить. Сосчитав до десяти, я понял, что не готов к разговору, и принялся считать снова.

— Немой, — догадался водитель маршрутки.

— А немой разве можно ездить на велосипеде? — спросил пацан.

— Немым можно. Глухим нельзя.

(...)

— И ты его простил? — с гневным осуждением спросил Халабуда.

Он держал в руке пакет с кровавыми отпечатками пальцев и смотрел на меня, как на идиота. Того самого. С большой буквы.

Приблизительно так же смотрел и я на него. Смотрел и тряс над головой кистью.

— А что я должен был сделать?

— В ГАИ позвонить. Для чего у тебя мобильник?

— Зачем? Велосипед цел. Я жив.

— Безнаказанность — вот что губит человека.

— Какая безнаказанность? Я ему стекло высадил.

— Авария по его вине. Он обязан оплатить ремонт велосипеда и твое лечение.

— Что с него взять? Аульный парень. Сам себя наказал.

— Свидетелей не было?

— Полно. Бабушки через дорогу кумыс и вареную кукурузу продавали. Очередь за водой человек пять.

— Свидетелей у тебя не было, — успокоился Халабуда. — Все из одной деревни. В лучшем случае сказали бы: ничего не видели. А, скорее всего, обвинили бы тебя. Номер запомнил?

— Нет. Зачем?

— Амеба, — погрузился Родион Петрович и передразнил: — Зачем? Брезгливо морщась, он вскрыл окровавленный пакет.

— Послушайте, а вы давно видели Заилийского? — спросил я.

Он не счел нужным ответить.

— Несчастный старик, — продолжал я трясти рукой. — Читатели его частью вымерли, частью забыли о нем. Несколько лет он не выходит из дома. Никого, кроме дочери, не видит. Преодолейте себя, напишите ему что-нибудь хорошее. Соврите, наконец. Вы писатель, вы врать умеете. Напишите, допустим, что перечитали его старую повесть и она вам понравилась. «Серебряный дырокол», допустим. Неплохая, кстати, вещь. — Халабуда фыркнул с яростным изумлением. Раны на руке саднили. И это меня злило. — А то хлещете друг друга по щекам, как молодые. А я эти пощечины развожу. Думаете, приятно? Кому приятно быть черным гонцом.

— Тебе не понять, — ответил Халабуда неожиданно тихо. — Представь себе, у нас были принципы. Иногда они были несовместимы.

— Пацан не с нашей улицы? Почему не понять? Понимаю. Вы с какого конца яйца разбивали? С тупого? С острого?

— А по шее? — встал на дыбы Халабуда.

— У вас поднимется рука на инвалида? Пожалуйста. Я придерживаюсь принципа непротивления злу насилеи. У вас свои принципы, у него свои. И на здоровье. Нет, вы из другого пытаетесь свою копию выстругать. Зачем?

Тут у него крышу и сорвало.

— Непротивление злу насилеи, непротивление злу насилеи, — загундосил он, передразнивая меня. — Вызубрил три слова и, думаешь, Толстого знаешь? Открой третий глаз. Что, нет у тебя третьего глаза?

В ярости забегал он по заросшей даче, сбивая головой с веток червивый кандиль. С глухим стуком падали яблоки в клевер — догнывать свой век.

— Что ты понимаешь в толстовстве? — кричал он. — Понимаешь ли ты, что все наши души, душечки и душонки составляют одну вселенскую душу — Бога?

— Спасибо, — откликнулся я, — никто еще не называл меня Богом.

— Да ты не то, что одна миллиардная, ты одна от бесконечности этой души, практически ноль, — поставил меня на место Родион Петрович. — Твоя прямая выгода слить свою микроскопическую душу с душами всех людей. В любви! Но беда в том, что большинство душ принадлежит таким же балбесам, как ты, иначе все бы понимали, что любая война — самоубийство, любая война — против Бога.

— Как и любая ссора, — смиренно согласился я.

Вот ни за что бы не обвинил этого старого вурдалака в таком интеллигентном грехе, как толстовство.

— Послушайте, мы с вами современные люди, — сказал я задушевно, но Родион Петрович яростно прервал меня:

— Я не заслуживаю такого оскорбления!

Этот человек реагировал не на слова собеседника, а на скрытые смыслы, заключенные в словах. На невидимую подводную часть айсберга. На мысли. Вылущивал скрытые смыслы из скорлупы слов.

Надо отдать ему должное, он улавливал малейшую фальш, и это приводило его в бешенство. Он полагал, что фальшивящий человек считает его дураком. В любом притворстве заключалось оскорбление. Как бы от удара тока содрогалось его большое тощее тело. Он тарачил серые глаза, глотал, как астматик, воздух и — взрывался.

Переждав извержение яростной проповеди об истинном смысле непротivления злу насилием, все так же потряхивая рукой, я сказал:

— Все это занимательно. Но давайте вернемся к двум нашим баранам. Знаете, что я о вас думаю без всяких философий? Я думаю — вы два старых придурка. Вам пора сливаться со вселенской душой, а вы размахиваете деревянными сабельками из-за пустяков, о которых давно сами забыли. Вот скажите, из-за чего?

Халабуда, выпучив изумленные очи, молчал, пораженный моим хамством.

— В нашем провинциальном городе вы последние, кто еще сносно способен изъясняться на русском литературном языке. И вместо того чтобы на этом прекрасном языке создавать нечто, вы этим языком ругаетесь, как два бомжа у мусорного контейнера. А между тем ни у него, ни у вас не осталось человека ближе. Вы просто два пацана. Никто уже давно не играет в ваши игры. Вы заигрались.

В моих словах не было скрытых смыслов, и, в бешенстве тарача глаза, Родион Петрович не знал, что отвечать. Он пыжился, пыжился, готовясь к яростной отповеди, но вдруг оскалил желтые зубы и расхохотался.

Смеялся он неожиданно красиво.

— Нет, — сказал он, — в любви ему я объясняться не буду.

— И не надо, — поддержал его я. — Почему бы вам просто не сходить в гости?

— Мы с Эдиком встретимся только на Старом кладбище. Не важно кто кого похоронит первым. Наши могилы будут стоять напротив. И мы будем ревниво подсматривать друг за другом. Подсчитывать, сколько у кого цветов у надгробья.

Я с грустью подумал, что цветов принесут немного.

И это наконец-то примирит их.

— А вы знаете, по-моему, у Заилийского рак, — сказал я.

Голова Родиона Петровича откинулась, как от пощечины, и лицо стало таким жалким, что мне стыдно было смотреть ему в глаза.

Я был прав: никого ближе этого старого врага Чалдона-Заилийского у Халабуды не осталось.

— Что говорят врачи?

— Что могут сказать врачи? Врачи говорят — каждый доживает до своего рака.

— Да, врачи умеют утешать. Что бы ему передать? Яблок, что ли? Хотя зачем ему яблоки? Они вызовут у него метеоризм. Старикам сыроядение противопоказано.

— Дело не в яблоках.

— Ну, иди, рви. Только сколько увезешь их в своем рюкзаке.

— Дело не в количестве.

— Ну да, — сказал Родионов отрешенно. — Может быть, правда — черкнуть ему что-нибудь нейтральное.

— Только, пожалуйста, никаких намеков на врачебную тайну. От него скрывают диагноз.

— Дай-ка рюкзак, инвалид.

Есть яблоки раздора, а есть яблоки примирения. Длинной палкой с прикрепленной к концу пластмассовой бутылкой, у которой было вырезано дно, Халабуда снимал с верхушек апорт для Чалдона-Заилийского.

Давно я так не ликовал. Мне удалось прекратить многолетнюю вражду.

Почти.

Великое дело — вовремя соврать.

Но все погубила моя бестактность.

Точнее, любопытство.

В большинстве случаев это одно и то же.

Мне вдруг захотелось узнать, что написал Родион Петрович в статье, положившей начало вражде.

Загрибок у него встал дыбом:

— Это кто тебе сказал? Это он тебе сказал?

И отшвырнул палку, не вытащив из пластмассовой емкости яблоко.

Яблоко раздора покатило по дорожке, потревожив дремавшего пса.

Я запаниковал. Таким свирепым и желчным мне не доводилось видеть старого отшельника.

— Что вы, что вы! Мы с ним ни разу не беседовали. Он со мной только здороваются.

— Это на него похоже. Он умеет держаться с достоинством, оскорбляющим достоинство других. Его надменности хватило бы на всех классиков разом.

— Он не надменный, он глухой, — попытался я защитить Чалдона-Заилийского.

Но Халабуда меня не слушал:

— У него никогда не было недостатков. Я тебе так скажу: никогда не доверяй человеку, у которого нет недостатков. Это или девушка, на которой собираешься жениться, или покойник, или шпион. В лучшем случае — литературный герой. Так все и было. Только статью написал не я, а он. Ты не знаешь, что такое доверить первую рукопись чужому человеку? Все равно что свою девушку оставить на ночь в чужом доме. Вызывает он меня для разговора. Вхожу. И чувствую себя нехорошо, как если бы на мне штанов нет. Отчитал, как директор школы второгодника. Наставил на путь истинный. Ты где, спрашивает, учишься? На инженера-сантехника? Прекрасная профессия. Держись за нее. Много пользы принесешь человечеству. А потом появилась эта статья о самоуверенном самозванце. Интересно, а его кто короновал?

Между тем из Мокрой Щели выползла лохматая туча, и, как в древних трагедиях, небеса в нужный момент разорвала близкая молния. Громыкнуло. Зазвенел бидон, надвинутый на сухой сук. По всему дачному массиву посыпались перезревшие яблоки. Разразился такой ливень, что показалось, будто дачи погрузились на дно прозрачного озера.

— Куда ты в дождь собрался? Пережди.

— А смысл? Все равно уже вымок.

Никогда не упускаю случая прокатиться по дождю.

Запредельнее наслаждения представить себе не могу.

Я вывел велосипед за ворота и, закрывая их, оглянулся.

Халабуда стоял под вселенским душем. Запрокинув голову, он втирал струи дождя в седой хохолок и фыркал.

Дачная дорога превратилась в горный ручей. И я пожалел, что не остался. Но делать было нечего. Плечо под раму и по колено в мутном потоке пошел к шоссе.

— Яблоки! Яблоки забыл!

Высоко поднимая ноги, прикрывшись пакетом с «Золотым превосходным», практически голый Халабуда догонял меня. Впереди него плыл его старый шлепанец.

Я перехватил беглеца и ждал хозяина.

Уложив под дождем яблоки в мой рюкзак, Родион Петрович достал из заднего кармана шорт маленькую статуэтку. Нэцке. Толстенький человечек прижимает к животу большого карпа.

— Передашь ему. Он поймет.

И побрел к своей хижине, преодолевая сопротивление мутного потока, скрестив руки и сжав плечи.

(...)

Ливень. Гроза. Все попрятались. Птицы, мыши, люди. В дома. В машины. Под зонты. Под застрехи. В норы.

Не спрятались от дождя только я и дождевые черви.

Мокрый, как пес, качу, ничем не прикрытый, сквозь водопад. Тугой гул шин, разрезающих лужи на асфальте.

Брызги из-под заднего колеса закручиваются хвостом лайки и смешиваются с брызгами из-под переднего.

Я весь, как перемещающийся в пространстве фонтан, среди других фонтанов.

Хаос брызг. Дождь хлещет не только сверху, но и с боков, снизу. Влажный шорох тысяч автомобильных шин.

В дождь мне нравятся даже машины.

Темное, кривое зеркало асфальта, мокрые, прилипшие к телу одежды, мокрые кроссовки и волны внутреннего тепла. Ты, как летящая сквозь хаос планета, внутри которой огненное ядро. Особенно горячо спине под мокрым рюкзаком. И изрезанной о стекла руке под влажным бинтом.

Как райское блаженство маячит впереди горячий душ.

Велосипед, несомненно, философия.

Что такое, собственно, философия для человека, который не занимается философией?

Образ жизни.

Философия велосипеда — хрупкость существования, незащищенность.

Стекланный человек со стекланным сердцем на стекланным велосипеде.

Если к этому добавить скорость, рождается восторг.

Дикий, как сама природа.

(...)

Чалдон-Заилийский крутил в маленьких ручках толстенького человечка, обнимающего толстого карпа, и улыбался.

Я ел халабудовское яблоко и смотрел на живого классика.

Смотреть на писателя было приятно. Тем более что его вставная челюсть была прикрыта салфеткой.

Почти так же приятно, как вертеть в руках нэцке. Я знаю, потому что не сразу отвез брелок. Весь вечер я осознал его пальцами здоровой руки, разглядывал потертости, темные углубления и морщины. Иероглиф на ступне. Человек, вырезавший скульптурку, был, несомненно, талантлив. Но до совершенства ее довело время. И множество человеческих рук два века в отрешенной задумчивости перекатывающих ее в пальцах, как речной камушек.

— Когда-то я просил его продать эту вещицу, — детский шепелявый голос Чалдона-Заилийского едва перекрыл шелест листы за окном, — предлагал хорошие деньги. Отказал. Эта вещица о многом напоминает. Знаете, юноша, чтобы заняться Литературой, нужно принести в жертву самого себя. Как агнца. Но очень часто человек приносит себя в жертву, а жертва напрасна. Он пытается творить, создать нечто великое, а получается пошлость. И человек от бессилия начинает бесноваться. Иногда это беснование выливается в книгу. Первую и последнюю. Иногда его и на это не хватает. И он просто беснуется. Пусть вас не прельщает этот путь. Не стоит приносить себя в жертву. Он ничего не передал?

Я прожевал яблоко, проглотил и, набрав в легкие воздуха, проорал:

— Он сказал: «Он поймет»!

С тугим на ухо человеком невозможно поговорить по душам.

Писатель смотрел на человечка с карпом, я смотрел на писателя.

Чалдон-Заилийский сам был похож на ожившее нэцке. Детское умиление на старом, но чистом лице. «Цацка» — так, должно быть, звучит в народной транскрипции «нэцке».

Александра принесла чай отцу. В нафталинном раю запахло весенним садом.

— Чего так кричишь? Он глухой, но не до такой степени.

— Он так и сказал? — переспросил Чалдон-Заилийский.

— Да! — снова заорал я. — Еще он сказал — перечитал «Серебряный дырокол»! «Серебряный дырокол»! Сказал — понравилось!

— Врать нехорошо, — тихо усовестила меня Александра.

А ее отец переспросил, не отрывая взгляд от скульптурки:

— «Серебряный дырокол»?

— Забыл, — прокомментировала Александра.

Да, процесс стирания текстов зашел слишком далеко.

— Украл? — спросила Александра. Посмотрела пронизательным взглядом учительницы начальных классов и зашла с другой стороны. — Что ты ему наплел?

— А что я ему мог наплести?

— Только мне не надо в уши дуть. Чтобы этот бешеный Халабуда да ни с того, ни с сего подарил отцу эту безделушку?!

— Плохо вы думаете о людях, Александра Эдуардовна.

— Он подарил ее тебе? Угадала?

— А почему Халабуда не мог подарить эту безделушку своему старому знакомому?

— Не такая уж это безделушка. Неужели тебе удалось примирить их? — с робкой надеждой сказала Александра.

Но едва я скромно потупил глаза, как Чалдон-Заилийский протянул нэцке и сказал сухо:

— Верните ему. Скажите — извинения не приняты.

При этом было видно, как жаль ему возвращать пузатого человечка, обнимающего большую рыбу.

— Александра Эдуардовна, держите меня. Я сейчас вашему батюшке подзатыльник влеплю, — сказал я сквозь зубы, сложив руки на груди. — Он еще упрямее психа Халабуды. Это поколение стариков-задир сильно меня утомляет.

Пальцы Чалдона-Заилийского подрагивали. Карп вырывался из рук толстенького человечка. Человечек пыхтел.

— Мне! Кажется! У Халабуды! Рак! — с мстительной яростью заорал я. — Но! Это! Между нами!

Этот прием действовал безотказно. Стакан с горячим чаем выпал из серебряного подстаканника.

Чалдон-Заилийский проследил взглядом полет серебряной ложечки и некоторое время смотрел, как она тускло мерцает на темном парящим пятне красного паласа.

— Боже! Он же совсем один в своих горах. — Александра опустилась на колени, подобрала ложку и полезла под стол за укатившимся стаканом.

Я имел удовольствие заметить: у дочери великого писателя довольно приятные формы. Мой старший брат многое потерял, отвергнув ее любовь.

Из-под стола донеслось сострадательно и гулко:

— Это все объясняет. Бедный, бедный злюка Халабуда. У него совсем не осталось друзей. Случится что, его никто и не хватится, пока не протухнет.

— Я не сказал, что у него рак. Я сказал, мне кажется, что у него рак, — испугался я собственной выдумки.

— Какая разница?

— Я не врач.

— А если ты не врач, что же ты диагнозы ставишь, — рассердилась Александра, вылезая из-под стола.

— Извините, — прервал нашу беседу Чалдон-Заилийский, — мне надо работать.

Рука его тряслась от переутомления.

Но я и не подумал взять нэцке.

Работать ему нужно. Черпать авоськой воду из колодца. А впрочем, он не одинок. Почти все люди занимаются тем же самым. Конечно, они не стирают написанное. Их путь еще совершеннее. Они просто не записывают свои мысли. Незаписанные мысли легче стереть из памяти. Очень многие вообще не думают. А если бы по какой-то причине были стерты «Война и мир», «Мертвые души», «Идиот»? Несомненно, мир был бы другим. Несомненно также, что были бы написаны или уничтожены великие книги, которые бы изменили мир. Или хотя бы наше представление о мире.

Чалдону-Заилийскому не терпелось заняться творчеством, но он никак не мог оторвать взгляд от моих велотрусов. Они его смущали и притягивали. Кабинетному затворнику редко приходилось видеть взрослого человека в одежде для дошколят.

Отвергнутая любовь старшего брата взяла из ослабевшей руки старика нэцке и сердито сунула ее мне.

С улицы в окно кабинета заглядывала любопытная детская мордашка.

На месте Александры Эдуардовны я бы соорудил перед окном небольшой загон и за умеренную плату запускал бы в него любопытных, желающих посмотреть, как великий писатель пишет бессмертные строки и тут же их стирает.

Я привычным движением спрятал скульптурку в карман за спину.

(...)

Качу под уклон по долгому виражу улицы Шаляпина.

Вдоль арыка — одна к одной, елочкой, выставив тараканьи зады, стоят машины. Сотни машин.

Спят.

Солнце только что выкатило на пологий склон пика Лавинного. Дорога рябит от теней деревьев.

Непривычно тихо в городе.

Гудят мои шины. Звук взлета.

На душе, как в деревенской горнице на Пасху, — благодать. В душе моей поет утренний жаворонок.

Отвозить нэцке в Мокрую Щель я не собирался.

Возвращать подарок — верх неприличия. Оскорбление. Зачем травмировать и без того травмированную психику Халабуды. Веская причина? Веская.

Но хорош мухомор. Неужели он не расслышал о недуге своего врага? Даже, если и соврал, какая разница?

Нет, возвращать человечка с карпом Халабуде я не буду. Он мне самому нравится. Тоже веская причина.

Пусть полежит пока в верхнем ящичке бюро. В позапрошлом веке.

Буду перед сном перекачивать в пальцах, гладить и о чем-нибудь размышлять.

А Халабуде привезу вечное перо, которое сострадательная Александра умыкнула со стола своего жестокосердного отца.

Скажу: отдарок.

Спросит, что передал, отвечу: спасибо.

Врать и лжесвидетельствовать надо лаконично, без подробностей, тогда поверят.

Откажется от подарка — вечное перо будет моим.

Но отчего-то без особых на то причин я был уверен, что примирю стариков.

Жужжат шины, поет жаворонком душа.

Между тем автомобильная елочка выполаживается, и машины вытягиваются в колонну.

Внезапно в одной из спящих машин распаивается дверца.

Прямо перед моим колесом.

И я со всей дури, улыбаясь, не успев ни отвернуть, ни притормозить, как шайба в ловушку вратаря, влетаю в эту дверцу.

Хруст и скрежет.

Хрустят мой кости. Скрежещет дверца, вырванная «с мясом».

Меня выбрасывает из седла. Лечу вверх ногами. Приземляюсь рюкзаком на асфальт. Затылком чувствую тупой удар. Трещит шлем. Планета дважды перекачивается через меня. Улица раскачивается и кружится.

С противным скрежетом скользит по уклону автомобильная дверца.

Велосипед...

От велосипеда осталась лишь светлая память.

Торчит из арыка искореженное колесо.

Да и от меня прежнего мало что осталось.

Голова гудит треснувшим колоколом. Голова набита тяжелым, кровавым мраком и толченым стеклом. Чувствую множество порезов, ссадин, ушибов переломов. И невероятное равнодушие.

Вскакиваю на ноги и падаю в небытие.

(...)

Мои ступни замечает песок. Песок в моих волосах, в одежде, на зубах, в глазах.

Песчинки колют лицо, все тело. Снаружи и изнутри. Поют комариную песню.

Я стою на сухой, совершенно безжизненной Земле, подвергшейся глобальному опустыниванию.

Сквозь красноватую дымку песчаной бури проглядывают пыльные развалины города.

Ни одного деревца.

Ни травинки.

Такыр.

Над руслом высохшей реки, над песчаной поземкой торчит буквой «т» мостовой бык.

А на нем, высоко над землей, два героических раздолбая яростно рубятся ржавыми мечами.

За высокие идеалы.

За свободу.

За демократию.

Социализм с человеческим лицом. Капитализм с человеческой задницей.

Права человека.

Гуманистические ценности.

Хрен знает за что.

Ради кого, раздолбай?

На всей планете ни одного живого существа. Ни паучка.

Никого, кроме двух борцов за идеалы, и меня, умирающего от жажды наблюдателя.

— Эй, Аменхотеп, к тебе пришли.

Открываю глаза и попадаю в новую реальность. В мир, который никогда не видел прежде.

Надо мной микеланджеловским Давидом навис Ветошкин.

У меня никогда не повернется язык назвать его писателем.

У писателя должно быть золотое пенсне, борода, осанка, интеллект в глазах. На крайний случай — галстук. И обязательно тросточка. А этот — велосипедные рейтузы, потная майка, ссадины на коленях и локтях. Очки на затылке. Лысинка типа «гуляет, но с умом». Лоб гармошкой и глаза круглые. В отличие от некоторых в детстве у него было детство. И оно затянулось. Кстати, а если бы у Чехова в детстве было детство? Получился бы из него Чехов? У Ветошкина

другая беда: он никогда не повзрослеет. И однажды, став стариком, минув стадию взрослости, этот большой ребенок сильно удивится. Мне ли это не знать. Мы с ним оба страдаем синдромом нескончаемого детства.

— Ты Миленького знаешь? Ну, привет! Как это ты не знаешь Миленького? Скажи еще, что раньше ничего не ломал. Тебе обязательно нужно показаться Миленькому. Эти коновалы тебя залечат. А Миленький — спортивный врач. Миленький вылечит. Хотя вряд ли тебе и Миленький поможет. — Ветошкин пощелкал пальцами у моего носа. — Ты меня видишь? Открой третий глаз. Два у тебя навсегда заплыли.

Как может складно писать свои повести этот косноязычный человек? Просто удивительно. Стоит и путается в мыслях, как рыбак в собственных сетях.

— Ничего, старик. Одна треть от тебя еще осталась, — утешает меня Ветошкин. — А что это тебе ухо задом наперед пришили? Ты мне не веришь? Да ты, брат, атеист. Что молчишь? Ах, челюсть сломана. Это хорошо. А то ведь слова не дашь сказать.

Ничего, ничего. Издевайся. И ты когда-нибудь что-нибудь сломаешь. Вот тогда и я отдам долг милосердия.

Не всегда он бывает таким идиотом. Иногда просто дурачится.

Прошлой осенью мы с ним ремонтировали велосипед во дворе, и пришла Венера Лирохвост с пустяковой просьбой — подписать воззвание к Президенту. Да, в нашей стране президент и управдом пишутся с большой буквы. Мы уважаем начальство. Мы верим в начальство. И по малейшему поводу пишем открытые письма Президенту. Президенту с большой буквы, потому что у нас очень много президентов с маленькой буквы. Любой начальник у нас президент.

Не письмо, а крик отчаявшейся интеллигенции: «Спасите писателей, спасите культуру!»

Ветошкин смазывал втулку и сказал, что не может подписать письмо, потому что у него руки в солидоле.

Поэтесса Венера Лирохвост, очень похожая на свой изысканный псевдоним, сказала: так вымой руки.

— Пожалуй, ты права — я умываю руки. Пусть подышают, — уцепился за слово Ветошкин.

— Это не смешно, — обиделась поэтесса, озабоченная падением культуры.

А Ветошкин спросил ее:

— Тебя кто-нибудь принуждает писать стихи? Президент, допустим? Правительство? Государство? Народ? Соседи по подъезду? Бабушки на скамейке? Лично меня никто не принуждает. Я занимаюсь этим, как и любовью, для собственного удовольствия. С какой стати я буду просить президента помочь мне заниматься любовью?

— Гриша, перестань дурачиться, — перешла на прозу поэтесса Венера Лирохвост.

— Объясни, что такое — спасти писателей? Как я понимаю, помочь материально? Другими словами, ты принуждаешь меня к нищенству? Я подпишу. С одним условием. Озаглавьте это прошение соответственно: «Подайте на пропитание писателям, чьи книги не пользуются спросом».

И Ветошкин, закатив глаза и вытянув измазанную в солидоле руку, загундосил:

Я родственник графа Толстого,  
Незаконнорожденный сын,  
Подайте, подайте, кто может,  
В живых я остался один.

— Перестань паясничать, — прервала эту душераздирающую арию Х.

— А, по-моему, государство не обязано спасать писателей, кроме, конечно, писателей-инвалидов. Государство обязано спасать читателей.

Мысль эта понравилась Ветошкину. Он долго развивал ее и, в конце концов, вызвался переделать письмо, озаглавив его: «Господин Президент, спасите вымирающих читателей!» Рассуждения его сводились к следующему. Президент, если внимательно почитать Конституцию, не обязан заботиться о писателях, если, конечно, в его намерения не входит подкуп. Но он обязан заботиться о читателях, то есть о народе, который, собственно, для этого и выбирал его. И это записано в Конституции. Государство обязано давать читателю качественное образование, медицинское обслуживание, обеспечивать высокооплачиваемой работой. И вот тогда высокообразованный, здоровый, благополучный читатель, располагая свободным временем, сам выберет каких писателей ему спасти.

По-моему, мысль здравая, но поэтесса сильно расстроилась:

— Так тебя не волнует засилие бездуховности на телевидении, в прессе, на книжных полках? — удивилась она. — Я о тебе была лучшего мнения.

И, обидевшись, пошла прочь. В серый ноябрьский туман. Вся в черном — шляпа-зонтик, платье, чулки, туфли. Вся. И только лицо белое, а под глазами синие тени ночного вдохновения. Прекрасная, как юная смерть. На каблучке-шпильке — золотой лист клена. И этот лист осветил изнутри туман, запутавшийся в старых деревьях старого двора.

Просто ожившее стихотворение.

Мы долго любовались этим листочком, нанизанным на каблук поэтессы.

— По-моему, ты поступил неинтеллигентно, — сказал я.

У него запел мобильник.

Ветошкин посмотрел на номер, нахмурился и сказал, минуя приветствия:

— Что же ты зассал, Вася?.. А как я должен после всего с тобой разговаривать?.. Как с редактором? Ни как с человеком?.. Ах, вот как! Поставил ты меня, Вася, в трудное положение. Как христианин я должен тебя любить. Но как христианин же я обязан говорить тебе правду. Понимаешь, Вася, нельзя так усердно лизать задницу вышестоящему господину. Вот ты лижешь, лижешь, и вдруг облизанной тобой заднице дают пинка, а на ее месте появляется новая задница, ни разу тобой не лизанная... Это не оскорбление. Это добрый совет напоследок. Совет простой: не ссы... Ты думаешь правду можно говорить только по пьянке? Напрасно так думаешь... Ну вот, бросил трубку.

И я понял, что с Венерой Лирохвост он поступил очень даже интеллигентно.

— Позволь, я оторву ухо и попрошу хирурга пришить его заново, — проявлял заботу Ветошкин, поощряемый одобрительными репликами моих сопалатников.

Он забил мою тумбочку съестными припасами, а, уходя, положил на койку журнал.

— Побегу. А то велосипед угонят. Почитай. От этого у тебя кости быстрее сростутся.

Лучше бы я не открывал журнал.

Лучше бы я еще раз врезался на велосипеде в дверцу автомобиля.

Я довольно долго приглядывался к людям. И, смею надеется, обладаю довольно полными знаниями о человеке. Знания эти можно свести к одной фразе: «В человеке всегда можно ошибиться».

Все-таки Ветошкин оказался писателем.

В журнале была напечатана его повесть. Повесть о велосипеде. Точнее, история, рассказанная велосипедом о своем хозяине.

Этот мерзавец Ветошкин залез в мой огород и спер мою тыкву.

Больше в моем огороде ничего не росло.

Я так долго ее растил, а он перелез через забор и срезал ее, недозревшую.

Никогда, никогда не дружите с писателями. Не делитесь с ними своими мыслями и наблюдениями, не раскрывайте душу.

Доверять можно только велосипеду. Он никогда не сопреет твои мысли.

Впрочем, он мой соавтор.

Не Ветошкин. Велосипед.

Когда Ветошкин навестил меня снова, я его оскорбил:

— Ветошкин, я думал, ты человек, а ты писатель.

Короче говоря, объяснил, что нельзя тырить тыквы с чужих огородов.

Ветошкина очень удивила моя дикость.

— Старик, — сказал он с покровительственной снисходительностью, — ты думаешь — все, что написали Гоголь, Толстой, Чехов, написали Гоголь, Толстой, Чехов? Все, что написали Гоголь, Толстой, Чехов, написало поколение Гоголя, Толстого, Чехова. Я бы сказал, человечество.

Не понимаешь?

Кто такой Гомер? Что от него осталось, кроме пяти звуков?

Люди растворяются без осадка в поколении, поколения сливаются в человечество. В одну общую душу. Ну, понял?

Какая разница, кто и что написал? При чем здесь фамилия, старик?

Это написало поколение, к которому мы с тобой имеем несчастье принадлежать. Это написало человечество. Бельмейда?

— Отчего же ты не подписал стыренные у меня мысли моим именем?

— Старик, нельзя же столь вульгарно понимать философские обобщения. Подожди немного, и мы сольемся в одну общую душу.

— Представляю, скольких женщин ты заболтал.

Ветошкин похлопал меня по загипсованной ноге и сказал смиренным, всепрощающим тоном невинно оклеветанного праведника:

— Я не держу на тебя зла, старик. Более того, когда эта повесть выйдет отдельной книгой, я посвящу ее тебе.

— Напиши: «Посвящаю Егору Продажному, у которого я украл эту повесть».

— А что? Неплохо звучит.

(...)

— Нет, нет, — сказал сторож, — здесь все-таки кладбище, а ты на велосипеде. Не положено.

На одной ноге сапог, на другой ботинок.

— Я не поеду. Я его за рога поведу.

— Нет, нет. Все ж таки кладбище. Неприлично. Не положено.

— Что такого неприличного в велосипеде? Кем не положено?

Каждый мелкий служака при калитке полагает, что он призван управлять неразумным населением, наставлять, вразумлять. Правда, у этой строгости может быть и другая причина. Нет, милый дед, не дам я тебе денежку. Я взятки не даю. Не потому, что такой принципиальный. Денежки у меня нет.

— Хорошо. Можно, я оставлю его у вас? Присмотрите?

— Не положено. Поставь за оградой.

— Уведут.

— Да кому твой поцарапанный велик нужен?

— Велик? Да вы знаете, сколько он стоит?

— Уведут, не уведут — это нас не касается.

И сторож, скрипя протезом, пошел к скамейке.

— Послушай, — перешел я на равноправное «ты», — чем отличается протез от велосипеда?

Сторож насторожился. Тавтология, но что поделаешь. Он действительно насторожился.

— А ничем не отличается, — ответил я за него, — протез — механизм, способствующий движению, и велосипед — механизм. Почему тебе на протезе можно ходить по кладбищу, а мне с велосипедом не положено?

— Ты это, — сказал сторож внушительно, — не умничай. Иди давай. Каждый умничает. Иди, иди. Совсем совесть потеряли. В трусах на кладбище прутся.

Поскольку сторож не сказал, куда мне идти, я истолковал его слова в свою пользу и, поблагодарив, повел велосипед по аллее вдоль могил.

Честное это место — кладбище.

Последняя точка.

Что может быть честнее последней точки?

Ветошкин, заканчивая повесть, выпивает рюмку коньяку из счастливой бутылки. Он опустошил ее наполовину. В ней осталось еще на десять повестей.

У меня будет своя традиция. Я буду приходить на кладбище. Проверить вещь последней точкой.

Кажется, великий замысел.

Прошел через кладбище.

А не так уж он и велик на фоне этих замшелых крестов Старого кладбища.

Душа просеивается через сумрачное сито. Все мелкое — в отсеив. А стоит ли относить это в журнал или издательство?

Я долго бродил среди могил, большей частью забытых, в поисках последнего жилища Эдуарда Чалдона-Заилийского. Но так и не нашел. А возвращаться ко входу и спрашивать сторожа мне почему-то не хотелось.

Центральная аллея, похожая на тенистую улицу южного городка вела все дальше и дальше. Внезапно кладбище кончилось. Оно не было огорожено. Его окружали заброшенные сады, неумоимо истребляемые под строительство загородных дворцов. Место вечного упокоения занимало плоскую вершину холма. Господствующую высоту. В просветах крестов и деревьев просматривались город, горы и дачи.

Значителен был этот шаг, отделяющий кладбище от заброшенного сада.

Я поднялся чуть выше и привязал гамак к стволам двух густо цветущих яблонь.

Я лежал в гамаке рядом со Старым кладбищем. Смотрел на жужжащее облако золотых пчел, повторяющих женственную округлость цветущих яблок. Кипень — хорошо сказано. Запах яблонь, выросших рядом с мертвым городом, сводил с ума странной надеждой на будущую счастливую жизнь. Я весь был наполнен светом прикладбищенских яблонь, светом снежных пиков, светом любви ко всему, что видели мои глаза. Райская музыка жужжащего роя резонировала в моей душе, наполненной любовью, печалью и свободой. Справа от меня далеко внизу в майской дымке зеленой листвы сиял золотой купол церкви, справа доносился напев муллы, пик Лавинный белым копьем вонзался в чистое небо.

Я тихо раскачивался в гамаке и думал не о Чалдоне-Заилийском, могилу которого не нашел, а о себе. Но думал отрешенно, как о постороннем, временно живущем существе.

Вот его левая, в двух местах переломанная нога. Если захочу, он пошевелит пальцами. Вот правая. Если захочу... Но шевелить пальцами лень. Кажется, гудят не пчелы, гудят натруженные долгим подъемом к Старому кладбищу отвыкшие от нагрузок ноги. Обидно и приятно думать, что я — разумное существо с планеты Земля — никому не нужен. Вместе с этими уставшими ногами. Когда-то я был винтиком в большой машине. И это должно было меня оскорблять. И оскорбляло. Ты винтик, ты болтик. Конечно, обидно. Но я был винтиком большой машины. И я, оскорбленный, чувствовал эту машину. Эта большая машина дополняла меня, винтика. Теперь я просто винтик. Сам по себе. Без машины. Свободный от машины винтик. И кому ты нужен? Бойтесь метафор. Не верьте метафорам. Если, конечно, вы не старшеклассница, записывающая в свой альбом поэтический бред. Все мы винтики. А раз так, то что лучше — быть винтиком сложной, мощно работающей машины, или ржаветь без пользы. Но где эта машина? Одно дело быть винтиком в межпланетном корабле, другое дело — в бульдозере, который выворачивает с корнями цветущие яблони. Я винтик. Мое лицо, имя, дата рождения, привычки, особенности характера не имеют значения.

Сумасшедший писатель пишет мою историю простым карандашом, на противоположном конце которого — ластик. Напишет, прочтает, улыбнется и сотрет. И примется за другую историю.

Золотое жужжание пчел.

Растворяюсь в запахе яблонь.

Мое исчезновение никто не заметит. Ни друзья, которых, собственно, нет, ни малочисленные знакомые, которым нет до меня дела.

Народы исчезают без следа.

И кто о них жалеет?

Как говорит Ветошкин, если бы я одарил каждого своего читателя плиткой горького московского шоколада, пожалуй бы, и не разорился.

Сам Ветошкин! А что я? Меня как бы уже нет.

Сколько бы в доказательство обратного я не шевелил пальцами.

Кстати, пора подстричь ногти.

Но, черт возьми, как приятно думать о своей ненужности и обреченности, раскачиваясь в гамаке под жужжащей яблоней, растущей рядом со Старым кладбищем.

Здесь все дышит свободой, покоем и волей. И так хочется верить в одну

общую вселенскую душу. Слиться с ней, да, божественной, бессмертной, да, в этом смысл. Я верю в общую душу. Это красиво, как цветущая яблоня в жужжащем облаке пчел. А все, что красиво, правда.

И я сливаюсь с жужжанием пчелиного роя, с запахом яблонь, с прохладой кладбища, и маленькая душа моя растворяется в бесконечной благодати.

(...)

Гамак сотрясался. Пчелы в ужасе отшатнулись от яблони. Словно отлетела ее душа. Белые лепестки посыпались в темный провал.

Покойный писатель Чалдон-Заилийский вместе с соседями-мертвецами колотил пятками в земную кору.

Сползая по стволу яблони, дребезжал горный велосипед, мое искалеченное, исцарапанное орудие познания мира.

Если вам доведется испытать большое землетрясение, пусть это случится на кладбище.

Кладбище — самое безопасное место при землетрясениях.

И при других бедствиях тоже.

Веду велосипед по растрескавшемуся асфальту центральной аллеи Старого кладбища мимо надгробий и могильных оград.

Их не впечатлила нервная дрожь планеты.

Обгоняю женщину в трауре. Черная шляпа. Черное платье почти до земли. И поношенные кроссовки.

— Егор? Ты что здесь делаешь?

Траур придает женщинам невероятно благородный и аристократический вид.

— Хотел проведать вашего батюшку.

— Серьезная причина для землетрясения, — отвечает она. — Вчера мне сон приснился. Будто он диктует мне стихи. Я тороплюсь, записываю в блокнот. А бумага осыпается песком. Я ему говорю: «Подожди, подожди, не успеваю». А он не слышит, диктует. И стихи такие. Потрясающие стихи. Просыпаюсь — и ни строчки не вспомнила.

Сторож, скрипя протезом, с озабоченным видом кружит возле упавших ворот.

Идем вниз к автобусной остановке, держимся за велосипед. Я за руль, она за сиденье. Молчим. О чем говорить, когда идешь с кладбища?

— Баллов пять было, — говорю я.

— Может быть, и шесть, — отвечает она.

— Возможны разрушения.

— В твоей хрущобе и без землетрясения страшно жить. Вся арматура, поди, прогнила. Но ты не волнуйся. Городские власти позаботились о нас. В районе Мокрой Щели выделили землю. Ее хватит на триста тысяч захоронений.

— Приятно, когда о тебе заботятся.

Такое чувство, словно только что прочитал книгу. Прочитал и тупо смотришь в окно, не отрешившись от прочитанного. Я пережил уже пять землетрясений. Всякий раз они заставляли меня или в ванной, или в туалете. Пару раз я их просто проспал. Землетрясение на кладбище — первый раз. Такое чувство, словно воскрес и начинаешь новую жизнь.

— Если твой дом рухнул, приходи. Я привыкла прислуживать сумасшедшим, — говорит Александра, когда мы подходим к остановке.

— Боюсь.

— Чего ты боишься?

— Боюсь, что мой дом не рухнул. Пока.

— Куда?

— Поеду к Родиону Петровичу Халабуде. Он еще не знает, что его главного недруга нет. Расстроится. Ужасно расстроится. Передам вечное перо. Скажу — завещал.

— Расстроится? — переспросила она и, подумав, согласилась: — Расстроится. Он в таком возрасте, когда потерять врага или друга одинаково печально.

Я смотрел в спину женщины в черном, идущей к маршрутке. И по спине было видно, что ей некуда спешить, что ее никто не ждет, кроме одинокой старости. Смотрел и не мог отвести глаз от этих старых кроссовок.

Чтобы заглушить в себе жалость, я оседлал велосипед и принялся раскручивать тяжелую передачу в гору. Верное средство от всех печалей. Я давил на педали изо всех сил, но заглушить в себе эту жалость не мог.

Я прибавлял и прибавлял, пока в легких не зажгло, а душа вернулась в равновесие.

Я постоял перед воротами дачи Халабуды.

Отдышался.

Перечитал пушкинские строки.

Развернул велосипед и покатил назад.

Кто уполномочил меня быть черным гонцом?

Зачем сообщать человеку, что ему больше некому ничего доказывать?

Что жизнь его теряет всякий смысл.

Господи, продли жизнь моих друзей и недругов.

В конце концов, мне нужно было узнать, устоял ли мой дом.

Владимир Салимон

## На исходе шестого дня

\* \* \*

Время и место, хотя и не знаю,  
кто написал стихотворные строчки,  
определяю,  
без труда угадаю  
имя того, кто родился в сорочке.  
Так как поэтов не так уж и много,  
чтоб нерешенной осталась задачка.

Круто спускается к морю дорога,  
камнем груженная, брошена тачка.  
Стены вокруг соловьиного сада  
больше никто возводить не желает.  
Возле воды,  
там, где веет прохлада,  
дремлют развалины Поэтограда.

\* \* \*

Луна светила с левой стороны,  
но было ясно, что жениться нужно,  
поскольку человеку без жены  
в преклонном возрасте куда как скучно.

Вдоль берега реки дорога шла,  
которую снежком припорошило.  
Вода в реке теперь уж не текла,  
а, будто бы от ужаса, застыла.

Чтоб знать, как стынет в жилах кровь моя,  
вообразил себе я для сравненья —  
зубную пасту, пену для бритья,  
остаток прошлогоднего варенья.

---

*Салимон Владимир Иванович* — поэт и издатель. Родился в 1952 г. в Москве, в семье писателя и переводчика И.В. Салимона. Окончил в 1973 географо-биологический факультет МГПИ им. Ленина. Печатается с 1977 года. Автор более 15 поэтических книг, в т.ч. — «Раз и навсегда: Избранные стихотворения» (2002), «За лицевую стороной пейзажа» (2011). В 1999–2001 — гл. редактор журнала «Золотой век», в 2001–2010 — зам. гл. редактора журнала «Вестник Европы — XXI век». Удостоен Европейской премии Римской академии (1995), диплома премии «Московский счет» (2007), Новой Пушкинской премии (2012). Живет в Москве.

\* \* \*

Как после отступления армий вражеских,  
открылась нам печальная картина —  
в морщинах вся,  
холмистых и овражистых,  
под небом хмурым голая равнина.

Ее в лицо узнать не представляется  
возможным  
только лицам без гражданства,  
прописка до поры не полагается  
тем, кто в любви не знает постоянства.

\* \* \*

Мы без кисейных занавесок  
могли бы обойтись давно,  
но белый свет настолько резок,  
что от него в глазах темно.

А мы хотим в глаза друг другу  
смотреть и, за руки держась,  
скользить меж стульями по кругу,  
о них споткнуться не боясь.

\* \* \*

Из множества цветов, садовник мой,  
ты простенькие флоксы выбираешь,  
как будто бы увлекшись хохломой,  
краснофигурных ваз не замечаешь.

Ты искушению не поддавалась  
лиловых орхидей и роз пурпурных.  
И мне твоя понятна неприязнь.  
Страх, не люблю я чересчур культурных!

\* \* \*

Стало все на свои места  
на исходе шестого дня.  
Где была дыра, пустота,  
сердце нежное у меня.

Днем и ночью оно стучит  
непрестанно в моей груди.  
Не смотри, что по швам трещит,  
все еще у нас впереди.

\* \* \*

Как если бы нас кто-то сглазил.  
Густым и липким воздух стал  
от запаха машинных масел,  
который он в себя впитал.

Под тяжестью его во мраке,  
склонивши головы, брели  
с унылым видом работяги —  
суть всех вещей и соль земли.

Солдат, построив по четыре  
в колонну, с песней мимо нас  
вели, к ногам подвесив гири,  
а к поясу — противогаз.

\* \* \*

Клеенкой был в заброшенной беседке  
покрыт старообразный круглый стол.  
Снег налипал на сухонькие ветки,  
как сладкая пыльца на лапки пчел.

Бывало за веселым разговором,  
погожим днем, сидящие в саду,  
мы их с тобой ловили жадным взором,  
как будто слово Божье — на лету.

\* \* \*

Тому немало есть причин,  
чтоб оставались женщины  
прекрасными в глазах мужчин,  
с которыми повенчаны.

Ты перестала пудрить нос.  
Потом — глаза подкрашивать.  
Не рано в шутку ли, всерьез  
меня со счета сбрасывать!

\* \* \*

Может, в этом нет необходимости,  
чтобы мы с тобою ближе стали,  
может, не хватает мне решимости —  
крайне важной в сфере чувств детали.

Я переминаюсь с ноги на ногу,  
будто бы, блуждая по музею,

подступиться к Дюреру и Кранаху,  
к Рембранту и Рубенсу не смею.

Я держусь от них на расстоянии,  
так как мне в глаза взглянуть им страшно,  
так как не уверен я заранее,  
важно это мне, или не важно.

\* \* \*

Диагноз нам поставил доктор Чехов,  
в ему лишь только свойственной манере  
живописавший здешних печенегов.  
Наш быт, уклад и отношенье к вере.

Я с мнением его привык считаться  
и не оспаривать печального прогноза  
течения болезни,  
но, признаться,  
порой смущает чеховская проза.

Его рассказы, как стихотворенья,  
коротенькие пьески — без названья.  
Загадочна не столько точка зренья,  
сколь данные больному предписанья.

*Платон Беседин*

## Восьмая шкала

*Рассказы*

### *Последняя крепость*

I

Набираю морскую воду в ладони, сложенные, будто для милостыни. Втягиваю носом и выпускаю через рот. Вода превращается в пену. Она пузырями идет изо рта, как у бешеной собаки. Сморкаюсь, чтобы вышвырнуть из себя болезнь, до резкой боли напрягая пазухи. Нет облегчения. Лишь сильнее ноет лоб, только резче пульсируют виски.

Надо возвращаться. Он ждет. Нельзя оставлять его одного. И себя нельзя. Иду к нему по плоским булыжникам вдоль берега моря, не обращая внимания на брызги волн, разбивающихся о камни и падающих веером сверху. Точь-в-точь как фонтаны на городской площади.

Вижу сначала сизый дым, потом — костер. Рядом недвижно сидит мальчик, одетый в оранжевый комбинезон. В нем он похож на спасательный буй. Машу мальчику рукой, словно отец сыну на линейке 1 сентября. Выдавливаю улыбку. Она стоит боли. Но ему это надо.

Подхожу к костру. Достая из красного пакета бутылку с газированной водой, колбасу в пленке, йогурт. Все вскрытое, начатое. Говорю мальчику:

— Ешь.

— Не буду.

— Ты должен есть, иначе умрешь.

— Я и так умру.

— Хорошо, тогда я съем йогурт и буду жить сам.

— Нет, — мальчик забирает красно-желтый пластик, — мы должны быть вместе.

Он принохивается, как щенок. Ест, запрокинув банку с йогуртом над головой.

---

*Платон Беседин* родился в Севастополе, в 1985 г. В 2012 г. вышел дебютный роман «Книга Греха». Печатался в сборниках прозы «Станция Рай», «Новые писатели» и др. Публиковался в изданиях «Крещатик», «Бельские просторы», «Радуга», «День и ночь» и др. Рассказы переведены на немецкий, итальянский и английский языки. Также выступает как публицист и литературный критик. Живет в Киеве. В «ДН» печатается впервые.

Отхожу в сторону, пытаюсь высморкаться. Ощущение, словно накачиваешь насосом шину; только вместо шины собственная голова. Сгустки бурого гноя с кровью падают на выбеленные камни. Мальчик отрывается от йогурта:

— Тебе нужны лекарства.

— Знаю, но не сейчас.

Мальчик облизывает крышку от йогурта, говорит:

— Холодно. Идем домой.

От слова «домой» боль усиливается.

— Позже. Дыши морским воздухом. Это полезно для здоровья.

Он хмурится:

— Для чего мне здоровье?

— Чтобы жить. Ешь. А я проверю местность.

Хватаясь рукой за камни, поднимаюсь на уступ. За ним начинается пустошь, поросшая колючим кустарником, испещренная шрамами канав, заваленная строительным мусором. Еще дальше — остовы строений. Там никого нет, даже таких, как мы.

Голова кружится, взлетает и падает, будто подпрыгивает на батуте, отделенная от тела. Как в школе, — мы называли это состояние «вертолет» — когда напьешься пива и ложишься спать, пока родители не видят, но лежать не можешь, мутит. Разводы перед глазами, словно масляные круги на воде. И пульсация в огненных висках, бешеная пульсация. Нужны лекарства. Но они, если повезет, будут только завтра.

А пока повторять позитивные установки, аффирмации, из книги Луизы Хей. Ее — большое красное сердце на мягкой синей обложке — подарил мне сосед по палате, грустный толстяк с жирным лицом, похожим на смазанный салом мясной пирог. Он лежал с аденоидами, я с гландами.

Согласно Хей, метафизическая причина насморка — обиды. Надо простить — давно пора — жену, мальчика, себя, жизнь. «Я прощаю себя и всех людей. Я люблю и одобряю себя». Слова бегут белыми буквами — так учили запоминать в школе — на черном экране сознания. Говорю вслух, резко, словно проклятия. Возвращаюсь.

Мальчик пьет газировку. У нее едкий — можно подавать сигналы с берега — зеленый цвет. На песочной куче крестом выложены голыши. Из песка торчит ветка.

— Что это?

— Мой храм.

— Надо идти домой.

Складывая остатки продуктов в пакет, задеваю кучу. Ветка падает. Футболу голыши носком рваной кроссовки. Один улетает в море, плюхает. Повторяю:

— Идем.

Не двигается. Едва слышно, заикаясь, как всегда, когда нервничает, шепчет:

— Т-т-ты разрушил мой храм.

Его левая щека дергается. Глаза влажные. Кулаки сжаты. Вот-вот ударит.

— Надо идти! — стараюсь говорить уверенно, но звуки слабые, шипяще-свистящие.

— 3-3-зачем ты разрушил мой храм?

— Прости, я не знал, что это твой храм. Нам, правда, надо идти. Скоро они будут здесь.

— Поэтому я и построил свой храм.  
 — Это поможет?  
 — Поможет, — уперто говорит он, и кулаки разжимаются, глаза блестят. —  
 Пообещай мне, что больше мой храм не разрушат.  
 Никогда я не видел его таким сконцентрированным, серьезным.  
 — Обещаю.  
 — Честно?  
 — Честно. Обещаю.  
 Он улыбается:  
 — Тогда идем. Я построю новый храм.  
 По камням мы поднимаемся на уступ, и, молча, бредем к нашему дому.

## //

Его основа — обгоревший строительный вагончик. Он облеплен клеенкой, брезентом, линолеумом. Рядом чернеет пепелище костра. Есть еще умывальник с пробитой раковиной. Мы живем как короли. Короли из трущоб.  
 Открываю дверь вагончика. Мальчик спрашивает:  
 — Мы будем обедать?  
 — Ты только что ел.  
 — Хочу еще.  
 — Нам надо экономить продукты.  
 Молчит, опускает голову, всхлипывает. Не понимает, что еды осталось на два-три дня. Но ему надо есть. От этого никуда не деться. Он и так стал похож на фабричного цыпленка; худой, бледно-синий, с торчащими костями.  
 — Хорошо, — треплю его по жидким соломенным волосам, — мы пообедаем.  
 — Честно, честно?  
 — Конечно. Тебя устроит суп?  
 Он кивает головой так сильно, что, кажется, она вот-вот отделится от шеи.  
 — Отдохни, а я приготовлю суп, — захожу в вагончик. На полу, застеленном кусками линолеума и лохмотьями, свалены полосатые матрасы с торчащим желтым поролоном.  
 — Я не устал, — дуется.  
 — Тогда пошли готовить вместе.  
 Уже привык к его переменам настроения, но сейчас они невыносимы. Сейчас время ожидания, а значит, время тревоги, беспокойства. Из-под валуна, поросшего липким зеленым мхом, достаю полиэтиленовый пакет с картофелем.  
 — Чисти картошку.  
 — А ты? — говорит мальчик.  
 — Я разожгу костер.  
 Деревянные с серой спички, бумажные со свинцом газеты. Поджигаю, приношу из вагончика хворост, кормлю зачавшееся пламя. На алюминиевой кастрюле, будто на жертвеннике, толстый слой копоти. Суп будет из отстоянной морской воды. Пресной почти не осталось. Только чтобы пить.  
 — Опять суп из морской воды? — морщится мальчик.  
 — Что значит опять? В последний раз он был из нормальной воды.  
 — Я не хочу суп из морской воды.

— Ты же хотел есть. Мы договорились.

— Т-т-ты не говорил, что он будет из морской воды. — Он опускает руки. Сморщившаяся картошка падает на землю.

— А что ты, черт возьми, хочешь?!

Ударом ноги переворачиваю кастрюлю. Земля, как собака, лакает воду. Я ору, доводя себя до иступления, размахивая руками, будто каратист на показательных выступлениях. Голову простреливает резкая боль. Падаю рядом с перевернутой кастрюлей.

Мальчик плачет, закрыв лицо руками. Я лежу, обхватив руками голову, шепчу:

— Не реви, не реви...

Он должен перестать плакать. Видит же, что мне плохо. Но он плачет. Нет сил, чтобы встать. Подползаю к нему на коленях, хватаю за руки, ору:

— Посмотри на меня! Посмотри на меня!

— Н-н-не х-х-хочу.

— И я не хочу! Не хочу жрать этот суп! Не хочу спать на этих матрасах! Не хочу жить в этом вагончике! Но другого у нас нет! Понимаешь? Мы должны жить с этим!

— З-з-зачем?

— Мы люди... а они должны жить.

На глазах — слезы. Потому что понимаю: нет — да и не было никогда, но сейчас это особенно ясно — того, ради чего стоит жить. И понимание хуже боли.

Мальчик отнимает руки от лица, просит:

— Н-н-не плачь, пожалуйста. Я понял. Только не плачь.

В его взгляде решимость. Будто он говорит о храме. Она успокаивает лучше всякой аффирмации. Пытаюсь в знак примирения улыбнуться. Выходит ухмылка, перекошенная, как разбитая артритом старуха.

— Давай делать суп.

Мальчик кидается к костру. Чистит картошку ножом с оплавленной рукояткой. Я встаю. Развожу костер. Набираю воду, ставлю кастрюлю на костер. Кидаю в нее гнилую луковицу, очистки морковки, горсть фасоли. Мальчик суетливо протягивает картошку.

### ///

Суп пахнет, как морская капуста в жестяных банках из детства. Едим его вместе с сухарями. Опускаем их в варево и ждем, когда размокнут. Они очень нравятся мальчику. К супу он не притрагивается.

Едим в тишине. После бесцельно сидим, наблюдая за пламенем костра. Мальчик молчит. Голова сползает к коленям. Наконец, замирает. Костлявые плечи двигаются в такт дыханию. Уснул.

Отношу его на руках в вагончик, укладываю на матрасы, накрываю тряпьем. Стою, глядя на него. Возвращаюсь к костру, чтобы привести мысли в порядок, собрать их, как заботливый пастух нерадивую отару. Слушаю ветер, пронзающий пустоту между камнями. Только камни и могут устоять. Почему я не из камня?

Перед глазами мой дом; мой бывший дом. Дубовые двери, плетеная мебель. Пыльные книги на полках, цветы в хрустальных вазах. Все превратилось в пепел. Я просеивал его между пальцев, пробовал на вкус, стараясь оживить прах дыханием. Но он только разлетался, рассеиваясь по миру.

Боже, как же болит голова! Стиснуть ее руками, — почему не стальные клещи? — раздавить, чтобы черепная коробка лопнула, как арбуз.

Давить, давить, давить...

Или разможжить голову о камень. Например, об этот, похожий на швейцарский сыр дырками и цветом. Под ним еда, скарб, утварь. Собственно, я и сам под ним. Прячусь, как змея, стараюсь превратиться в тень. Бесплотную, процеживаемую, чужую.

Но мальчик в вагончике живой, из плоти. Пусть я мертвый, но он живой. И сейчас моя задача сделать так, чтобы он дожил до утра. Хотя бы до утра.

Тушу костер, мочась на него. Захожу в вагончик. На носочках ступаю по скрипучему полу, пробираясь в дальний угол. Раскидываю гору картонных коробок. Под ними грязная холщовая сумка, перемотанная бечевкой. Распаковываю. В сумке пистолет. Настоящий, стальной, с порохом и пулями. Времен Второй мировой войны. Так мне сказали продавцы. За него пришлось отдать последнее, что было. В моем случае это не штамп и не преувеличение. Глажу его подушечками пальцев, взвешиваю на ладони, втягиваю запах масла и стали ноздрями. Убеждаю себя.

Выхожу на улицу, закрываю двери вагончика, взбираюсь на укрепление. Бубню аффирмации и всматриваюсь в темноту.

#### IV

Наш вагончик находится в полукруге, образованном каменистыми холмами. Попасть в него можно только через проход между стенами, сложенными из железобетонных плит, заваленных строительным мусором.

Лежу в проходе. Рядом, словно черепа на картине Верещагина, сложены камни для метания. Во мне — или я сам — работает часовой механизм. Он отсчитывает мгновения до появления ночных гостей.

Ветер доносит крики, брань. Вжимаюсь плотнее в пластиковые мешки с застывшим цементом, правой рукой сдавливаю камень. Холодный, влажный, гладкий.

Они идут медленно, спотыкаясь и падая. То рассыпаются, то сбиваются в кучу. Периодически останавливаются. Вертят головами. В темноте они выглядят как плотные темные сгустки. Их можно сосчитать — пятеро.

Я думал о них сегодня. Фантазировал, как, словно герой древних летописей, зажму их в ущелье и буду закидывать камнями. Чем не битва культуры и варварства?

Впрочем, кто будет культурой, если и я, и они больше похожи на собак Павлова, чем на людей? Поэтому не надо громких, как обещания депутатов, эпитетов. Так, очередной междусобойчик. Как драка за место на рынке.

Нащупываю пистолет в кармане куртки. Успокаивает, делает сильнее. Шесть пуль. Гости пятеро. Есть запас. Но пока что лучше использовать камни. Попытаться разможжить одному, двум, трем головы.

И вдруг — как удар под дых с вяжущей болью — мысль. А что, если отдать им мальчика? Отдать и забыть.

Впрочем, нет времени думать. Они уже у завала. В двух десятках метров от меня. Один из них натянул на голову капюшон. Даже в темноте я понимаю, что это он. Враг, по кличке Седой.

При других обстоятельствах пришедшие выглядели бы комично, вооруженные палками, арматурой, ножами, топором и даже утюгом. Утюг — насколько могу рассмотреть — раритетный: огромный, причудливый и, наверное, тяжелый. Его держит мужчина в широких черно-зеленых штанах футбольного клуба «Боруссия». Такие были популярны в конце девяностых. Не достать. Но жена смогла найти и подарила их мне на первую годовщину.

Как только я думаю об этом, картинки прошлого втискиваются в сознание, будто утренние пассажиры в вагон метро. Что это? Предсмертный калейдоскоп? Или боязнь не успеть вспомнить о самом главном?

## V

Мы познакомились в киевском Доме кино. На закрытом показе американских фильмов тридцатых годов. «Двойная игра» с Жанетт Макдональд. Любовь французского и испанского шпионов. И фоном наша любовь. Две стопки «Закарпатского» коньяка, пара бутербродов с балыком.

Я сделал ей предложение через три месяца после знакомства. Венчание, радость, клятвы. Это потом начались все эти слишком: слишком много встреч, слишком много знакомых, слишком много кофе с коньяком. Она пропадала либо на премьерах, либо в Доме кино, либо на съемках.

Главное воспоминание той жизни — ужин, стынувший в ее ожидании. Она приходит ближе к полуночи, с подругами или одна, но всегда с улыбкой и запахом алкоголя. Постепенно улыбка растягивалась и как бы опадала, а запах усиливался и по-хозяйски обосновывался во всей квартире.

Когда ее привели под руки в первый раз, я не поверил. Обвинил рыжего толстяка, притащившего ее, и набил ему морду. Потом извинялся. Выставлял коньяк, водку, кормил пловом в столовой Дома кино, от чего его небритая, потасканная, ржавая морда, кажется, разрасталась еще больше.

Но приводить стали чаще. Зная об инциденте с толстяком, звонили в дверь и ретировались, оставляя ее одну. Я, плача, в дверях; она, лежа, на коврик возле двери. Коврик облюбовала соседская такса. Поэтому вонь собачьего дерьма смешивалась с перегаром. Нес в ванну, мыл, обтирал мочалкой (она называла ее вихотка), укладывал спать.

Утром она улыбалась. Вспоминая вчерашнее, улыбалась еще шире. Говорила о натуре творческих людей, целовала в лоб и убегала. Съемки, премьеры, показы.

Ходил к знахарям, экстрасенсам, магам. Закодировать от алкоголя на расстоянии, как писалось в объявлениях, без ведома пьющего. Не помогало. Только грех на душу взял. Обращался к православным отцам. Те говорили о молитве и посте. Но как? Один раз удалось затащить ее в храм, поддатую. Она хохотала. Паства шикала. Тащил ее к бабушке. Она царапала длинными красными ногтями мраморный пол и выла, вращая глазами.

Однажды возле дороги, шесть полос, волоча ее пьяную, я закричал:

— Бросайся под машину! Ты же убиваешь себя! Оставь меня в покое!

— Я жить буду, — как-то чудовищно трезво сказала она.

После этого я начал собирать документы на развод. Думал, куда пойти жить. Но бросить ее было страшно. Хотя еще страшнее было наблюдать, как она убивает себя.

И тогда случилось то, чего я, наверное, жаждал.

Нашелся сочувствующий, тот, кто рассказал, как это произошло. Лысый мужик с родимым пятном говорил так, словно поступал с сочинением в университет. В мельчайших, вьедливых, словно клопы, подробностях. А я слушал, как мазохист, как идиот, который вдруг стал самым понимающим человеком на свете. Лысый рассказывал и причмокивал толстыми, мясистыми, будто у негра, губами.

Три женщины переходили дорогу. Шел за ними. Вдруг одна, блондинка, упала. Бабы заверещали. Подбежали люди. Стояли, жевали, уходили, не зная, что делать, не желая что-то делать. Одна из баб верещала, что у блондинки астма, она задыхается.

— Была у нее астма? — спросил лысый.

— Нет.

Перевернули на бок, продолжал рассказ лысый. Открыли рот, держал руками, чтобы не закрылся. Машины гудели, объезжали. Никто не остановился. Две бабы курили, народ расходился. Кто-то спорил, кому вызывать «скорую». Сообразили, что звонить 101 бесплатно, вызвали.

Пульс был. Щупал на шее. Знаю, где щупать. Первую чеченскую прошел. Блондинка лежала. Вроде дышала. Перло перегаром, будто бухала неделю, не просыхая. Увидел у нее во рту жвачку. Вытащил пальцем. Подошла какая-то кривая тетка в милицейском ватнике, спросила, в чем дело. Сказал, что задыхается женщина, плохо ей. «Скорую» вызвали? Вызвали. Дышит? Дышит. Хорошо, что вызвали, хорошо, что дышит, сказала кривая тетка в милицейском ватнике и ушла.

Потащили блондинку на скамейку. Оказалась тяжелая. Вроде молодая, а пузо открылось, все в складках, как шарпей. Тут завывала сирена «скорой». Блондинка открыла глаза, потребовала сигарету.

Вдруг, причмокивал лысый, я сообразил, куда повезет ее «скорая». Если плохо бухому, а баба бухая, то везут не в обычный приемник, а в распределитель. За бабки. Не свои же платить. Я им о бабках сказал.

Они напряглись. Блондинка вообще, как услышала, что надо платить, завизжала, точно свинья. Роба у нее стала пунцовая, в белых пятнах, как мухомор. Визжит, требует выпить. Подруги дали ей глотнуть водки — у них в сумочке чекушка была. А тут «скорая».

Лысый причмокнул и замолчал. Поерзал на скамье с оторванной спинкой.

— И? — задал я в общем-то бессмысленный вопрос.

— Не успела «скорая», — еще сильнее, будто добывая трением огонь, заерзал лысый. — Десять метров, а не успела. Да, бывает... вот так... — Лысый наконец прекратил ерзать и выдавил: — Того я... помогал. Может, дашь на бутылку, а?

Я сунул ему в грязную ладонь двадцатку и поехал в морг. Сначала стало легче, — избавился наконец, теперь заживу — но потом я понял, что это не ее смерть — моя. Только моя. Потому что есть такие люди, которым надо жить кем-то, собой они жить не могут. И я из таких людей.

Когда похоронил, взорвался. Пил, бухал, ужирался. Вроде бы никогда не был склонен, но словно бес алкоголя жил в доме. Теперь надо было спасать меня, но все убудочно делали вид, что ничего не происходит.

Почти сразу после ее смерти я похоронил маму. Шел дождь, мелкий, колкий, нахрапистый, и свежая земля на свежей могиле была влажная, вязкая,

рыхлая, как утренняя гречневая каша. Стоял, смотрел, рыдал, мучаясь от раскалывания и похмелья. Потом пришел домой, выпил, закурил, уснул.

Банально. А бывает ли иначе? Говорят, что каждый человек может рассказать о своем опыте общения с Богом. Это будет его личное евангелие. Наверное, в ту ночь, когда я лежал в постели, рядом пылали простыни, занавески, скатерти, а мне снилось озеро (я даже название слышал во сне — «Геннисаретское»), Бог явственно ощущался рядом. Я не хотел просыпаться. Открыл глаза только тогда, когда меня вынесли на улицу из горящего дома. Лежал под кипарисом и наблюдал, как то, что было моим домом, превращается в сажу и пепел.

Это воспоминание о прежней жизни последнее. Мальчик думает, что я спас его, но на самом деле он спас меня.

## VI

Мысль о мальчике — разряд в сердце, словно вцепился в оголенные провода. Оборачиваюсь к вагончику; закрыта ли дверь? Все в порядке.

Приподнявшись, бросаю первый камень. Женский, кажется, визг, мат. Еще один бросок. В ту же тень. Она падает, хватаясь за голову. Двое пытаются поднять ее. Она висит на них, растопырив руки, как пугало в поле. Третий раз за все платит. Камень — вижу — попадает ей в висок. Обмякает, падает. Без попытки быть поднятой.

Не останавливаться. Побеждает тот, кто идет в нападение. Бросок. И первый промах. Хуже: они замечают, откуда летят камни. Седой указывает рукой в моем направлении. Прижимаюсь к мешкам, пытаюсь слиться с ними. Руки дрожат, не слушаются. Телом ощущаю пистолет — уверенность, моя уверенность, стальная, надежная, совершенная. Помогает собраться. Осыпаю врагов камнями, точь-в-точь как при обороне древних городов. Мне в ответ — брошенный кирпич. Почти в цель. Задевает висок; струйка крови ползет вниз, липкая, бурая, как дождевой червь.

Бесполезно швырять камни. Меня обнаружили. Мне отвечают. Двое лезут на стену, а остальные бросают в меня арматуру, кирпичи, камни. Было бы оружие — стреляли. А у меня есть пистолет. Весомый аргумент. Им можно и нужно воспользоваться.

Достаю, взвешиваю, передергиваю затвор. Стреляю в мужика с утюгом. Его ярко-зеленые, едва ли не фосфоресцирующие в лунном свете штаны — отличная мишень.

Пуля попадает в живот «утюга». Он падает вниз с завала. Отличное место я выбрал, настоящее укрепление. Здесь им меня не достать.

— Обходите с другой стороны! — орет Седой.

И они устремляются вперед по ущелью. Хотят обойти сзади. Если еще не видели вагончик, то сейчас увидят. А в нем мальчик. Он может выйти. Да, место я выбрал отличное, только одного не учел — фактор мальчика. Вагончик закрыт, но они могут легко ворваться внутрь. Надо возвращаться. Альтернативы нет.

Швырнув несколько камней, угодив в кого-то, поднимаюсь, бегу к краю, прыгиваю.

У вагончика есть еще одно укрепление. За валуном. Главное, чтобы не оставили силы. Надо вытерпеть эту пульсацию, эти капли гноя на губах, эту боль, от которой сводит судорогами лицо, и слезятся глаза.

Едва опережаю здоровяка, размахивающего палкой с торчащими гвоздями. Он выбегает из ущелья, мечется на площадке перед вагончиком. Нажатие, выстрел, и пуля пробивает череп навывлет. Фонтанчик крови как расцветающий бутон в ускоренной перемотке.

Не думал, что могу убивать. Не знал, что это будет так просто. Возможно, дело в том, что я болен, поэтому мой внутренний диалог отключен.

Осталось двое, в том числе и Седой. Осторожничают. Первый падает на площадку перед вагончиком, вдавливая себя в землю. Не двигается. Седого не видно — он в темноте, поодаль, — но хорошо слышны его матерные призывы идти вперед. Меня закидывают камнями и арматурой. Ракушка, разбиваясь о валун, как желтое конфетти, разлетается в стороны. Лежащий не двигается, держится за топор. Я догадываюсь: он парализован страхом. С одной стороны — пули, с другой — угрозы вожака. Но пули страшнее, раз он не бросается на меня.

Я прицеливаюсь, стреляю. Пуля шлепает рядом с головой лежащего. Он орет, но не двигается. Надо использовать его панику. Пока он доступен, как мишень в тире.

Но вновь мимо. На этот раз рядом с ногой. Отказываюсь верить. Но вдруг лежащий вскакивает и бросается обратно в проход. Он сделал выбор.

Теперь я остаюсь один на один с Седым, как тогда, в стае.

— Брось пушку, сука!

От крика Седого, будто вырванного из кино, как трещина, невольно прорывается улыбка. Но в душе страх. То, что началось полгода назад, должно завершиться.

## VII

После того как мой дом сгорел, я остался один, увядший и иссушенный, словно библейская смоковница. То, что связывало меня с миром, разорвалось. Любое его выражение — работа, друзья, знакомые места — угнетало, будто перечитывание истории своей болезни.

Наверное, человек, которому плохо, стремится сделать себе еще хуже. Чтобы переродиться. Дойти до пиковой точки, а потом обновиться.

Замер, застыл, как истукан, как изваяние, подставленное под пыль, грязь жизни.

Сначала квартиры, потом коридоры, лестничные площадки, подъезды, наконец, улица. Ближе к октябрю я, словно протрезвев, хотя в момент осознания был совершенно пьян, понял две вещи. Первое — я бомж; второе — одному мне не выжить. И тогда, вспомнив телепередачи из той жизни, я решил прибиться к стае. Одним из ее лидеров был Седой.

У стаи свои правила. Не принять их нельзя. Принял, впитал, стал новым. Седой был моим наставником. А потом появился мальчик. Появился, чтобы нарушить закон. Собственно, он жил в стае и раньше, но было не до него. Про мальчика говорили, что он сбежал от родителей, потому что те заставляли его варить и продавать «винт». Но это был только слух. Еще один. У каждого в стае был свой слух.

Однажды я застал мальчика рыдающим. На мои расспросы он не отвечал. Но я выяснил, добился правды. Пригодился опыт, полученный в семейной жизни.

Пожалуй, дело было даже не в том, что Седой изнасиловал мальчика. Проблема заключалась во мне. Превращение в зверя было невыносимо. Так же, как не каждый может быть святым, так и не каждый может быть злодеем.

Седой храпел, привалившись к кирпичной стене. Рядом лежал смятый пакет «777». Наверное, расстегнутая молния окончательно убедила меня в том, что падать мне дальше некуда. И этот мальчик — абсолютно незнакомый, чужой — должен был стать тем самым обновлением.

Ударом ботинка я поднял Седого. Бил сначала в лицо, потом в живот, печень, не давая сползти по стене. Он, пьяный, ничего не соображавший, вяло закрывался от ударов ладонями. Его штаны свалились. Между рыжими зарослями лобка висел член. И тут я увидел на полу строительный шпатель. За меня решила ярость. Я схватил шпатель и рубанул им по члену Седого. Дикий нечеловеческий крик. Несколько раз ударил Седого в висок. Чтобы заткнулся. Он рухнул на землю. Кровь растекалась по его белым, покрытым кучерявыми волосками бедрам. Между ними в строительной пыли валялся обрубок греха. Крик должен был поднять всех на ноги, но никто не появился.

Я вернулся к мальчику, собрал его и свои вещи. И мы ушли. Навсегда.

Дальше была новая жизнь. Были скитания по городу, прятки, лишения. И, наконец, пустошь, вагончик, берег моря. Здесь мы обрели покой, пока однажды Седой не выследил меня. И вот мы встретились.

### VIII

Выхожу из-за валуна, спрятав пистолет в карман. Камни уже не летят в меня. Седой замер в проходе. Лунные лучи, словно милицейские фонарики, пытаются выхватить его из темноты. Кричу:

— Выходи!

Седой понимает, что на моей стороне преимущество. Но все равно выходит. Звериная жажда крови доминирует над человеческим разумом. Он шипит, закуривая:

— Ну стреляй, сука...

Знает, что говорит, что делает. В нем нет разума, но есть чутье. Потому что он все равно сильнее.

Будто в компьютерной игре, словно не со мной, достаю пистолет и нажимаю на курок. Пуля вылетает чудовищно медленно, похожая на муху, устремляется к Седому. Слышится треск. Пуля попадает в железобетон.

Седой хохочет. Смех у него дурной, завывающий, с присвистом, будто у истерички. Стреляю повторно, не думая и не целясь, лишь бы прекратить все это. Поддаюсь эмоциям. А надо было действовать рассудительно.

Но нет даже выстрела. Пуля не вылетает из дула. Я мысленно пересчитываю все израсходованные пули. Должна быть еще одна. Должна! Навожу пистолет на Седого и вновь нажимаю на спусковой крючок. Выстрела нет.

Седой уже не смеется. Ухмыляется. Подобрал топор, идет на меня.

Хочу ответить, но связки — тонкая паутина, сделай усилие — оборвутся. Седой приближается на расстояние нескольких шагов. Как маятник, отводит топор вправо, влево, гипнотизируя паникой.

Отчаяние. Не просто слово — всецельное ощущение, поглощение им. И ноги такие мягкие, складывающиеся, как пластмассовая пружинка для игр. Нет пуль, нет преимущества, нет уверенности. Отбрасываю пистолет в сторону,

будто избавляясь от лишнего груза. Нужна легкость в движениях, ясность — в голове.

Нет ни того, ни другого. Есть Седой с топором, и он совсем близко. Выпад, удар. Не могу увернуться, стою, как дерево перед лесорубом. Клинок топора рассекает край плеча, задевает кость и срезает мясо, словно у курицы на вертеле в ларьке с шаурмой.

Смех, взмах. Закрываю глаза. Всем телом подаюь назад, отступаю, мелко семеня ступнями, и, наконец, падаю. Нет сил. Даже чтобы открыть глаза.

Все эти укрепления, обстрелы камнями, суета, стрельба — все было напрасным. Сдюжил в последний момент. Устал. Смирился. Погиб. И вдруг голос:

— П-п-папа?

Голос мальчика. Но ведь он заперт в вагончике, самому не выйти. Или я умер, мне кажется? Нет, жив; чувствую липкость крови на руке. Мальчик стоит в проеме вагончика, бледный, костлявый, испуганный, но совсем другой. Только глаза такие же, как сегодня днем на берегу моря, когда он говорил о храме.

— П-п-папа?

Сил нет, но есть воля. Встаю на четвереньки и прыгаю на Седого. Он, крикая, падает на землю. Прижимаю ногой к земле его руку с топором. Плашмя лежу на Седом, понимая, что этот прыжок был последним усилием. Мы оба знаем, что он сильнее. Седой, как собака, клацает зубами. Хохмит, издевается. И эта тактика изматывает меня сильнее всякой борьбы. Тело превращается в вату. Седой двумя ногами отталкивает меня от себя. Лечу назад. Теперь все.

— Зря рыпаешься, гнида, — встав, скалится Седой. — Пора заплакать.

— Папа! — кричит мальчик.

Никогда он не называл меня так. И вот перед смертью я обрел пусть приемного, но сына, которого не смогла подарить мне жена. Поворачиваю к мальчику голову — попрощаться. Но его взгляд обращен не ко мне. Он смотрит на Седого. Зовет его. В руках мальчика пистолет. Он держит его у земли, согнувшись, будто неподъемную ношу.

— Собирай вещи, сынок, — не опуская топора, говорит Седой, — мы уходим.

— Я остаюсь.

— Повторяю в последний раз, сучонок: мы уходим.

— П-п-прости, папа, но я остаюсь...

Двумя руками мальчик медленно поднимает пистолет. Лицо перекошено, бледное, почти прозрачное в лунном свете. У меня нет сил, чтобы действовать, — только быть наблюдателем. Седой опускает топор и, ухмыляясь, говорит:

— Хотя нет, сучонок, никуда мы не пойдем. Сначала этого кончу, — он клинком указывает на меня, — а потом тебя...

Я верю Седому, потому что помню — пули кончились. Но мальчик не знает этого, поэтому происходящее — убийственный фарс. Седой сплевывает и заносит топор.

Я зажмуриваюсь и первый раз прошу не за себя — за другого. Молюсь, чтобы мальчик был жив. И по возможности был счастлив.

Свист, вскрик, хрип. Но смерти нет. Ее жало не ранит. Чувствую навалившуюся массу — тяжелую, теплую, хрипящую. Сначала ощупываю, потом открываю глаза. Передо мной опухшее лицо Седого. Рот перекошен в звериной ухмылке, открывающей мелкие гнилые зубы. Глаза — желтые белки с красными венками — выпучены. Седой обдаёт меня вонью изо рта. Отталкиваю его двумя руками. Он, как тюк, сваливается с меня. Я несколько раз перекатываюсь и замираю, лежа на спине, широко раскрыв глаза, будто убитый на поле боя солдат из кинохроник.

На фоне луны — лицо мальчика. Глаза, кажется, стали еще больше. Он опускается на колени, улыбается, словно солнце плавит лед, и ложится рядом со мной.

Луна бледная, больная, какая-то нервная. Но во мне спокойствие. Как гранитный памятник. Лишь на мгновение в нем образуется трещина — испуг; завтра надо найти новое убежище, ведь будут искать. Впрочем, если подумать, найдут не сразу; успеем проститься с вагончиком, пустошью, морем.

Мальчик дергает меня за рукав:

— Пойдем, пойдем...

Мне придется встать — не отстанет. Он поднимает мою руку, взваливая себе на плечи, как здоровый больного. Тащит меня к вагончику.

— Как ты выбрался?

— Дверь была открыта.

Мне еще хочется спросить, откуда вязалась пуля, но этот вопрос даже глупее, бессмысленнее, чем первый. Мне все равно не понять, не поверить. Надо просто принять.

Мы заходим в вагончик. Мальчик помогает мне опуститься на грязное ватное одеяло. Садится рядом и показывает рукой:

— Смотри.

На черном полу — песочная пирамида, на ней голышами выложен крест.

— Что это?

— Наш новый храм, — улыбается мальчик. — Я же говорил, он поможет.

Это было его обещание. Он сдержал слово. Как и я свое. Может быть, жизнь проще, чем я думал, и жить значит исполнять обещания, данные друг другу.

Обнимаю мальчика за плечи. Будто сына. Прикладываю ладонь к ладони, ощущая его тепло, передавая свое. В мутные окна вагончика пробиваются первые рассветные лучи. И я засыпаю.

## *Восьмая шкала*

Смуглый парень — шерстяные валенки, оранжевый шарф, борода клочьями — заходит в автобус, говорит «кто я». Озираясь, стоит рядом с водителем, толстяком с красной шеей, роется по карманам. Достает смятую двадцатку, расплачивается. Водитель, ища сдачу, матерится себе под нос. Шея становится алой. Парень проходит в салон, усаживается рядом со мной. Пахнет от него алкоголем и чем-то резким, вроде гвоздики.

Автобус трогается. Громяхая железной обшивкой, скрипя рессорами, он врезается в жидкий свет хмурого зимнего утра.

Рассмотрев парня, возвращаюсь обратно к чтению. Антоний Сурожский, «Духовная жизнь»; твердая обложка, УФ-лак, белые страницы. Чтение такой книги — радость.

Так почему не читается? Мысли стали путаными, точно волосы на голове парня. Хотя минуту назад, до его появления, все было хорошо. Может, дело в запахе?

Раздражаюсь, заставляю себя читать — пытаюсь вернуть утраченное спокойствие. Вся надежда на книгу. Последнее время только чтением и спасаюсь.

Читать лучше всего в метро. В автобусах тоже можно, но движения здесь

более резкие, судорожные. Стоя, особо не считаешь. А если сел, то надо найти то единственно верное положение, когда ремень не врежется в живот холодом бляхи.

Сегодня вроде бы комфортно устроился. Пока не появился смуглый парень. Теперь не до чтения.

Закрываю книгу. Сосед рассматривает обложку, чуть шею себе не свернул. Весь он, разболтанный, нервный, будто на шарнирах.

— Интересно? — Голос у него осипший, как у волка из мультика «Жил был пес».

— Ага, — прячу книгу в рюкзак.

— За кого голосовать будешь? — Сосед, похоже, из любителей поговорить в транспорте.

— Еще не решил.

— Голосуй не голосуй, все равно получишь... — смеется незнакомец.

Смех у него булькающий, точно льют самогон в жестяную кружку. Широко открыт рот, и видны черные пеньки зубов.

Стараюсь вежливо хмыкнуть в ответ, но так, чтобы он не принял это за поддержание разговора.

Надо достать ноутбук. Как говорится, — странное выражение — убить двух зайцев: и от назойливого соседа избавиться, и тест ММРІ в институт пройти.

Автобус сворачивает с проспекта Бажана, минуя ребристый серый забор, обклеенный предвыборными агитками. Нырять под Южный мост. Виден Днепр с остатками льдин. Те, что на середине, медленно дрейфуют, подгоняемые течением. А те, что у берега, еще держатся, но исходят трещинами, как старая штукатурка. Валит мокрый снег и, тая, превращает мир в вязкую серую кашу.

— Я Слава, — не унимается сосед, протягивает мне руку.

— Андрей.

Думаю о том, как это, в сущности, нелепо, что его, такого нервного, всклокоченного, зовут Слава. Ладонь у него грубая, мозолистая. После рукопожатия хочется перечитать Шукшина. Кивком головы Слава указывает на ноутбук:

— В игры шпилишь?

— Прохожу тест.

— Что за тест?

— Психологический.

— Ты психолог?

— Учусь.

— Учись, студент, — смеется Слава, но вдруг напрягается. — Староват ты, мужик, для студента.

— Второе образование.

Слава отворачивается. ерзает на сиденье, играет желваками, молчит. А я, наоборот, только втянулся в разговор.

Последнее время мне и говорить не с кем. Друзья — или те, кого я за них принимал, — остались в Севастополе. Я не звонил, и они не беспокоили. А в Киеве знакомых у меня так и не появилось. И коллег нет, работаю дома.

Раньше коллег, знакомых, весь мир в принципе мне заменяла жена, но с ее уходом все изменилось. Будто ложился спать в одном городе, а проснулся в другом. И вот я просыпаюсь в нем снова и снова, но привыкнуть никак не могу. Лишь сильнее тоскую по первому городу.

Автобус тормозит, как раненая собака, взвизгивая тормозами. Ноутбук

едва не сваливается с колен. В раскрытую дверь врывается холодный ветер. Заходят две женщины в одинаковых белых шапках, одинаковых синтепоновых куртках, с одинаковыми кислыми минами. Размазывая снег по резине салона, усаживаются за водителем, рядом с плакатом Ванессы Энджел в зеленом бикини.

В тесте есть вопросы о женщинах. Там вообще масса вопросов — 566. Слава Богу, мне осталось всего 20. И тогда, как говорит преподаватель, можно будет проанализировать мою личность.

564. Я готов отказаться от своих намерений, если окружающие считают, что этого делать не стоит. — Верно.

565. Я испытываю желание прыгнуть вниз, когда нахожусь на высоте. — Неверно.

566. В кино я люблю смотреть любовные эпизоды. — Неверно.

Даю ответ на последний вопрос. Программа строит линейный график с пиковыми точками, а под ним — слова, линейки, цифры.

— Тільки Степан! Тільки Бандера!

Вздрагиваю.

— Тільки Степан! Тільки Бандера!

Не сразу понимаю, что эти слова, растягивая по слогам на манер футбольной кричалки, сипит Слава. Странно, ведь со мной он говорил на русском, а теперь скандирует на мове, точно на марше националистов в Тернополе. Лишь сейчас замечаю на рукаве его драпового пальто нашивку партии «Свобода».

Без разницы. В столице и не такое встретишь. Пусть скандирует. Мне надо расшифровать результаты теста.

С искренностью ответов — все в порядке, хотя у шкалы F высокий показатель. Значит, подсознательно хотел казаться лучше, чем есть на самом деле. Ну а кто не хочет?

Две шкалы за пределами нормы — седьмая и восьмая. Седьмая говорит о тревожности, восьмая — об индивидуальности.

— Геть москалів! Волю Україні!

Слава пытается хрипеть громче, провоцирует на реакцию. Но пассажиры к нему равнодушны. К тому же их исчезающе мало: водитель, две женщины, девушка с ребенком, два мужика с удочками, седой дед, Слава и я.

С седьмой шкалой — все понятно. Тревожен. Почему зашкаливает восьмая? Ее еще называют шкалой шизофрении.

«Личности с повышенными оценками по этой шкале часто своеобразны в выборе способов понимания мира и самих себя в нем. Одним этот их путь помогает сформировать особую, отличную от обычной, точность мысли, тогда как другим вовсе отсекает дорогу Я к окружающему».

Есть ли у меня точность мысли? Когда-то казалось, что да. А сейчас, похоже — все стремительнее «отсечение Я от окружающего».

Потому и на психолога пошел, чтобы в себе разобраться, когда понял, что литература как психотерапевтический метод не помогает. Тогда же и бросил писать.

Зря, пожалуй. Оказалось, что психология тоже не помогает, а удовольствия еще меньше, чем от писательства. Разве что редактор, глядя на тебя, — хотя чаще куда-то в сторону — не говорит: «Я не сопереживаю вашему герою. Не могу понять, почему ему так плохо. Мне бы его проблемы». Ты-то думал, что вот

оно, то самое: искреннее, надрывное, мир меняющее. А оказалась, что исповедаться тоже надо уметь талантливо. Так же талантливо, как и искать утешения.

Потому и жена ушла. Как с таким жить — вечно ноющим? Любовь, может, и была, но постепенно рассыпалась, будто песочный замок. Ведь песок без цемента — слабая конструкция, а цементировать — где была моя мужская воля? — оказалось нечем.

— Тільки Степан! Тільки Бандера!

Славе, похоже, становится скучно. Его выручает водитель:

— Заткнись! — орет он в салон, покрываясь красными пятнами.

— Сам заткнись! — Слава вдруг мне подмигивает. — Волю українцям!

Автобус тормозит, скрипом рессор, матом водителя. За окном — серая чача, из которой, как антенны приемников, торчат стволы и ветки деревьев. Впереди — красно-белое пятно «лукойловской» заправки. Почти приехали.

Водитель перекачивает живот в сторону, встает из-за руля. Задевает синий флажок «Партии регионов», тот падает на влажный, как подтаявшее мороженое, пол.

— Заткнись, я кому сказал?!

Слава замолкает. Резко встает, говорит «кто я», идет к выходу. Только сейчас замечаю, что у него дрожат руки. В своих массивных валенках, с клочковатой бородой он напоминает мужика с обложки «Живи и помни» Валентина Распутина, издательство «Вече».

Вдруг странный звук. Хлопок. Будто промчалось огромное насекомое. Вскрик.

На голову водителя вылили краску. Темно-красной, почти черной рекой она стекает на грудь. Водитель падает на резиновый пол, вымазанный талой кашцей снега.

Еще один хлопок. Второй. Третий. Краска на женщинах в одинаковых белых шапках, в одинаковых дурых куртках. Краска на плакате с Ванессой Энджел.

Вновь хлопок. Белые шапки меняют свой цвет. Точно процедили свекольный сок через марлю.

Женщины валяются на бок. Одна падает в проход, вторая остается лежать на сиденье. Шапка упала. Видны спутанные волосы, перемазанные чем-то липким.

Все это, наверное, укладывается в секунды, но мозг фиксирует происходящее медленно, словно отображает слайды на «тормозящем» компьютере.

Между ног становится тепло и влажно. И это ощущение приводит в чувство. Моргаю, встряхиваю головой. Хочу крикнуть, но крик застревает в горле (а я-то думал, что это просто фраза из дешевых романов).

Слава разворачивается. Выглядит сосредоточенно, будто логарифмы считает. Стараюсь смотреть на его лицо, которое вдруг кажется мне удивительно похожим на мое собственное. Вновь хлопок.

Седой дед справа от меня дергается всем телом. Еще два хлопка. Краска на его голове.

Господи, какая краска?! Что я несу?! Это же кровь, самая настоящая кровь. Как при анализах на сахар или холестерин. Только из головы.

Скрипучий, будто пенопластом по стеклу, крик. Бросится на помощь, спасти!

Но я скатываюсь вниз, под сиденье. Зажимаю уши руками, закрываю глаза. Уйти в себя, как при медитации. Уйти, чтобы не было так страшно.

Звон разбитого стекла. Хриплый мат мужиков позади меня. Тех, что с удочками, наверное. Хлопки, хлопки. Сколько еще?

Глаза открываются сами собой. Красное пятно на черном полу. И в нем рыхлые сгустки.

Всю жизнь мама говорила мне, чтобы я попусту не молол языком. А я молол. Особенно когда унывал. Например, бормотал нелепицу, призывая смерть. Бравировал, пугал окружающих. Мол, умру, тогда поплачете. Ну, точно, все по седьмой шкале тревожности. Мама терпела, а жена терпеть не стала.

И вот, пожалуйста: «Здравствуй, смерть». Пока, правда, ничего перед глазами не проносится. Есть лишь странное парализующее оупление. Словно водки паленой напился. Даже слов молитвы не вспомнить, хотя молюсь с пяти лет. «Отче Наш, иже еси...» А дальше что?

Хлопок.

Как в детстве, когда мама оставляла в очереди, а сама уходила. И вот твоя очередь все ближе к кассе, а ты не знаешь, что делать, и начинаешь паниковать.

Дом не построил. Дерево не посадил. Сына не воспитал. С дочерью тоже как-то не сложилось.

Детей я никогда не хотел. Да и сейчас, наверное, не хочу.

А жена хотела, очень хотела. И думала, что с их появлением, наступит то самое счастье. Она вообще была требовательна к счастью. Но детей не было. Зато была ругань, изматывающая, как непрерывное вешание штор, когда стоишь с поднятыми вверх руками, и ломит все тело, а голова кружится, будто затаившийся «вертолет» после пьянки.

И жена ушла.

После часами, днями, ночами я лежал на рваной кушетке, пялясь во вдруг ставший низким потолок, и старался убедить себя, что это была не любовь, а лишь привязанность. Днями это порой работало, но по ночам, когда малейший звук, казалось, рвал барабанные перепонки, все уверения были тщетны. И, как пот через майку, сквозь кожу проступал страх. Страх до конца жизни спать одному.

А потом она умерла.

Я не пришел на ее похороны. Никто меня и не приглашал. С ее родителями мы не общались. Да и с ней ее родители не общались. Скинувшись, хоронили коллеги.

Мне рассказали об этом во время случайной встречи какие-то невнятные знакомые. Сказали, гроб был закрытый. Я предложил помянуть — они отказались. Оставили одного, наедине с необходимостью признать абсолютный провал.

А я только стал налаживать жизнь. Бросил пить. Не то чтобы совсем, но уже не запоями. Даже записался в спортзал, хотя больше там ни разу не появился. Зато каждое утро вставал засветло и выходил к Днепру встречать рассвет. Он полз багровыми разводами из-за линии горизонта. И я чувствовал, как просыпается город. Слышал лай собак, плеск волн, чириканье птиц. Видел, как по Южному мосту, мерцающим в утренней дымке зелеными огнями, ползли сонные автомобили и вагоны метро, а на купола Печерской лавры падали первые солнечные лучи. Работала ТЭЦ, и валил сизый дым, похожий на сладкую вату.

Потом я шел дальше, вдоль берега, по влажному песку с отпечатками собачьих лап. И вода забирала тоску и утешала. Показатели шкал, наверное, ползли вниз. В такие минуты я не знал, то ли я счастлив, то ли мне хочется

плакать, и находило странное умиротворение, в котором хотелось ждать, сам не знаю чего.

И вдруг эти невнятные знакомые. Черт их дери. После которых хочется либо себя под потолком вздернуть, либо в других стрелять.

— Вставай!

Голос знакомый — осипший, как у волка из мультика.

— Два раза повторять не буду! Встать!

Поднимаюсь, опираясь рукой о липкое, влажное сиденье. Дрожь по всему телу, словно жуки под кожей. Может, закричать? Ведь за разбитым стеклом, через которое в салон набивается мокрый снег, машины, люди, свобода. Почему все они проносятся мимо?

Передо мной — Слава с пистолетом. Нет, лучше не кричать — лучше молить о пощаде.

— Ну, так что делать будем, Андрейка?

Слава, будто играя, покачивает в руке пистолетом. Я вижу красную нитку на его запястье.

— Чего молчишь? В штаны наложил? — Согласно киваю. Что бы он ни спросил — надо кивать. — Ты же психолог, или вас такому не учили?

От его «такому» жуки страха под моей кожей приходят в неистовство.

Свободной рукой Слава лохматит волосы. Краем глаза замечаю, что мужики с удочками, раскинув руки, лежат на полу в лужах крови, похожие на морские звезды, которые я коллекционировал в детстве.

Где-то вибрирует мобильник.

— Ладно, будем кончать, — говорит Слава.

Будто после наркоза, выкручивает где-то в паху. На глазах — словно пленка, мир помутился. И почему-то больше нет запахов.

— Так ты меня не узнал? — как-то просто, по-свойски говорит Слава. В таком освещении его смуглость усиливается, и я вспоминаю черного человека из древних легенд. — А на каждом столбе моя рожа. Представляешь, троих завалил? Теперь вот этих, — он показывает пистолетом на трупы, — выборы скоро...

Славин голос воспринимается мной искаженным, будто пропущенным через ретранслятор. У моего деда был такой механический аппарат, который он прикладывал к горлу, чтобы его слышали. Слава присаживается на край сиденья, говорит:

— Что у тебя за книга?

Хочу ответить, но вместо слов — заикающееся мычание.

— Отойди, — встает Слава.

Я отхожу назад. Он лезет в мой джинсовый рюкзак, достает книгу Сурожского. Смотрит на обложку, блестящую УФ-лаком. Читает название:

— «Духовная жизнь». Так что, — играет желваками Слава, — есть Бог?

Я невольно смотрю на него, часто моргаю, пытаюсь избавиться от пелены на глазах. Взгляд — мутный, расфокусированный — кидается в сторону, будто трусливый пес. Странно, но только сейчас понимаю, что рядом со мной трупы. И вспоминаю свекольные котлеты, для которых неделю назад придумывал слоган. Они лежали на кухонном столе, будто вырванные селезенки из японских хорроров, а я смотрел на них, думая, какой же ересью занимаюсь в свои тридцать лет.

— Ну, так что — есть Бог?

Зрение проясняется, и я могу сфокусироваться на Славе. Он вспотел и прикусил нижнюю губу. У него пистолет. Ему надо отвечать.

— Наверное, — говорю я.

— Значит, увидим...

Хлопок. И голова Славы превращается в свекольную котлету. Он валится назад, падает.

Внезапно смолкли все голоса, звуки, а за грязным стеклом мокрый снег, похоже, превратился в густой, точно клей, дождь. И кажется, все — в салоне, снаружи — мертвы, никто не постареет и не умрет. Жизнь словно приостановилась, застыла, и лишь где-то во мне пульсирует ожившее сердце.

Вновь чувствую запахи. Воздух, густой, плотный, пахнет кровью и выхлопными газами. Накатывает вяжущая тошнота, глотаю ртом воздух, чтобы не вырвало.

Пячусь назад, к выходу, поскальзываюсь. Падаю во что-то липкое. Не могу встать, сил хватает только на то, чтобы глотать ртом воздух, тараща глаза, как перепуганная гимназистка. Крыша автобуса, словно жук, в пятнах ржавчины.

Вдруг странные звуки. Перекатываюсь на живот, ищу глазами Славу. Неужели жив? Нет, лежит, не шевелится; голова прострелена, из нее течет темная кровь. Но кто-то и, правда, всхлипывает в конце салона.

Там, на заднем сиденье, раскинувшись, точно пьяная, лежит мертвая девушка. Полщеки оторвано, из-под рваной раны видны белые зубы. Кремовое пальто залито кровью. Ноги в черных колготах разведены в стороны.

Ползу по-пластунски, вымазываясь в снеге и крови, отталкиваясь коленями и локтями от трупов. Понимаю, что выглядит это одновременно нелепо и жутко, но встать не могу.

За сиденьями, уткнув голову в колени, обхватив их руками, плачет мальчик. Он дрожит, будто только что вылез из холодной воды.

Я протягиваю к нему руку, но тут же отнимаю, боясь напугать. Быть рядом, не спрашивать, ждать.

Перекатываюсь на спину, лежу в ногах мертвой девушки. Видно стрелку, ползущую вверх по ее колготам от голени к бедрам. Мальчик всхлипывает, я жду, чтобы сказать ему: «Все нормально». Но кто я, чтобы говорить это?

## Нигер

Проснувшись, Джейкоб пересчитал недельную выручку, сунул ее в карман дутой куртки и вышел на улицу. С темного неба, затянутого, как саваном, ночью, накрапывал мелкий дождь. Джейкоб выдохнул изо рта пар и, опустив скрипучий роллет, закрыл палатку.

Плюгавый охранник, вздрагивая, словно ему снились дурные сны, храпел, утопая в пластиковом стуле.

— Доброй ночи, — сказал Джейкоб.

Охранник вздрогнул, будто током ударило, и пробормотал, разлепляя глаза: «Да-да, до свиданья». Потом, суетливо осмотревшись по сторонам и не увидев никого, кроме Джейкоба, уже собраннее произнес:

— А, это ты Максимка, — из кармана его армейских штанов выпала пачка «Винстона», — ну, давай-давай...

Ночной проспект был безлюден. Только редкие автомобили баламутили вязкую тишину, стуча колесами по брусчатке. Джейкоб прошел киностудию Довженко с двумя горящими фонарями у входа и спустился в подземный переход, отделанный желтой плиткой.

В переходе привычно пахло мочой, но было непривычно пусто. Не валялись пьяные, не стояли девицы, не торговали фруктами, овощами, колбасой, электронными сигаретами. Под потолком, мерцая, как в фильме ужасов, горела бледная люминесцентная лампа. Джейкоб поехал, взглянул на часы. Полдвенадцатого. Надо спешить на метро. Обычно Джейкоб ходил домой пешком, но сегодня он проспал, и ночью, одному, с деньгами идти не хотелось.

Последние две недели его терзала бессонница. Лишь изредка ночью, как синюю птицу, удавалось поймать два-три часа сна, и они казались благословением. Не помогали ни медицинские препараты, ни народные средства. Джейкоб пытался спать днем, выпросив у соседа раскладушку, но тщетно. Сон не шел.

Он искал причину и наконец решил, что тоскует по родному Нигеру. Джейкоб вспоминал Большой рынок Ниамея и невольно сравнивал его с киевской Шулявкой, где он торговал джинсами. Ему казалось, что в Ниамее была душа, а в Киеве — бизнес-план. Он вспоминал и Большую Мечеть с ее малахитовыми куполами, деревянными подмостками и пирамидальными минаретами. Вспоминал, скучал и клялся, что на январские праздники обязательно слетает на Родину.

Но сегодня, после шести — он едва успел закрыть палатку — Джейкоб вдруг провалился в благостный сон, а когда проснулся, уже стояла беззвездная ночь.

В пустом переходе шаги звучали раскатисто, гулко, словно пробки, вылетающие из бутылок с шампанским. Когда Джейкоб поднялся на ступени, чтобы идти к метро, его окликнули.

Он обернулся, увидел мелкого прыщавого паренька в динамовском шарфе. Тот просил закурить. Джейкоб извинился, сказал, что не курит. «Тогда на сигареты дай», — не растерялся парень. Джейкоб привык уважать страну, приютившую его; не уважать было себе дороже. Он полез в карман, нащупал несколько гривенных бумажек и спустился, чтобы подать парню. Тот с улыбкой, не благодаря, взял, и в этот момент появилось еще двое. Эти, запакованные в одинаковые блестящие черные куртки, были высокие, крепкие, похожие на телят.

— А ну иди сюда, — сказал один из них, с родимым пятном на щеке.

Один раз, когда Джейкоб еще учился в КПИ, он сделал в подобной ситуации то, что его просили. И получил, как выразились обидчики, в щип. Больше этой ошибки он повторять не хотел. Развернувшись, вырвав руку из кулака паренька в динамовском шарфе, Джейкоб бросился по ступеням вверх и тут же получил под дых. В проходе, ухмыляясь, стоял рыжий парень в спортивном костюме.

Джейкоб скатился вниз. Его стали бить ногами. В живот, в голову. Чей-то ботинок, носком похожий на морду бульдога, угодил в переносицу. Потекла кровь, во рту стало солоно. Джейкоб, инстинктивно отнял от головы руки, зажал нос и пропустил несколько сокрушительных ударов в череп, взвизгнув, как резанный перед Пасхой кабан.

Парни заржали. Удары ослабли. Только маленький, в динамовском шарфе, продолжал остервенело пинать Джейкоба.

Наконец, его, матерясь, оттащили. Джейкоба привалили к холодной стене перехода. Рыжий присел на корточки, доверительно прошептал:

— Деньги есть?

Джейкоб взглядом показал на карман. Рыжий улыбнулся, вытащил деньги, пересчитал.

— Хорошо живут черномазые.

— Мобилу давай, — просипел тот, что с родимым пятном.

Трясущейся рукой Джейкоб залез в джинсы, достал телефон.

— Ты смотри — айфон, — то ли уважительно, то ли насмешливо сказал рыжий.

— А тут, бля, на бухло не хватает, — бросил до сих пор молчащий парень в черной блестящей куртке.

— Ладно, пошли, — сказал рыжий.

— А с нигером что?

— Хуй с ним, с нигером. Ты откуда такой? — спросил он у Джейкоба.

— Из Нигера.

— Откуда, бля?

— Из Нигера, — и зачем-то добавил, — это в Африке.

— Нигер из Нигера, — заржали парни.

— Вчера такой же, как ты, черножопый пеналь не забил, — разозлился мелкий в динамовском шарфе, — обезьяна, твою мать!

Джейкоб понял, что речь идет о матче «Динамо» — «ПСЖ». Он и сам болел за киевлян, а по выходным на Дарнице играл в футбол со знакомыми пацанами.

— Такое, как ты, чмо черножопое, — заорал мелкий и вновь бросился на Джейкоба.

Он, как тайский боксер, бил коленями и локтями. Джейкоб пробовал закрыть лицо руками, но они, казалось, хрустели вместе с ребрами и лицом. Когда в глазах будто полыхнул салют, как на День Киева, Джейкоб потерял сознание.

Очнулся он в том же переходе. Куртка на груди пропиталась кровью. Джейкоб провел по лицу рукой, почувствовал засохшую корку. Волосы были липкие, словно в дешевом геле.

Опираясь о желтую стену, Джейкоб встал. Мутило, как после наркоза. Он постоял, отдышался. И, шатаясь, пошел вверх по ступеням, к метро.

Вход был закрыт. На дверях висела толстая металлическая цепь и замок. Джейкоб затряс ее то ли от бессилия, то ли стараясь привлечь милицию. Никто не появился.

Джейкоб бросился к дороге вдоль закрытых, похожих на склепы, ларьков. Хотел поймать машину. Он метался, ожидая, кажется, вечность, но дорога пустовала.

Тогда он вспомнил фильм, который смотрел маленьким в центральном кинотеатре Ниамея, про странного американского парня по имени Форрест. Вспомнил и невольно сорвался с места: он побежал вдоль дороги, к себе, на улицу Василенко.

Джейкоб бежал. Он представлял себе квартиру, которую снимал у бабы Шуры, и думал, что первым делом, вернувшись домой, сделает кофе со сливками, отмоется от следов драки и начнет паковать чемоданы.

Выведет в Ниамей первым же рейсом, придет в домик родителей, обнимет их, потом двух младших братьев и совсем маленькую сестру. Они сядут за

стол, и мать подаст наваристый мясной суп из перца. Смачно прихлебывая Джейкоб будет с улыбкой вспоминать, как питался в Киеве шаурмой и пельменями. После он хорошенько выпится, а проснувшись, поедет в гости к старшему брату, в Маради.

Джейкоб мечтал, и мечты окрыляли.

Когда он увидел свой двор с синими турниками, сломанной каруселью и пузатым флотским фонарем над подъездом, резкой тупой болью прострелило висок, ноги скрутило, будто втянуло в мясорубку и Джейкоб рухнул на промерзлую землю. Веки сомкнулись, как двери в вагоне метро. Он силился разлепить их, но они, будто спаянные, не открывались. Джейкоб заорал «Aider!»<sup>1</sup> и вдруг услышал голос рыжего из перехода:

— Ты что наделал, мудила?!

— Да я случайно... может, «скорую», а? — Джейкоб с трудом узнал испуганный голос мелкого в динамовском шарфе.

— Какая, бля, «скорая»? Валим отсюда!

Раздался гулкий топот, а потом стало тихо.

Джейкоб открыл глаза. Он увидел окровавленного чернокожего парня, привалившегося к желтой плитке стены. Голова его свесилась, точно у пьяного, а изо рта темной струей текла кровь. Парень казался знакомым. Джейкоб силился понять, кто это, но никак не мог сообразить, отчего мысли путались, разбегались, будто перепуганные первокурсницы, и ныла голова, словно в нее напихали ваты.

Вдруг послышались звонкие голоса. Джейкоб обернулся, но переход был пуст. Даже окровавленный парень куда-то пропал.

Джейкоб вдруг ощутил странную дрожь в ногах, и вопреки своей воле зашагал вверх по лестнице. В нагрудном кармане куртки он заметил светло-желтый листок, размером с рекламный флайер. Не останавливаясь, Джейкоб достал его и прочитал, что это авиабилет на имя Джейкоба Нгуну. На плотном картоне с переливающейся голограммой в углу округлыми черными буквами было напечатано «Kiev, Borispol — Paris, Charles De Gaulle — Niamey, Houari Boumedienne».

Когда Джейкоб вернулся, билет все еще был с ним.

---

<sup>1</sup> Помогите! (фр.)

Анна Аркатова

## Происходящее за рамой

\* \* \*

Деревьев спиленных суставы зеленкой смазали до лета.  
(Свежа метафора, вы правы, когда б не совпадение цвета!)  
Теперь живее всех, кто живы, они коленками наружу  
Стоят, и гипсовая жижа небес все ближе, бинт все туже,  
Все громче инструмент стерильный перебирают для проформы,  
Чтоб каждый сам собой посильно пошел на запах хлороформа —

Так, проводя увеличенье происходящего за рамой,  
Во мне закончится лечение одной отдельно взятой раны,  
Но, между образов кочуя (*как будто*, — думая, — *как будто*),  
Душа-лошадка, снег почуя, войдет в покои травмопункта.

\* \* \*

То что в детстве у нас называлось глупостями  
Теперь у нас называется нежностями  
Слово попка и слово трусы  
И губами ручные снимать часы.  
А то что в детстве у нас называлось нежностями  
Теперь у нас называется глупостями  
Надень носки допей молоко  
Поспи до завтрака далеко  
(Но все еще перепутать легко).

---

Аркатова Анна — поэт, эссеист. Родилась в Риге. Окончила филфак Латвийского университета. Училась в Литинституте им. М. Горького. Автор четырех книг стихов, в т.ч. «Внешние данные» (М., 2003), «Знаки препинания» (М., 2008), «Прелесть в том» (М., 2012). Лауреат международного Волошинского конкурса 2006. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

\* \* \*

Я жду ребенка. Он не твой. —  
бледнеет героиня в кадре  
и я с ума сойду домой  
вернусь запнусь и вдруг накатит  
шесть слов на выдохе — а вдох  
уже в другой нерастворимой  
религии где тот же бог  
давно не действует лишь имя  
дает всему как свету свет  
и ей не важно что ответил  
герой — любой его ответ  
песок воронка ветер пепел —  
я жду ребенка он не твой  
и ямба этого конвой  
теперь до смерти будет с ними  
но всех прощает героиня.

\* \* \*

Теперь можно лежать и разглядывать потолок,  
Вот паутина, вот угол его потек,  
Вот облетевшая люстра бог знает с каких времен,  
Вот тень от гардин — наших с тобой знамен.  
Теперь можно встать и подойти к окну,  
Съесть по дороге ягоду глянцевою одну,  
Полдень принять за утро,  
Счастье — за цель пути,  
Можно побыть как будто  
Перед тем как уйти.

\* \* \*

Возлюби ближнего своего как себя самого  
Возлюби себя самого как будто тебе семь лет  
Возлюби себя семилетнего как будто ты мама и папа  
Возлюби маму и папу как будто они только завтра приедут  
За тобой а пока вот их нет

\* \* \*

Представим день и вот по этой строчке  
Попробуем пройти поодиночке  
Опоры нет все поручни во льду  
Срывается каблук на полушаге  
И весь ты из картона и бумаги  
Летишь вверх твердишь белиберду  
Но всей зиме во всех ее начесах  
Понятны знаки паузы вопросы  
На лобном месте главного катка  
Замрешь как ель и под тобой на фото  
Подобие цветного эшафота  
А ты-то думал нового витка

Марюс Ивашкявичюс

## Цивилизация Вержболово

С литовского. Перевод Георгия Ефремова

### Загадка

«Все ново лишь до Вержболова, —  
Что ново здесь, то там не ново»

*Вяч. Иванов*

В Российской империи начала двадцатого века эти строки были хорошо известны. Согласитесь: спустя сто лет почти невозможно понять, что они означают.

Как и бунтарское заявление двадцатилетнего Владимира Маяковского в 1914 году: «Пора знать, что для нас «быть Европой» — это не рабское подражание Западу, не хождение на помочах, перекинутых сюда через Вержболово, а напряжение СОБСТВЕННЫХ сил в той же мере, в какой это делается ТАМ!»

И, наконец, третье литературное упоминание таинственного Вержболова — датированное 1913 годом стихотворение «России», написанное молодым, тогда жившим в Париже русским символистом Ильей Эренбургом:

Если я когда-нибудь увижу снова  
И носильщиков, и надпись «Вержболово» (...)  
Я пойму, как пред тобой я нищ и мал,  
Как я много в эти годы растерял.

Это говорится о родине — с русской самоиронией и ностальгией. Но кто оно — это «Вержболово», имя собственное, ставшее нарицательным, вырванное из контекста, ибо контекст, судя по всему, хорошо знаком каждому мало-мальски образованному жителю империи?

Больше не стану испытывать читательское терпение. Вержболово — железнодорожная станция в царской России. Огромная, представительная, убранством уступавшая лишь столичному вокзалу в Петербурге, она стояла на рубеже двух империй — Российской и Германской. Станция, где прощались с Россией и заново встречались с ней цари, поэты, вольнодумцы и просто рядовые граждане исполинской империи, не оставившие по себе заметного следа, только это передаваемое из поколения в поколение русское благоговейное недовольство безграничным отечеством, смешанное с беспредельной тоской...

## Отступление

Мое детство пробежало в семидесятых годах двадцатого века. Одним из главных маршрутов тогда был: Молетай—Кибартай. Молетай — небольшой городок в Восточной Литве. Кибартай — местечко почти такого же размера на юго-западе, возле границы с Калининградской областью, то есть на другом конце.

В Молетае я родился. В Кибартае жили мои дед и бабка. Обычно мы наезжали туда всем миром. Брат отца — с северного края Литвы, сестра — от моря. С трех концов мы съезжались в четвертый.

Дед, которого мы называли «папенька», служил когда-то начальником железнодорожной станции. В мои времена он уже был только цветовод, занимавшийся своей стеклянной теплицей и привозивший побеги редчайших роз со всех цветочных выставок тогдашнего СССР. Бабушка, которую все звали «баба», бывшая фельдшерица и заведующая железнодорожной амбулаторией, в моей памяти руководила лишь кухонной утварью.

Каменный дом, в котором они жили, стоял на улице Горького и выделялся особенно веселой расцветкой. Когда-то его оштукатуренные бока были покрыты лимонной краской. В моих воспоминаниях он остался оранжевым.

Во дворе за тепличным розарием росли яблони, груши, сливы и абрикосы. Чуть дальше — крыжовник и смородина. В кустах крыжовника я помню себя наиболее отчетливо.

Возле самого оранжевого дома была репрезентативная часть сада с небольшим бассейном, водяными лилиями и фонтаном, ухоженным газоном и декоративным кустарником. Тут росло первое и единственное в городе персиковое дерево. Иногда к калитке подходили местные граждане, просили розы, и папенька очень обижался, если за цветок предлагали деньги. Еще он гонял с этого «репрезентативного» газона меня и двоюродных братьев. Свободно ходить можно было только по дорожкам, замощенным плиткой. Он еще ругался, когда мы совали руки в бассейн, поскольку нам там было глубоко. Он вечно запаздывал, когда баба звала всех к обеду.

Иногда мы ездили в Калининградскую область за покупками. Помню только частые ряды деревьев вдоль дороги. И еще границу города, отмеченную кириллической надписью «Нестеров», которую я, кириллицы не знавший, прочитывал как «Нестероб». Все ужасно смеялись.

По вечерам на втором этаже оранжевого дома мы смотрели телевизор. Если показывали футбол, в комнате оставалась только мужская часть родни. Мой отец по такому случаю приносил полную миску яблок. Яблоки он любил, а в Молетае, на другом краю Литвы, сада у нас не было, только небольшая грядка на коллективном огороде. Потом все шли спать. Из стены выдвигалась двуспальная кровать, сотворенная самим папенькой. Там ложились мои родители, а меня клали в ближней комнате, с окном на проезжую улицу. Перед тем как уснуть я слушал проходящие поезда. К этому гулу рельсов было трудно привыкнуть, потому что в наших местах, на другом конце, не было никакой железной дороги.

Папенька умер в 1981-м, и дом пришлось продать. Мне тогда было девять. Потом уже мы приезжали в Кибартай только дважды в год. В день смерти папеньки и на Дзяды в ноябре, когда вся Литва неистово поминает своих мерт-

вых. Красивый праздник. И мне вовсе не грустно. Посетив могилу, мы медленно проезжали мимо бывшего оранжевого дома, которому новые хозяева придали гранитную серость. Заглядывали к Гражине, нашей последней оставшейся в Кибартае дальней родственнице. Пили кофе с бутербродами.

Потом были 1990–1991 годы, Литва заново обрела независимость, и бывшие школьные товарищи соблазнили меня заняться контрабандой меди. Мы ездили через Кибартай в Калининград, там покупали всякие медные хреновины и в Литве продавали. Затем вся эта медь вагонами доставлялась в Германию. Металл мы перевозили тайком на поездах, на старом «Москвиче», совали под капот двигателя. Однажды с рюкзаками, набитыми медью, прыгали через речку Лепону, отделяющую Кибартай от Калининградской области. После успешных вылазок мы ужинали в ресторане и, оставаясь ночевать у Гражины, вручали ей в подарок большую бутылку спирта «Royal». А если на границе мы попадали впросак, тогда от бескрайней обиды пили этот «Royal» сами, даже не разводя водой.

Потом государственная граница достойно укрепилась, этот «бизнес» выдохся, и мы разбрелись кто куда. И снова я ездил в Кибартай только по двум поводам. Мы медленно проплывали мимо своего бывшего дома, заглядывали к Гражине и пили кофе с бутербродами. Как-то Гражина повела нас во двор, показала старую треснувшую мраморную ванну и сказала: это ванна русских царей. Много лет она простояла в ее деревянном доме, вдруг мы найдем покупателя.

Только тогда я понял, что все детство ездил в Вержболово и жил в полусотне метров от того места, где когда-то стоял исполинский, «репрезентативный» вокзал Российской империи. Я почувствовал себя так, будто в пруду, где я нырял всю жизнь, внезапно обнаружился «Титаник».

## *Начало*

Название «Вержболово» — чистое недоразумение. Это славянская калька с имени Вирбалис — городка на юго-западе Литвы. Произошло оно, видимо, от раннего названия Виршбалис (Viršbalis), которое означает место, находящееся выше болота. Мало этого: почти век станция располагалась в Кибартае, то есть в пяти километрах от настоящего Вирбалиса, или Вержболова.

Есть несколько версий, почему станция Вержболово возникла так далеко от Вирбалиса. Согласно одной, местечковые власти Вирбалиса не согласились дать взятку русским чиновникам, и тогда рельсы обогнули городок. По другой, более убедительной, станция должна была быть в Вирбалисе, но, поняв, что отсюда до границы еще пять километров, то есть людей и грузы придется доставлять на повозках, инженеры-путейцы фактическую ошибку исправили, однако станцию не переименовали.

Вся эта каша заварилась в середине девятнадцатого века, когда начали прокладывать железную дорогу Петербург—Варшава. Но эту трассу мы оставим в покое, пусть себе тянется до Варшавы, а оттуда в Вену и дальше на юг Европы. К этой дороге было запроектировано ответвление в Восточную Пруссию. В конце ветки и возник исполинский монстр — Вержболово, станция высшей категории, с огромными залами, гостиницами, ресторанами трех классов, царскими и свитскими апартаментами, гаражом для персонального царского по-

езда, таможнями, паровозным и вагонным депо, а также всеми прочими строениями, характерными для крупных приграничных станций, перечисление которых заняло бы уйму времени. Станцию проектировали французы, возводили немцы, первые поезда подошли к перрону в 1861 году, однако вокзал, очевидно, еще не был достроен, ибо во дворе у Гражины стоит вокзальная электростанция, а над ее дверями красным кирпичом вмурована дата «1865».

Вержболово как символ российской границы тоже создавалось постепенно, вот и Федор Достоевский в «Идиоте» своих героев везет поездом в Петербург еще через Эйдкунен, а Эйдкунен, нынешнее Чернышевское, был таким же пограничным городком, только уже на прусской стороне, за речкой Лепоней, через которую мы с друзьями спустя сто тридцать лет будем переправлять в Литву потайную медь. Тот же Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» 1863 года писал: «Как только все мы переваливаем за Эйдкунен, тотчас же становимся разительно похожи на тех маленьких несчастных собачек, которые бегают, потерявши своего хозяина». Это вновь о вечном комплексе неполноценности русского, оказавшегося в Европе. Если иметь в виду, что с этой фразы Достоевского до вышеупомянутого заявления Маковского пролетит полсотни лет, видно, что русские комплексы в отношении Европы за это время не изменились. Менялись только имена. В русское сознание был вбит новый пограничный столб — Вержболово, он вытеснил немецкий, трудно произносимый и малопригодный для рифмования Эйдкунен.

## Расцвет

Перспектива возведения станции такого масштаба довольно скоро привлекла в Кибартай множество разнообразных мошенников и деловых неудачников из глубины и других окраин Российской империи. К примеру, железнодорожник Илья Левитан прибыл в Вержболово еще до того, как тут появились первые паровозы. А в августе 1860 года у него в Кибартае родился сын Исаак, будущий классик русской живописи, гений пейзажа.

Размеры станции и ее персонала раздуло то обстоятельство, что это было не просто место досмотра паспортов и товаров. Дело в том, что русские использовали железнодорожные рельсы английского образца, с колеей более широкой, чем в остальной Европе. Поэтому пассажиры, прибывшие в Вержболово на одном поезде, русского образца, пройдя таможенный и паспортный контроль, пересаживались в другой состав, приспособленный к колее немецкого типа. Если иметь в виду, что подобным образом с поезда на поезд переносились и все товары, следовавшие из России на запад и обратно, и к тому же, что через Вержболово доставлялась десятая часть импорта и экспорта всей империи, — количество рельсов, вагонов, паровозов и складов должно было быть поистине впечатляющим. Наверное, поэтому станция Вержболово никак не могла обойтись без роскошных апартаментов, предназначенных для царя и его семейства, а также без депо для личного царского поезда, где этот поезд дожидался своего и всероссийского властелина, пока тот разъезжал по заграницам.

«Спал я великолепно, — записывал в дневнике Николай II. — Вечером в половине восьмого прибыли в Вержболово, почти два месяца проведя на чуж-

бине. Пересели на свой поезд (Курский). Еще фельдъегерь приехал сюда с бумагами. Обедали в восемь с четвертью».

Хотя царя по прибытии в Вержболово неотступно сопровождала личная охрана, а дорожная жандармерия тщательно оберегала его от ненужных глаз, иногда императорское семейство принималось общаться с «народом». Так после одного из посещений станции Вержболово сын Николая II Алексей пообещал детям школу в Кибартае. Первая гимназия для мальчиков тут была открыта в 1912 году и получила имя царевича Алексея. Так что жители Кибартая во все времена были привилегированны, ибо, отбив лоб о пороги местных бюрократов, могли обратиться прямо к высочайшей инстанции, когда эта «инстанция» пребывала на их станции. Поначалу таковыми благодетелями были российские императоры, потом — президенты Литвы и, наконец, первые партийные секретари. Последним, к кому с личной просьбой обращалась местная жительница, был Никита Хрущев.

Как и на всех великих мировых распутьях, здесь наряду с легальным предпринимательством процветала и контрабанда. Мы со своими медными торбами были тут далеко не первыми.

Начало существования станции Вержболово почти совпало с вооруженным польско-литовским восстанием 1863 года, по усмирении которого российские власти применили репрессивную русификацию. Была запрещена литовская письменность и введена кириллица. Тогда литовские книги начали печатать в Восточной Пруссии. Они стали одним из наиболее распространенных контрабандных товаров (у меня, филолога, это уникальное явление вызывает определенный восторг). Когда царь Николай II в 1904-м отменил этот запрет, через Вержболово шли уже два потока книжной контрабанды, и второй — нелегальная коммунистическая литература — много серьезнее угрожал основам империи. Возможно, поэтому литовские «книгоноши» были оставлены в покое, а их «бизнес» легализован.

В.И. Ленин, еще в 1895 году прибывший через Эйдкунен в Вержболово, был тщательно обыскан таможенниками, однако никаких запретных книг либо листовок в его багаже не обнаружено. Что именно книги были главной добычей и целью вержболовских мытарей, почувствовал и поэт Александр Блок, следовавший в 1909-м из Италии: «Поздней ночью в огромном, пропитанном карболкой темном зале Вержболовской таможни пассажиров с немецкого поезда выстроили вдоль грязного прилавка и стали обыскивать. Обыскивали долго, тащили кипами чьи-то книги в какой-то участок — любезно и предупредительно. Когда операция кончилась, показалось, что выдержали последний экзамен, и на душе стало легко... Утром проснулся и смотрю из окна вагона. Дождик идет, на пашнях слякоть, чахлые кусты, и по полю трусит на кляче с ружьем за плечами одинокий стражник. Я ослепительно почувствовал, где я: это она — несчастная моя Россия, заплеванная чиновниками, грязная, забитая, слюнявая, всемирное посмешище. Здравствуй, матушка!»

Через Вержболово в Россию возвращались не только живые, но и мертвые. В июле 1904-го из немецкого вагона с надписью «Для перевозки свежих устриц» в русский товарный вагон был перенесен оцинкованный гроб. В гробу были останки Антона Чехова.

## Упадок

В 1914 году началась Первая мировая война, и Вержболово стало станцией Wirballen. Городок Кибартай был дважды сильно разрушен: в начале войны и в ее конце. Но быстро отстроился, и уже в 1918 году, после объявления независимости, станция во второй раз поменяла хозяина и название. Так на литовской границе с Германией возникла станция Вирбалис.

Обретение независимости от России постоянно ставит перед литовцами одни и те же проблемы: что делать с наследием, с этими гигантами индустрии или просто цивилизации, которые были предназначены удовлетворять потребности исполинской России и эксплуатация которых слишком дорога для малого государства. Попросту говоря, станция Вирбалис была велика для Литвы. Но в 1918 году надо было заново овладеть не только огромной станцией, но и всей литовской железной дорогой. Поэтому первый литовский поезд медленно катил в Вирбалис и часто останавливался, ибо машинистам по дороге надо было рубить деревья для паровозной топки. Правда, дровяные котлы не были нашим изобретением, то же топливо использовали в самых роскошных поездах, колесивших по Российской империи еще до Первой мировой войны. Именно их вспоминает Владимир Набоков в автобиографическом романе «Другие берега»: «Тогдашний величественный Норд-Экспресс (после Первой мировой войны он уже был не тот), состоявший исключительно из таких же международных вагонов, ходил только два раза в неделю и доставлял пассажиров из Петербурга в Париж; я сказал бы, прямо в Париж, если бы не нужно было — о, не пересаживаться, а быть переводимым — в совершенно такой же коричневый состав на русско-немецкой границе (Вержболово—Эйдкунен), где бокастую русскую колею заменял узкий европейский путь, а березовые дрова — уголь».

Вторую жизнь в станцию Вирбалис вдохнул и тот факт, что после оккупации Вильнюса Литва прервала дипломатические отношения с Польшей и единственный путь в Западную Европу пролег именно здесь. Бывший маршрут Петербург—Берлин сменился на маршрут Рига—Берлин, не менее важный как для литовцев, латышей и эстонцев, так и для русских, имевших разрешение курсировать между Европой и коммунистическим СССР. Одним из таких был композитор Сергей Прокофьев, которому в его первой поездке в СССР (1927 год) наиболее запомнилась медленная литовская железная дорога: «Утром Эйдкунен, бывшая русская граница, а теперь граница Германии с Литвой. Пересадка из специального вагона в обыкновенный. Зябко и мокро... Литовцы — вежливы, спокойны и говорят по-русски, будто это не Литва, а Россия. Поезд едва тащится. В прежние времена по этой линии они ездили не так. В вагоне-ресторане меня пригласил к столу Петровский (имеется в виду знаменитый тенор межвоенной Литвы Кипрас Пятраускас. — *М.И.*), который когда-то учился вместе со мной в консерватории. Он, оказывается, литовец и, учитывая музыкальное убожество Литвы, является первым музыкантом в своем отечестве. [...] День длинный и тягостный. Поезд еле тащится. Я спросил Петровского, почему так медленно ползет наш поезд. Он ответил философски: "Видите ли, страна маленькая. Чем дальше едешь по ней, тем большее впечатление она производит"».

Маленькая страна поступила с большим вокзалом достаточно мудро, много мудрее, чем позже с ним обошелся огромный СССР, ставший новым хозяином

ном Вирбалиса. Станционные постройки, не нужные малой стране из-за спада в перевозках, были приспособлены к потребностям городка. В здании обосновалось множество учреждений, связанных с железной дорогой настолько, насколько вообще с ней был связан город Кибартай. В бывших царских апартаментах действовал городской суд, а в главной зале ожидания, чью крышу украшал стеклянный купол, местные жители встречали Новый год и другие важные праздники. При надобности эта зала служила и зарождавшейся в ту пору второй религии литовцев — баскетболу. Некто Ляонас, давний друг папеньки, был в 1939-м среди зрителей, наблюдавших, как сборная Литвы, дважды чемпионка Европы, по пути за границу сыграла в зале ожидания станции Вирбалис показательный матч с командой города Кибартая. Когда Пранас Лубинас, поигравший за океаном центр нападения, вложил мяч в корзину сверху, зрители от удивления ахнули. Такого чуда здесь еще никто не видел.

Для взрослого местного населения станция была главным источником существования, а для их детей — гигантским круглогодичным парком аттракционов. Босых и обутых в деревянные клумпы подростков гнали со станции жандармы, и тогда приходилось надевать «выходную» обувь, чтобы встретить скорый Берлин — Рига. Детвора облепляла вагонные окна и чертила на стекле прямоугольники, и это означало: «Милые, чужестранцы, чьего языка мы не знаем, дайте открытку с иностранным видом». И так вот каждый «Норд-экспресс» пополнял коллекции здешних детей все новыми и новыми европейскими городскими картинками.

В северной части станции был роскошный парк, который местные называли Путейским садом. С теннисными кортами и даже кегельбаном. Однако главным акцентом Путейского сада был высокий, обсаженный липами помост, там вечерами играл духовой оркестр, а по площадке напротив помоста кружились пары. Зимой танцплощадку и дорожки вокруг нее заливали льдом, и Путейский сад в свете фонарей становился огромным катком.

Высшие чины государства и в дальнейшем посещали этот приграничный городок. Авторитарный президент Литвы Смятона был в Кибартае дважды, при совершенно различных обстоятельствах. Впервые он приехал, когда главная Старозамковая (Senapiilis) улица была переименована в аллею Антанаса Смятоны. Повторно — в 1940-м, когда Советы оккупировали Литву. По улице имени себя он хотел перейти на Запад, однако был задержан и вынужден бежать через речку Лепону близ кладбища, где сегодня покоятся мои папенька и баба.

## *Конец*

В 1940 году на станцию Вирбалис уже с новой, советской идеологией вернулись старые хозяева — русские. А спустя еще год тут началась война. Наци заняли город без труда. Дольше всех оборонялись русские пограничники, запершиеся в комендатуре. Пулеметный огонь из комендатуры несколько дней мешал фашистским колоннам шагать по главной дороге, ведущей из Эйдкунена в Кибартай. В конце концов прибыл бронепоезд и до основания развалил комендатуру.

Через сорок восемь лет на месте взорванной комендатуры литовцы поставят памятник советским пограничникам. Монумент будет представлять собою

полосатый пограничный столб. Он будет стоять всего в нескольких десятках метрах от речки Лепоны, и советская власть воспримет это как символическое отделение Литвы от СССР. Пограничье — многозначно.

Когда станция вновь стала Wirballen, жизнь в оккупированном Кибартае пошла приблизительно как и во всей Литве. Не успевшие бежать на Восток местные евреи были поголовно расстреляны. Вместе с ними — несколько литовских коммунистов. Оставшимся оккупация не принесла больших сложностей. Молодые мужчины, избегавшие призыва в нацистскую армию, искали работу на станции, ибо железнодорожники в те времена приравнивались к военным. Ляонас получил место телеграфиста. О прибывающих и убывающих поездах он сообщал азбукой Морзе в Альвиту, ближайшую станцию на востоке. Его коллега поддерживал точно такую же связь со станцией Эйдкунен. Казалось, станция переживет еще одну войну.

В 1944 году фронт двигался обратно на запад. Укрепившаяся в двадцати километрах советская артиллерия из дальнобойных пушек обстреливала Эйдкунен. Казимир, отец бывшей учительницы Геновайте и стрелочник станции Вирбаллис, в тот роковой вечер был дежурным. Немец по имени или фамилии Эзе (этого уже никто никогда не узнает), не прячась от Казимира, что-то переключал и возился с проводами на станционном электроузле. Потом посоветовал Казимиру идти домой, собрать семью и ехать в Германию с последним эшеленом. Когда Казимир вернулся домой, в небе уже гремел воздушный бой. Эшелон ушел без него.

Советские летчики, участники боев над Кибартаем, не скрывали приказа об уничтожении станции Эйдкунен и других железнодорожных узлов Восточной Пруссии. О бомбардировках станции Вирбаллис ни один не упоминает. Немногочисленные жители скрывались в подвалах, и никто не видел, какая участь постигла станцию.

В середине девятнадцатого столетия имперская высшей категории станция Вержболово была возведена по русскому заказу. Ее проектировали французы, а строили немцы. В середине двадцатого столетия ее разрушил то ли немец Эзе, то ли русские бомбардировщики под прикрытием французов, пилотов знаменитой истребительной эскадрильи «Нормандия–Неман».

Станция прожила восемьдесят три года. Вполне человеческий век.

## *Эпоха Поствержболово*

Советские бойцы, ворвавшиеся в Кибартай, беспрестанно спрашивали у местных, не Германия ли это. Литва в то время имела статус советской территории, оккупированной нацистами. Немецкая земля начиналась тут же, за рекой Лепоней, прыгая через которую, последний президент Литвы едва замочил ноги, а я, спустя многие годы переправлявший медь, прыгнул еще более удачно.

Речка — узенькая, однако это не спасло живших за нею немцев. Эйдкунен стал первым немецким городком на пути Советской армии. И там была выплеснута вся ярость, которую войска накопили за три года войны.

С самого возникновения станции Вержболово Кибартай и Эйдкунен были своеобразными двойниками. Немки из Эйдкунена по утрам выстраивались воз-

ле пограничного пункта, чтобы попасть в Кибартай на рынок раньше местных женщин. Литовки отоваривались в лавках Эйдкунена. Европейские моды сначала являлись в Кибартае, а уже потом расходились по всей Литве и России.

Фронт прошел, и полупрозрачные, оборванные и оголодавшие немки с такими же призрачными, завшивевшими детьми стали тайком пробираться в Кибартай. Просили милостыню и всеми способами пристраивали своих чад. Здешние их сторонились. Деток, правда, иногда брали. Но только тех, кто повзрослее, способных пригодиться в хозяйстве.

Когда очередной советский солдат продырявил штыком игрушку, набитую сеном, и вышвырнул ее с проклятием: «Фашистская кукла», у трехлетней Геновайте случилась истерика. Русский офицер через несколько дней пришел извиняться и подарил ей роскошную куклу-балерину, тогдашнюю барби. А маме-Анеле, супруге стрелочника Казимира, еще и комплект скатертей с вышитой датой: 1904. Когда Анеле набросилась на офицера, мол, это он ограбил кого-то на той стороне, растерянный русский объяснил, что за Лепоной все это никому не нужно.

Там была вражеская земля, и ее надо было уничтожить. Советские офицеры даже торговали в Эйдкунене домами и колодезными срубам. Бутылка водки за дом в Эйдкунене была тогда самой обычной платой. Дома разбирали и везли в Литву.

В ту пору обрушенной станции Вирбалис выпало испытать еще одно недоразумение. Сто лет простоявшая на германской границе, по ошибке названная Вержболово, хотя ничего общего не имевшая с подлинным Вирбалисом, станция снова была «перепутана». Новые советские чиновники получили приказ уничтожить последние руины станции Эйдкунен. Вместо этого сровняли с землей Вирбалис. А говорят, не так уж он был разгромлен, требовалось не слишком много сил и желания, чтобы постройка снова оказалась в целостности. Чиновники, когда приехали и обнаружили ошибку, долго цокали языками и всплескивали руками, но ложка эта была уже после обеда. Часть каменной кладки ссыпали в подвалы, часть вывезли, но фрагменты бывших стен долго еще блуждали по родной территории. Из них на старом месте позже построили небольшую станцию. Даже постарались возродить архитектурный стиль, только масштаб оказался уже не тот.

Когда мой дед стал начальником станции Вирбалис, шел уже 1950 год. Оранжевый дом начали строить в 1956-м. Строили опять же из осколков станции Вержболово. Отец с братом разбивали куски старой кладки, очищали кирпич от раствора и возводили новые стены. Так великая императорская станция Вержболово понемногу растворялась в новых городских строениях. А в 1965-м исчезло и само ее название. Великое недоразумение завершилось.

И ныне ощущается, что Кибартай стоит на обломках древности. Современная цивилизация не лучше и не хуже прежней, просто она другая. Недавно при строительстве новой таможни обнаружили старые подземелья станции Вержболово. Каменные туннели ведут куда-то вдаль, за границу, где когда-то была Восточная Пруссия, а сегодня — Калининградская область. Непонятно, кому они служили: контрабандистам, разведке или еще кому-то. Таинственной была та цивилизация. И мир, привычный для бывшей станции Вержболово, сегодня выглядит опрокинутым с ног на голову. Раньше тут был край России, а за речкой начиналась заграница. Теперь заграница здесь, а за речкой начинается

Россия. Но из той старой цивилизации, рассеянной по всему свету, иногда кто-нибудь да приедет. Так десять лет назад у калитки Гражины притормозила машина, на землю сошла старенькая еврейка из Чикаго и спросила, может ли она пройти по двору босиком. Прошла и сказала, что теперь уж точно побывала на родине.

В этом дворе она росла между великими войнами. Ее отец был начальником Вирбальской электростанции. Она вручила Гражине двадцать долларов и уехала.

После войны электростанцией заведовал Юргис, муж Гражины. Мой папенька любил заглядывать к нему под вечер. Баба, прибегавшая через несколько дворов, гнала его домой. Когда женились мои родители, в здании электростанции они провели первую послесвадебную ночь. Утром в окно влезли гости, хотели похитить невестину фату. Мама рассердилась, потому что не знала местных обычаев.

Юргис, как и мои дед с бабкой, уже давно на кладбище. Гражина теперь живет с Антанасом. И по-прежнему приглядывает за старой, еще царских времен электростанцией, последним реликтом станции Вержболово. А царскую ванну у нее кто-то украл. Стояла ванна во дворе, хозяев дома не было. Ночью кто-то приехал и увез. Следы колес по двору — остались. Большой был автомобиль. Грузовик, наверное.

## Тоска

Несколько столетий проведенные близ германской границы, среди местных немцев и временами под немецким управлением, жители Кибартая усвоили одну присказку. Если у кого-нибудь что-то не в порядке, они говорят: «Нужен кривой прусак». Потому что прямой прусак — это немецкий солдат, а кривой — штатский. «Кривой прусак», утративший национальный и политический оттенок, теперь является обозначением порядка. Городок сегодня выглядит утомленным, и кривого прусака приходится искать среди литовских горожан. Молодежь уезжает на заработки в Ирландию или Англию. Другие и дальше живут «границей». Нынче главный контрабандный товар — бензин. В Калининградской области он гораздо дешевле. Легально позволяет проехать через границу с полным баком. Однако, подключив к делу таможенников, получается перевезти и больше. Правда, в очередях надо стоять по полдня, кланяться всем и каждому и платить любому, носящему форму. Такая доля у контрабандиста.

Обилие разных религий и конфессий, существовавшее перед войной, по-немногу возвращается, только в новом обличье. Евреев в Кибартае нет. Нет ни германских лютеран, ни реформатов, вымирают последние православные. Единственная более или менее серьезно посещаемая церковь — католическая. Но создаются и новые — апостольская, методистская. Осторожные аборигены подозревают, что это маскировка, под которой проникают в город немецкие, британские и американские спецслужбы. Переживший все войны православный храм стоит пустой. Батюшка наезжает из Клайпеды только если предстоят похороны в местной общине. По церковному двору носится пес-боксер. Храм сторожит бывший начальник здешней тюрьмы. Вот еще одно «логово» — на сей раз русской разведки, как утверждают в городке.

Со стороны все это звучит наивно, но века приграничной жизни приучили местных жителей к разным разведкам так же, как к хлебу и соли. Говорят, что построенная одновременно со станцией Вержболово раздаточная башня, из которой паровозы пополняли запас воды, слишком высока для своих прямых надобностей и, видимо, имела еще одно — разведывательное назначение. Железнодорожники, несколько лет назад приводившие в порядок территорию новой таможни, рядом с нынешней водонапорной башней нашли фундамент другой, значительно большей. Вот у нее-то и было двойное назначение.

Старая вержболовская цивилизация еще жива в местных названиях. Возле самой границы с Калининградской областью стоит массивная многоэтажка, построенная в начале прошлого века. Ее называют Парижем. Другая, ближе к станции, носит имя Берлин. Местные так и говорят: «Живу в Париже» или «Иду в Берлин». От здешнего Парижа через местный Берлин до станции всего несколько минут пешком. В конце маршрута чувствуешь себя пассажиром знаменитого «Норд-экспресса».

На север от станции, где когда-то был парк с духовым оркестром, — сегодня цементный завод. Далее — Задорожье. Это уже мой район. Задорожники во все времена считались вторым сортом. Не потому ли, что по пути в центр города им приходилось лезть под стоящие вагоны. Зато теперь есть мост, выше станции. Идешь и гордишься, словно ты высшего сорта.

Наша улица теперь получила имена Дарюса и Гиренаса. Захожу и я, как та старенькая еврейка из Чикаго, во двор к своим старикам. Двор мало изменился. Рядом со старой дедовской теплицей стоят еще две — и во всех цветы. Для новых владельцев цветоводство не только развлечение, но и заработок. Над забором — колючая проволока. Хозяин жалуется, что местные бродяги лазят через забор и воруют металл. Для отпугивания он даже завел сигнализацию: электронный механизм реагирует на движение, и тут же раздается лай крупной собаки. Это всего лишь запись. Хозяин долго искал собаку с подходящим тембром лая. Выбрал сенбернара.

Иду в дом. На втором этаже та же самая опускающаяся из стены кровать. Та же каморка окнами на улицу, где я когда-то спал. Столовая, в которой мы уплетали фирменный бабин бульон с лапшой, котлеты и десерт с печеными яблоками, кажется непривычно маленькой. Я даже переспрашиваю, не перестраивали ли здесь что-нибудь. Нет, ничего не трогали, оправдываются хозяева, словно этот дом принадлежит не им. Даже ведут в туалет и показывают наш старый водяной бак с рычагом и веревкой, за которую только потяни — и бежит вода: все, что наделал, смывается. Унитаз поменяли, а бачок оставили.

Благодарю и ухожу. Я исполнил своеобразный обряд. Теперь к общей ностальгии по Вержболову я могу добавить и миниатюрную свою. Для меня это теперь тоже утраченная земля. Как мы сентиментальны!

А местные железнодорожники говорят, что скоро тут будет пущен поезд Петербург—Берлин. И тогда снова кто-нибудь ностальгически зарифмует:

Если я когда-нибудь увижу снова  
И носильщиков, и надпись «Вержболово»...

Но нет, уже вряд ли зарифмует. Ибо все повторяется, кроме времени.

*Елена Печерская*

## Литва — любовь моя, или Долгий путь к себе

В Литву с ее солнцем и соснами, ливнем и песчаными дюнами, янтарным полднем и солеными морскими ветрами трудно не влюбиться. Но одно дело — легкое прикосновение, поверхностное увлечение и совсем другое — глубокое погружение, верная и продолжительная привязанность, когда совсем недавно чужая страна становится неотъемлемой частью твоей собственной жизни. Именно так и произошло со мной. (Замечу в скобках, что ранее мне приходилось бывать в других странах Балтии, в Латвии и Эстонии, и хотя мне многое искренне нравилось там, подобной глубинной связи я все-таки не ощущала.) В чем же причина нахлынувшего столь внезапно, однако, как показали дальнейшие события, серьезного и прочного чувства? На этот вопрос я постараюсь ответить в своих путевых заметках.

### *Кушать подано*

Впервые я очутилась в заснеженной Литве совершенно случайно. Само сочетание «заснеженная Литва», думаю, выглядит весьма экзотично, ибо горнолыжными курортами страна вовсе не славится и среднестатистические путешественники предпочитают отправляться туда летом, лучше всего в июле, в крайнем случае в августе. Но у меня день рождения под самый Новый год, и я внезапно наткнулась на объявление, в котором предлагалось провести надвигающиеся праздники в Паланге за смешную цену. Почему бы нет, подумала я, конечно, Паланга не Париж, зато Новый год получится очень даже нетрадиционный. И дух здорового авантюризма погнал меня в дорогу. В тот момент я и не подозревала, какой переворот в сознании вызовет эта спонтанная поездка и какими далеко идущими последствиями она увенчается.

\* \* \*

Первое, с чем сталкивается каждый путешественник, приезжая в любую незнакомую страну — ее кухня. Утром, шествуя по длинной, убеленной снегами улице Басанавичюса, я с энтузиазмом созерцала ряды ларьков с копченой рыбой, не только морской, но и речной, и озерной. Приятный запах дымка витал над этими съестными припасами, обольстительно щекоча ноздри, потому что здесь явно преобладала продукция горячего копчения. Нестерпимо тянуло от-

ведать все, начиная с аристократического и дорогого угря и заканчивая вполне демократичным и несколько костлявым, но зато очень нежным лещом. Причем рыбка имела довольно непривычный для нас вид, поскольку была буквально вывернута наизнанку. Именно так здесь с нею и поступают: беспощадно потрошат, освобождая от внутренностей, затем без лишних церемоний выворачивают, щедро посыпают пряностями, от которых рыба плоть приобретает неожиданный красновато-терракотовый оттенок, и обрабатывают дымом. Свежая, хорошо прокопченная и обильно сдобренная специями, она буквально тает во рту, желательна, конечно, в классическом сопровождении пива. С этим древнейшим напитком, который, если верить мифам, охотно потребляли еще вавилонские боги, здесь тоже нет никаких проблем. Правда, такого разнообразия, как в Чехии, в Литве вы не найдете, но местное пиво отличается оптимальным сочетанием цены и качества и с честью выдерживает конкуренцию с лучшими немецкими и финскими сортами. Особенно хорошо себя зарекомендовал пенный напиток фирмы «Швитурис» («Маяк»). Он отличается благородным, чистым горьким вкусом и особенно привлекателен в своей не пастеризованной, живой разновидности; воистину напиток богов!

Как известно, пиво, хмельной напиток, издавна получаемый из зерна, принято величать жидким хлебом. Но и обычный хлеб здесь способен оправдать самые высокие ожидания, поскольку в тесто добавляется не только тмин, к которому мы более-менее привыкли. Своеобразный и неповторимый вкус некоторых сортов литовского хлеба создается с помощью крайне неожиданных для нас внесений, таких, например, как корень аира. В России это растение известно главным образом как целебное, а здесь его охотно используют в качестве приправы, придающей хлебному мякишу приятный вкус и аромат. Одним словом, не хлебом единым жив человек в том смысле, что здесь его разновидностей великое множество, как, впрочем, и любой другой выпечки. Что касается блинов и оладий, то в Литве в них тоже знают толк. Вам предложат оладьи и блинчики на выбор с самыми разнообразными наполнениями, включая шпинат и банан. А уж картофельные блины вообще входят в число любимых национальных блюд, как в виде драпиков из сырого картофеля с начинкой и без, так и в чисто жемайтской разновидности, приготавливаемой из картофельного пюре с прослойкой мясного фарша.

Созерцая все это рыбо-пивное изобилие на улице развлечений (именно так называют в Паланге улицу Басанавичюса), я осознала, что смерть от голода в Литве мне точно не грозит. Дальнейшее знакомство с традициями местной кулинарии мою догадку полностью подтвердило. Национальные блюда литовцев отличаются вкусом пикантным и одновременно нежным, что достигается щедрым добавлением как специй, так и жиров. Здесь в равной степени любят и ценят и шварки, и сметану и без лишних комплексов могут обильно сдобрить одно и то же блюдо и тем, и другим. Именно с таким традиционным аккомпанементом из сала и сметаны принято подавать большинство картофельных кушаний, которые здесь, как и в Белоруссии, составляют основу национального стола. Без привычных для всех цеппелинов и плокштейниса, или кугелиса, то есть картофельной запеканки, не обходится ни один семейный праздник в Литве. Достоин упоминания также ведарай, картофельная колбаса, уложенная в подкопченную оболочку из свиной кишки. Летом большой популярностью пользуется шалтибарцау, сиречь холодный борщ, который весьма похож на

привычный нам свекольник, но отнюдь не без местных ноу-хау. В частности, он готовится на специальном кефире повышенной жирности, и к нему обязательно подается дымящаяся картошечка, сваренная отдельно. Получается интересный вкусовой контраст, и смотрится такое блюдо красиво и неожиданно. Способна удивить туристов и селедка, которую здесь не поливают постным маслом, а заправляют сметаной, отчего ее вкус становится значительно мягче. На десерт вам могут предложить шакотис, который представляет собой оригинальный вид сухой выпечки с обилием сахара и яиц, выпекаемый... на вертеле, в результате он становится похож на желтоватое деревце («шакотис» означает «ветвистый»). Правда, злые языки утверждают, что придумали шакотис в Германии, а в Литве лишь усыновили, но ведь кулинарный обмен, как и культурный, никто не отменял, верно?

При этом следует учитывать, что Литву, которая отнюдь не может похвастаться исполинскими размерами, тем не менее, населяют несколько коренных народностей: аукштайтийцы, жемайтийцы, сувалкийцы, дзукийцы... У каждого из них существуют собственные кулинарные предпочтения, как и блюда-фавориты, освященные многовековой традицией. Поэтому скажем прямо: за анорексией и дистрофией устремляться в Литву не стоит. Здесь самая невинная любознательность, помноженная на любовь к дегустациям, вполне может сыграть с вами злую шутку в деле усвоения лишних калорий.

### *Спасибо, что живой*

Как известно, путь к сердцу среднестатистического человека лежит через желудок, а вот к сердцу филолога — через язык. Поэтому не национальная кухня Литвы, при всем ее неизъяснимом очаровании, стала причиной моей любви к этой стране. Просто в первый же день я услышала, как считает вслух маленький житель Паланги: «Венас, ду, трис, кетури, пенки...» И участь моя была решена. Дело в том, что изоощренное ухо лингвиста незамедлительно и чутко уловило: передо мною вживе и въяве предстали прототипы аналогичных русских числительных в их древнейшей, почти первоначальной форме. Фактически я встретила живых ископаемых, которые претерпели существенные изменения уже на стадии старославянского, а здесь остались почти неизменными, максимально приближенными к реконструированным учеными формам индоевропейского языка-основы. Откровенно говоря, я никак не предполагала, что где-нибудь в подлунном мире можно встретить язык столь же древний, как мертвые латынь или санскрит, но при этом звучащий и действующий. Подумать только, в современном литовском сохранились оформление слов мужского рода на -ас, — ус, -ис, как в древнегреческом и латыни, сочетания гласного с носовым, которые в русском давно заменились гласными «у» и «я», дифтонги, то есть сочетания из двух гласных, также нами утраченные, звательный и местный падежи, остались титлы, или надстрочные знаки, отмененные еще Петром Великим, и прочие архаичные особенности. Можно еще долго их перечислять, но и так понятно: литовский язык — настоящий живой памятник, или заповедник, где, словно на территории затерянного мира, некогда описанного Конан Дойлом, преспокойно разгуливают живые ископаемые, давным-давно вымершие на материке. Если вам интересно узнать, как говорили и писали наши далекие предки, приезжайте

сюда и не поленитесь изучить этот вполне себе живой язык. Нельзя сказать, что это будет слишком легко, поскольку литовская грамматика сохранила все богатство форм, в норме и изначально присущее любому языку индоевропейской семьи, но это, вне сомнений, увлекательный и даже захватывающий процесс. Процесс познания себя в первую очередь. Кроме того, задача эта все-таки посильна, потому что языки славян и балтов — достаточно близкие родственники и запас корней в основном совпадает. Чтобы убедиться в этом, сравните некоторые глаголы: нести — нешти, идти — эйти, везти-вежти... Правда, далеко не со всеми словами дело обстоит столь легко и безоблачно, например, «нога» по-литовски «койя», ничего общего, не правда ли? Но если хорошенько порыться, обязательно отыщется и слово «нагас» — копыто. Одним словом, раз уж вы не говорите по-литовски с детства, вам поможет, вероятно, только сопоставительная лингвистика. Зато этот язык, древний, как мир, еще раз подтверждает библейскую истину: некогда мы все говорили на едином наречии. И будь на то моя воля, я бы ввела литовский, ласкающий слух язык и небо любого лингвиста, хотя бы в виде факультатива на всех филологических факультетах мира. Действительно, чем он хуже латыни? В тысячу раз лучше, потому что, в отличие от нее, живет и здравствует.

Вы спросите, как это литовский сподобился сохраниться в первозданной целостности до наших дней, в то время как все остальные языки обширной индоевропейской семьи подверглись драматическим изменениям? Дело обстояло в полном соответствии с известной русской поговоркой: не было бы счастья, да несчастье помогло. Из-за сложных перипетий в истории страны литовский язык, как ни странно, прежде никогда не был в ней государственным и, того хуже, неизменно оказывался где-то на обочине культурных связей. Им попросту веками не занимались, а значит, он и не подвергался серьезному реформированию. Отношение к нему бытовало как к деревенскому, мужицкому диалекту, и сами литовцы, получив образование, предпочитали изъясняться на польском. Показательно, что Адам Мицкевич, выдающийся польский поэт, по национальности литовец. (Заметим в скобках, что именно из-за этой вечной путаницы многие справочники утверждают, будто Владислав Ходасевич наполовину поляк. В действительности его отец также был литовцем.)

А литовский язык, предоставленный сам себе и свободный от серьезных вмешательств, благополучно дошагал до наших дней в своем практически первозданном виде. И с момента первой встречи с ним меня не покидало странное, парадоксальное и почти мистическое чувство, несколько похожее на сон, будто я уже когда-то прежде говорила на этом наречии. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: все индоевропейцы некогда пользовались языком, весьма похожим на литовский. С тех самых пор я и стала днествовать и ночествовать в обнимку с самоучителем по литовскому языку.

Результаты этой интимной связи не замедлили сказаться. Вскоре я уже с легкостью разбирала вывески и объявления, читала ценники в магазинах, могла самостоятельно сделать заказ в кафе, отчего мое повседневное существование в стране становилось все комфортнее с каждым новым визитом. Расхрабрившись, предприняла первые, не во всем успешные попытки читать в оригинале стихи литовских поэтов. И, наконец, моим дерзаниям венец: я погрузилась в чтение национальных сказаний, сказок и легенд. Именно здесь передо мною

открылся целый затонувший материк, подобный приснопамятной Атлантиде или, как минимум, древнему граду Китежу.

### *Это он, это он, наш древнейший пантеон!*

Как известно, Киевская Русь приняла православную веру в 988 году, а Литва стала католической лишь на четыре, а местами даже на пять столетий позже (особенно продолжительно, отчаянно и упорно сопротивлялась Жемайтия). Таким образом, в самом сердце христианской Европы долго существовал и пульсировал островок, где сохранялась старая языческая вера со всеми ее обрядами, ритуалами и праздниками. Вдумайтесь только: повсюду священники уже давно отправляли требы Иисусу Христу и Деве Марии, а здесь жрецы и жрицы все еще возжигали священный огонь, воздвигали жертвенники и кормили священных ужей. Здесь считались сакральными целые рощи и отдельные деревья, а также крупные камни, обожествлялись солнце, море, небо, звезды, ветер и другие явления природы. Надо сказать, что этот последний оплот язычества среди европейских народов яростно сопротивлялся искусственно насаждаемому сверху католицизму. Немало епископов, силившихся обратить упрямых литовцев в истинную веру, пало от рук последних в той стране, сплошь покрытой дремучими лесами и ничуть не менее дремучими предрассудками и суевериями. Но еще важнее другое: новая религия принималась либо поверхностно, либо притворно, в сущности же народ оставался языческим по духу и продолжал поклоняться прежним, привычным богам. Формальное принятие христианства не слишком изменило национальное сознание литовцев. И сегодня этот дух древнейших верований и ритуалов продолжает витать над внешне католической страной. Достаточно просто вслушаться в литовские имена, мужские и женские, чтобы убедиться в этом. Мальчика здесь охотно нарекут Угнисом (Огонь), Гинтарасом (Янтарь), Саулюсом (Солнце), Гедрисом (Ясный день), Айдасом (Эхо), Ажуоласом (Дуб в самом лучшем значении этого слова). Для девочек арсенал еще шире: Эгле (Елка), Раса (Роса), Аушра (Заря), Аудра (Буря), Даля (Доля), Рута (Рута) и так далее. Что это, как не обожествление сил природы или, попросту говоря, чистой воды язычество?

Кстати, именно здесь, а не в какой-нибудь другой европейской стране вы можете посетить Музей чертей, находящийся в Каунасе, или Гору ведьм, обосновавшуюся в Йоудкрасе на Куршской косе. Уж поверьте мне на слово, здесь на вас взглянут настолько колоритные персонажи, более чем убедительные в своей художественной полнокровности, что и Гоголь при всей его яркой фольклорности позавидовал бы.

Порой мне кажется: большинство психологических проблем нынешних литовцев вызвано именно тем, что все эти архаичные мифологемы расположены слишком близко к поверхности в их национальном сознании. Тоненький слой общепринятого современного европейского лоска едва прикрывает их, словно еще не затянувшийся родничок у младенца, а непосредственно под ним по-прежнему обитают раганы (ведьмы) и айтварасы (воздушные змеи, приносящие богатство), лаомы (феи) и черти всех мастей вкуче со всеми прочими фольклорными персонажами, представляющими обширный индоевропейский языческий пантеон.

Надо сказать, что древние дохристианские верования славян и балтов были очень близкими, практически совпадающими. Так, у славян возглавлял сонм богов громовержец Перун, бог грозы, а у литовцев те же функции осуществлял Перкунас. Соответственно, у нас громовые раскаты именовались перунами (слово продержалось в поэтической речи достаточно долго и было использовано Тютчевым уже в XIX веке), а у литовцев гром и сегодня называется «перкунья». Бог-громовержец — активный персонаж литовского фольклора, он вершит свои функции, по большей части карающие, в немалом количестве сказок и мифов.

Еще интереснее обстоит дело с богиней судьбы, которую у литовцев называют Лайме (Счастье) или Даля (Доля). Она тоже действует в большом количестве литовских сказок, в некоторых из них под суровым давлением главного героя соглашаясь исправить определенную ему изначально несправедливо тяжелую долю. Такие богини у индоевропейцев традиционно считались пряжами, выпрядающими нить человеческой жизни. У античных народов их было три (у греков — Мойры, у римлян — Парки), и одна из них в Элладе именовалась Лахетис, что, согласитесь, довольно похоже на литовскую Лайму. Известно, что у наших предков также имела соответствующая богиня по имени Макошь, тоже причастная к прядению. После того как ее идол вместе с изображениями прочих языческих божеств был низвергнут и утоплен в Днепре, образ ее еще долго всплывал в народном сознании. Позднее отчетливое представление о богине доли окончательно размылось и было заменено православной святой Параскевой Пятницей, которая, вполне естественно, также покровительствовала пряжам и всем женским работам.

Но вот что самое интригующее. Вы никогда не задумывались, почему принято считать кукованье кукушки и по нему определять, сколько лет суждено прожить? Почему мы не относимся столь же трепетно к чириканию воробьев, карканью ворон и даже к кукареканью петуха, птицы, предрекающей восход? Почему почетная роль предсказательницы отведена именно кукушке? Увы, русский фольклор на этот вопрос дать ответ бессилён: существует такое поверье и все тут. Зато знакомство с верованиями литовцев все расставляет по своим местам. Оказывается, кукушка считалась птицей, посвященной богине Лайме-Дале, определяющей жребий человека, выпрядающей нить его жизни. Именно она и никто другой, по логике наших предков, могла своим криком ответить на вопрос, сколько отведено тому или иному человеку лет земной жизни по воле богини судьбы. Так что суеверия — вовсе не глупость, а весьма серьезная и глубокая вещь, просто их истинные корни в большинстве случаев нами прочно забыты.

Нами, но не литовцами, ныне сделавшими старые языческие праздники общенациональными. При всей любви России к выходным мы все же не устраиваем массовых гуляний по случаю дня летнего солнцестояния (Ивана Купалы). Между тем все поверья, относящиеся к этим языческим ритуалам, у нас совпадают точь-в-точь, вплоть до цветка папоротника, который распускается раз в году, и позднерхристианского названия (Йонинес у литовцев, также от имени Йонас — Иван). Кстати, до принятия католичества этот день в Литве назывался Расас, то есть Росник. А 15 августа вся страна вновь не выходит на работу на законном основании, отмечая Жолинес, то есть Травник — праздник сбора урожая, также имеющий тысячелетние традиции. В России день последнего

снопа, древнейший праздник земледельцев, некогда славившийся веселыми плясками и хороводами, давно покрыт забвением.

Почти столь же прочно забытым является и старославянский бог Велес, позднее отождествленный с православным святым Власием. Сведения о роли божества и его функциях путаны, сбивчивы и противоречивы. По некоторым данным, Велес был «скотским богом», а потому и день святого Власия считался «коровьим праздником». Согласно другим сведениям, его признавали как раз богом урожая и последнего снопа, который довольно долго было принято оставлять в поле «Велесу на бородку». Но существует и третья версия: если верить ей, Велес покровительствовал душам предков, отсюда и связь с подземным царством и землей. Как всегда в спорных случаях, обратимся к литовским источникам. Ответ находим довольно быстро: «веле» по-литовски — «душа умершего», поэтому ближе других к истине следует признать третью версию. Дополнительные функции у Велеса могли появиться вследствие жертвоприношений, при которых первоначально закалывали животных, а позднее посвящали богу часть урожая.

Таким образом, я все больше убеждаюсь, что именно в Литве архетип сознания индоевропейца сохранился с наибольшей полнотой. Как писал санкт-петербургский поэт и философ Владимир Шали, «нельзя на земле без Египта: забытая родина всех!» Именно такой «забытой родиной» предстает Литва взору внимательного наблюдателя.

### *«Может быть, тот лес — душа твоя...»*

Если проехать скромную по своим размерам Литву из конца в конец, может показаться, что за короткое время вы успели посетить несколько стран. В самом деле, вот небольшой выход к Балтийскому морю — Жемайтия с узкой полосочкой так называемой Малой Литвы с ее Палангой и уникальной территорией Куршской косы, с красивейшими парками, где на прудах плавают белые лебеди, и бесчисленными островками дремучих лесов. Хотите верить, хотите нет, но именно здесь, в палангских дюнах, прямо за территорией женского пляжа, мимо меня однажды торопливо прошмыгнуло существо, очень напоминающее мифического *giwoite*. Именно таких предки современных жемайтийцев, по слухам и легендам, кормили в своих домах: цвета мокрого асфальта, с плоской головой и длинным хвостом, на четырех коротких лапах. Что это такое — особый вид ящерицы или же саламандра — мне так и не удалось выяснить.

Вообще в Жемайтии немало загадок. Прежде всего, местное население говорит на диалекте, который настолько резко отличается от общепринятого литовского (за литературную норму здесь взята речь аукштайтийцев), что есть основания считать его отдельным языком. Специалисты отмечают не только различия в произношении, но и своеобразные грамматические формы, и специфику местной лексики. Говорят даже, что речь жемайтийцев отличается от литературного эталона сильнее, чем украинский от русского. Судя по всему, жемайтийское наречие ближе других к вымершему языку пруссов, народности, также относившейся к группе балтов, позднее ассимилированной немцами и исчезнувшей с лица земли. Что касается характера жемайтийцев, то он у остальных литовцев просто притча во языцех. Если верить устоявшемуся мнению, жители

Жемайтии медлительны, упрямы, прижимисты, неповоротливы и неотесанны. Впрочем, те тоже в долгу не остаются и утверждают, что население Каунаса, например, состоит исключительно из литовских уголовных элементов, а также из ограниченных и угрюмых националистов. Злые языки утверждают даже, что, если весь Каунас обнести колючей проволокой, ни один его житель не дрогнет и не удивится. Одним словом, русская поговорка о соломинке в чужом глазу и о бревне в собственном оказывается как нельзя более кстати в этом случае. Но все это так, к слову.

Если вы вознамерились отведать деревенского сала или грудинки, поесть вкусного домашнего творожка, полакомиться соленьями, запастись сухим сыром в дорогу и при этом находитесь в Жемайтии, рекомендую заглянуть в субботу утром на рынок в Кретинге. Кретинга — небольшой городок неподалеку от Паланги, вокруг которого — обширная сельская местность. Вот мы с приятельницей и пристрастились к домашнему козьему сыру, причем брали его всегда у одного и того же торговца. Но в одно прекрасное субботнее утро видим: продавец на своем обычном месте, а вожделенного продукта у него нет. Мы, конечно же, подумали, что нас просто опередили и раскупили наш любимый сыр; когда же торговец ответил на вопрос моей спутницы, мне показалось, что меня подводит знание литовского и я что-то не так поняла. Слишком странным показалось на первый взгляд то, что он произнес с выражением глубокой печали: «Волки зарезали козочек». Однако приятельница, выросшая на хуторе в Жемайтии, видя мое недоумение, закивала сочувственно и с пониманием. Отойдя, она объяснила мне: такое бывает здесь, сейчас как раз сезон обучения волчьего молодняка искусству охоты, и старые волки режут мелкий рогатый скот, так сказать, в учебно-показательных целях. А вообще-то серые хищники в жемайтийских лесах — вовсе не экзотика, а их исконное и законное население.

Стоит двинуться к центру страны — и узкая береговая линия с Куршским заливом, который в дни штиля лежит ровно и неподвижно, словно блюдце, и фантастическим, почти марсианским пейзажем Куршской косы останется позади. Характер местности изменится, и перед взором развернется обширная равнина, по которой величественно и неторопливо течет Неман (в Литве эту реку называют Нямунасом). Надо сказать, что водоемов в Литве великое множество, включая реки, речушки, озера всевозможных размеров и немалое количество родников. Вообще здесь никогда не чувствуется недостатка во влаге, ведь, по мнению многих, само название «Летува» значит «страна дождей». Вероятно, благодаря постоянному обильному орошению растительность здесь сочная, нет отсыхающих веток, которые придают меланхолический вид типичному среднерусскому пейзажу, деревья стоят зеленые, и листопад начинается заметно позже, чем у нас. Но самой полноводной и могучей среди рек Литвы является именно Нямунас, который в сознании нации играет примерно ту же роль, что у русских Волга. Именно в его плавном течении, на просторной равнине, над которой местами возвышаются холмы, опять же поросшие лесом, раскинулись два самых крупных города Литвы — Вильнюс и Каунас. Их разделяет расстояние всего лишь в сто с небольшим километров, да и во времени они возникли тоже совсем рядом друг с другом. Рожденные одной эпохой, эти города имеют несомненное сходство, хотя у каждого есть свои особенности и собственная история.

Как я уже упоминала, оба города раскинулись среди холмов, покрытых

лесом, видимо, благодаря этим зеленым легким, несмотря на загрязнение, привнесенное нашим высокотехнологичным временем, воздух здесь чище, чем в большинстве крупных российских городов, и дышится легче. Но так же, как в России и во всей Европе, городские поселения брали свое начало с фортификаций, так что вполне привычный для нас принцип «начинается земля, как известно, от Кремля» действовал и здесь. Остатки башен и крепостных стен в городах Аукштайтии наглядно подтверждают, что дело обстояло именно так.

Вильнюс, который на протяжении веков оставался столицей Великого княжества Литовского, в сущности, город-космополит. Несмотря на целый ряд зданий, традиционно символизирующих литовскую государственность, таких, как башня Гедиминаса и знаменитые соборы Святой Анны и Петра и Павла, здесь можно найти следы пребывания самых разных культур, включая польскую, русскую, еврейскую... И может быть, именно в этой вселенской открытости основная его особенность, которая способна привлекать сердца или, напротив, отталкивать их.

Каунас был временной столицей страны в 20-х — 40-х годах прошлого столетия (интересно, что по-литовски «состас» — престол, трон, «состине» — столица, стольный град, то есть язык «мыслит» в этом случае так же, как и русский). За шесть столетий своей истории город не раз подвергался опустошительным разрушениям и пожарам и вновь вставал из руин ценой величайших усилий, упорства и самоотверженного труда. Он не ошеломляет таким количеством роскошных зданий, как Вильнюс, и в этом смысле вряд ли может с ним конкурировать. Но его будничные, несколько аскетичные и мужественные облик мне импонирует даже больше, чем эклектичная городская среда Вильнюса. Пожалуй, в целом эта «повесть о двух городах» чем-то напоминает отношения между Москвой и Санкт-Петербургом.

Двигаясь дальше на юг, мы попадаем в Дзукию с ее знаменитым курортом Друскининкай. Эта местность, несмотря на ее удаленность от моря, так же, как и Паланга в Жемайтии, славится как место лечения и отдыха. Сюда охотно приезжают не только жители самой Литвы, но и поляки, немцы, шведы, финны и прочие обитатели Европы. Друскининкай популярен благодаря своим минеральным водам, лечебными грязям, чистому лесному воздуху и давно и прочно завоевал репутацию природной бальнеологической лечебницы. Здесь расположено великое множество источников и озер вулканического происхождения и крупных валунов, которые тоже приволок сюда движущийся ледник. Местные леса густы и чрезвычайно живописны, тут преобладают различные хвойные породы, особенно разнообразны можжевельники. Кстати, поговаривают, что в этих чащобах и дебрях и поныне водятся не только волки, как в Жемайтии, но и рыжие лисы, и кабаны. Правда, randevу с представителями местной фауны мне почему-то не удалось, возможно, просто времени было маловато. Именно лесными богатствами, обилием грибов и озерной рыбы, не считая, разумеется, минеральной воды и грязей, славится дзукийский край. Здесь нет достаточных условий для успешного земледелия и скотоводства, и дзукийцы на протяжении веков считались самыми бедными среди жителей Литвы. Несмотря на это, они отличаются веселым, жизнерадостным и дружелюбным нравом, гостеприимны, любят яркие цвета, шарфы и ленты, а речь их не слишком отличается от аукштайтийской.

Таким образом, небольшая, но удивительно красивая и разнообразная

Литва как будто действительно вмещает в себя несколько стран и способна обогатить путешественника целой палитрой самых разнообразных впечатлений. Но неизменным лейтмотивом всей этой своеобразной территории для меня остается короткое слово «лес». Именно лесу могу я уподобить душу литовца, которой отнюдь не чужды внезапные порывы и необузданные страсти. Национальный характер литовца стихийен по своей природе и резко отличается от упорядоченной и спокойной природы латышей и эстонцев. Впрочем, последние вообще не имеют отношения к индоевропейским народам, так как принадлежат к финно-угорской группе. Но если словосочетание «горячие финские парни» носит ярко выраженную ироническую окраску, то в отношении литовцев тот же эпитет — вовсе не преувеличение. Ведь не случайно именно жемайтская сказка вдохновила Мериме на создание знаменитого рассказа «Локис», где человек с легкостью и непринужденностью преобразуется в медведя. И уж точно не зря режиссер Григорий Козинцев, снимая фильм «Король Лир» по одноименной пьесе Шекспира, отдал предпочтение именно актерам из Литвы — и не ошибся в своем выборе. Кто же достовернее, чем они, ближе остальных стоящие к архетипу индоевропейца, способен показать открытую, первозданную, поистине шекспировскую страсть? Сами понимаете, вопрос риторический. Ибо здесь кругом лес, лес, лес...

### *Проблемы и пробелы. День сегодняшний*

Если верить последним научным изысканиям, именно в Литве бьется географическое сердце Европы. К сожалению, не всегда география и экономика счастливо совпадают. Природа, щедро снабдив небольшую страну различными красотоми и редким разнообразием пейзажа, почему-то вовсе не позаботилась о богатстве ее недр. Как удачно пошутил один местный фермер, полезные ископаемые в Литве есть. Это картошка, которую, правда, нужно сначала закопать, а потом уже можно будет и откопать.

В результате картина в целом складывается не слишком радостная. Промышленность, которая была создана здесь в годы советской власти, подверглась полному разрушению. Кстати, этот феномен особенно заметен на судьбе многострадального Каунаса, где прежде было много предприятий, вокруг которых кипела жизнь, а теперь царят застой и безработица. Бензин в Литве стоит примерно в пять раз дороже, чем в России, коммунальные платежи непомерно высоки, особенно зимой, когда приходится платить за отопление. В этот период владелец небольшой квартиры должен выложить 4–5 тысяч рублей в переводе на российские деньги ежемесячно только за тепло, а ведь тарифы на электричество и воду тоже никто не отменял. При отсутствии промышленности работу можно найти только в сфере услуг, образования или туризма. Рабочих мест недостаточно, зарплаты низкие, пенсии в Литве также маленькие, сколотить даже скромную сумму здесь практически невозможно. В таких условиях начался настоящий исход из Литвы, а попросту говоря, повальное бегство молодежи в европейские страны в поисках лучшей доли. Тем более что теперь, когда страна стала членом ЕЭС, никаких трудностей на этом пути не возникает. Вот и едут молодые литовцы в Великобританию, Германию, Швецию, Норвегию и даже США, чтобы трудиться там, как хорошо известные нам гастарбайтеры, уборщи-

цами, сиделками, дворниками, разнорабочими на стройке... А что делать, если даже при таком амплуа за границей они заработают больше, чем на родине? Причем покидают отечество самые энергичные и трудоспособные, предприимчивые и настойчивые. Как правило, эмигранты обратно в Литву не возвращаются. Найдя работу, они постепенно получают гражданство, приобретают жилье, создают семьи и рожают детей, которые автоматически становятся гражданами другого государства. И если первое поколение, родившееся за границей, литовский язык знать будет, поскольку на нем говорят в семье, то второе — уже сомнительно. Практически не востребованный в новых условиях, к тому же сложный и архаичный — к чему тратить время и силы на изучение языка предков?

Между тем за пределами Литвы уже устроили свою жизнь примерно шестисот тысяч прежних ее обитателей. Для страны с населением всего в три с половиной миллиона человек это достаточно ощутимая цифра. И хотя известный литовский поэт Томас Венцлова, к слову, сам давным-давно живущий в США, оптимистично заявляет в одном из своих телевизионных интервью, что эмиграция — нормальное явление, с этим, при всем уважении к классику, трудно согласиться. Такой отток мозгов и рабочих рук, несомненно, обескровливает нацию, в результате отъезда молодых людей репродуктивного возраста рождаемость в стране падает. Из года в год уменьшается количество учебных классов, многие школы закрываются, и это касается отнюдь не только русских средних учебных заведений, но как раз в первую очередь — литовских. В стране элементарно не хватает детей школьного возраста.

Законотворчество литовских властей, как ни странно, ситуацию только усугубляет. Вот что рассказал мне двадцатидвухлетний местный парень, который в тот момент лихорадочно старался заработать деньги, чтобы уехать из страны. В силу каких-то несчастливых обстоятельств он ранее был вынужден признать себя банкротом. В тот момент в Литве действовал закон, по которому человек с таким статусом имел право на бесплатное медицинское обслуживание. Потом в одночасье все изменилось, помощь врачей стала платной и для этой категории. Но самое парадоксальное в том, что законопослушные граждане, которые жили, казалось бы, в полном согласии с прежними правилами, оказались в результате должны государству кругленькую сумму. Вы скажете, что такое в принципе невозможно, потому что римское право, на котором основана вся современная юриспруденция, гласит: закон не имеет обратной силы. В принципе, разумеется, невозможно, а вот в Литве — с легкостью, как выяснилось. И ничего не попишешь: закон есть закон, даже если он не только суров, но и нелеп. Могу засвидетельствовать только то, что молодой человек теперь вопит наподобие Чацкого в последнем акте грибоедовской пьесы: «Вон из Литвы! Сюда я больше не езду!» К сожалению, такое же настроение, которое при всем желании трудно назвать избыточно патриотичным, наблюдается у значительной части местной молодежи. Более того, в Литве сейчас с трудом отыщешь семью, в которой нет хотя бы одного эмигранта.

Однако, искренне любя эту прекрасную и древнюю страну, я не хотела бы завершать свои заметки на такой невеселой ноте. Хочется от всей души пожелать Литве и литовцам поскорее одержать победы над трудностями и разрешить все проблемы. Хочется пожелать, чтобы они жили, бережно охраняя наследие предков и умножая ряды своих потомков. Labas, Lietuva! Счастья и всяческих благ тебе, Литва!

*Александр Никулин*

## Крестьянская доля Николая Доброго

До сих пор в России не прекращаются споры: остались ли в стране крестьяне или они исчезли уже к концу XX века под ударами коллективизации, индустриализации, сселения неперспективных деревень и рыночных реформ. На мой взгляд, крестьяне в России существуют до сих пор, однако их остается все меньше и меньше. И все же нынешний крестьянский образ жизни, беспрестанно трансформируясь под воздействием современной культуры, экономики, технологии, стремится остаться, по существу, именно крестьянским. Для доказательства мне бы хотелось реконструировать историю жизни одного современного российского центрально-черноземного крестьянина на фоне историко-культурных, а также экономических характеристик его села и домохозяйства.

Мне, как сельскому социологу, приходилось на протяжении многих лет проводить вместе с коллегами долговременные социологические исследования в селе Каликино Липецкой области, живя в доме главного героя этого очерка, имя и отчество которого я оставляю подлинным, изменив лишь его фамилию по названию района, в котором он проживает. О нем и пойдет рассказ. Но прежде чем познакомить читателя с Николаем Сергеевичем Добрым, скажу для начала несколько слов об истории и современном состоянии его малой родины.

### *Колино Каликино*

Село Каликино расположено на правом берегу реки Воронеж в 60 километрах от областного центра — Липецка. Это большое центральнорусское село, живописно и хаотично раскинувшееся среди черноземных холмов на побережьях маленьких рек Гусятка и Слободка, впадающих в Воронеж. Сто лет назад в селе проживало более 6000 человек, на протяжении прошедшего века численность села уменьшилась почти в два раза. Сейчас в Каликино обитает около 3600 жителей.

Протяженность села в разных направлениях — до трех километров. Улицы, а по ним и своеобразные части села, имеют свои, местные колоритные названия: Костылиха, Городок, Тупик, Заулок.

---

*Никулин Александр Михайлович* — социолог, директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Центральная улица — Большой Планта, или Большак, почти прямой линией пересекает село. От него ответвляются разнообразные улочки. Пространства в 150–200 метров в межулочных промежутках поделены между отдельными сельскими дворами. На дворе расположен дом, а за ним может тянуться от 20 до 50 соток земли, используемой, прежде всего, под огород с картошкой, потом под сад с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками.

В центре села на площади и в ее окрестностях сосредоточена почти вся местная инфраструктура: маленькие магазины с продуктовыми и хозяйственными товарами, почта, сельская администрация, клуб с библиотекой, школа, детский сад, больница, а также церковь, недавно возведенная взамен разрушенных в 1950-е годы двух старых каликинских церквей.

Краткая история села такова. Оно возникло в первой половине XVII века на плодородных пространствах, оспаривавшихся почти 500 средневековых лет в кровавых стычках меж Русью и кочевниками. К началу царствования Петра это место находилось уже в надежном тылу России. Именно здесь на окрестных лесистых берегах реки Воронеж Петр построил первый большой русский флот и спустил его вниз по Воронежу и Дону под Азов для очередной войны с Турцией. Кроме Петра также Екатерина Великая проездом на завоеванный Потемкиным юг посещала эти земли. Предание гласит, что Екатерине здесь понравилось, местные крестьяне душевно угощали ее только что разведенным новомодным картофелем. Довольная Екатерина специально обратила внимание своего двора на то, что крестьяне здесь добрые. Считается по одной из легенд, что именно после замечания Екатерины главное село окрестных земель получило название Доброе. Сейчас это село является райцентром, село Каликино расположено в пяти километрах от него, а соответственно весь район называется Добровским.

Лично я согласен с мнением проницательной матушки-государыни императрицы. Мне в полевых социологических исследованиях приходилось бывать в разных сельских регионах России. Как правило, везде сельские жители мягче и добрее городских, но, кажется, нигде мне еще не приходилось встречать более душевно отзывчивых селян, чем в Каликино.

Мое субъективное мнение может подтвердить замечательный английский антрополог Патрик Хедди. Несколько лет назад он руководил большим международным социологическим проектом «Семейно-родственные сети и социальная безопасность» и неоднократно бывал именно в Каликино, занимаясь антропологическими исследованиями. Жил он в доме Коли Доброго. И вот по результатам исследования Патрика выяснилось, что уровень семейно-родственной поддержки в Каликино оказался значительно выше, чем в других исследуемых семи селах и деревнях стран Европы — Швеции, Франции, Германии, Италии, Словении, Польши.

Некоторое время спустя я побывал у Патрика на новом месте его антропологической работы. Было это в сельской местности Германии. Оглядывая симпатичный саксонский ландшафт, я шутливо заметил Патрику: «А хорошо тут, ну прямо как в Каликино». Он в ответ бурно и горячо запротестовал: «Ты что?! Тут протестантская местность, они все вокруг аккуратные и точные, но ничего тебе не сделают сверх официально оговоренных обязательств. А в Каликино, хоть и грязь на улицах, и хоть, например, грузовик «лорри» поперек дороги поставь, люди его обойдут, ни слова не говоря, и дальше пойдут... Каликинцы добрые,

щедрые, они тебе стакан воды и тот, как говорится, от души подадут. А здесь... Здесь дадут тебе что-нибудь от души? Как же, надейся!»

Впрочем, вернемся к истории Каликино, точнее к его исторической географии. Село это, находясь на стыке различных черноземных регионов, успело оказаться под эгидой самых разных административных образований, последовательно побывав в царские времена то в Рязанской, то в Тамбовской губерниях. Начиная с советских времен, оно находилось в Воронежской области, а после — во вновь образованной в 1950-е годы Липецкой области.

В сталинский период Каликино после коллективизации жило тяжело, голодая особенно сильно в конце первой пятилетки и в засуху 1946–1947 годов. Сюда едва не дошел фронт во время войны с немцем. Противник уже захватил Липецк, каликинские бабы и подростки рыли окопы для обороны Красной армии, до села долетал рев артиллерийских канонад, на горизонте стояло зарево отдаленных пожаров, но фашистское наступление, докатившись до окрестностей, выдохлось и повернуло вспять. Огромное количество здешних мужиков погибло во время войны. До сих пор в Каликино вспоминают послевоенное время — вдовье, с тяжелыми налогами и пустыми трудоднями, длившееся вплоть до хрущевско-маленковских преобразований, как самое беспросветное. Зато колхозную жизнь от брежневского правления до распада Советского Союза большинство каликинцев совершенно искренне почитают за золотой век, когда у всех здесь была работа, гарантированная зарплата, развивалась социальная сфера села. В то время в Каликино функционировали два колхоза, был построен огромный совхоз-свинокомплекс, пространство меж реками Слободка и Воронеж было преобразовано в систему искусственных прудов громадного рыбопитомника, разводившего карася и карпа.

Впрочем, редкие критические голоса полагают, что тогда же стали наступать времена всеобщего сельского упадка и разложения.

По воспоминаниям самих каликинцев, а также городских каликинских мигрантов, периодически возвращавшихся в родное село, традиционная сельская повседневность стремительно стала меняться на их родине уже в 1960-е годы. Во-первых, стал активно возрастать исход, прежде всего, молодежи из села, так как в селе с 1952 года имелась полная средняя школа, по окончании которой более половины выпускников ежегодно стало подаваться на работу и дальнейшую учебу за пределами села. Этому способствовало также проведение дороги с асфальтовым покрытием через село Каликино, по которой стали ходить рейсовые автобусы в Липецк и на близлежащую железнодорожную станцию Чаплыгин. В это время в домах каликинцев стремительно распространились радиоприемники и телевизоры, а молодежь начала уходить в города. В итоге резко снизилось значение традиционных сельских праздников для самоорганизации местного сообщества. И вот уже в 1960-е годы обнаружилось, что нет более всенародной сельской гульбы на улицах во время основных религиозных праздников — Рождества, Пасхи, Троицы, Николы. Перестали праздновать многодневные свадьбы с гуляньем по всему селу, плясками и торжествами, непременно у жениха — два дня, у невесты — два дня. Вообще всенародные религиозные праздники в основном перемещаются на кладбище (Пасха и Троица), а раньше они отмечались по всему селу, во всех дворах.

Тем временем в Каликино пришла мода — отмечать индивидуальные дни рождения в узком семейно-родственном кругу, чего раньше принято не было.

Вообще традиции широкой сельско-соседской помощи в это время (например, в строительстве дома) начинают распадаться и сосредотачиваться лишь в отдельных семейно-родственных кругах.

Тогда же стали происходить большие изменения в организации труда и доходов сельчан. Сфера приложения труда стала более разнообразной, росли сельские доходы. Каликино всегда отличалось торговой неформальной направленностью домашних хозяйств. Как сами себя определяли каликинцы: «Мы село спекулянистое!» Но если до середины 1960-х годов они специализировались на «спекуляции» семечками, отправляясь соответственно с двумя-тремя мешками в Москву и окрестные областные центры, то в 1970-е годы здешние крестьяне сосредоточились на торговле картошкой и поросятами. В немалой мере это было вызвано тем, что во многих хозяйствах появились автомобили. Оно и понятно — появилась возможность возить в отдаленные места не легковесные семечки, а тяжелые мешки с картошкой.

Выросли также доходы от работы в общественном секторе. По воспоминаниям старожилов, на колхозном производстве уже можно было заработать приличные деньги, особенно на выращивании свеклы в полях и свиней на фермах. Эта работа сопровождалась ростом колхозного воровства. Тащили, прежде всего, мешки с зерном из полеводства и комбикорма из животноводства. За воровством в это время следили уже не так строго, а наказывали за него гораздо менее сурово, чем в сталинско-хрущевские времена.

Стремительно стало распространяться пьянство. До середины 1960-х годов здесь сильно пили только по большим праздникам. К тому же водка на селе раньше казалась очень дорогой, а за производство самогона раньше наказывали строже — сажали в тюрьму. В 1970-е годы пьянство в Каликино принимает характер эпидемии, широко пьют на рабочих местах, вслед за взрослыми к злоупотреблению алкоголем быстро приобщаются молодежь и подростки.

Именно в это время с середины 1960-х годов в Каликино настала широко-масштабная аграрная модернизация. В оба здешних колхоза щедрым потоком пошла новая сельхозтехника: комбайны «Нива», трактора МТЗ, ЛТЗ, ХТЗ, «Кировец», грузовики ЗИЛы, МАЗы и КамАЗы. На окраине села выстроили местное отделение «Сельхозтехники». Более того, на холмах, нависающих над селом, в начале 1970-х годов был выстроен огромный свинокомплекс на 50 тысяч голов (местные жители утверждали, что он строился по итальянской технологии) с двумя большими силосными башнями (с тех же слов, построенных по чехословацкому проекту). На равнине под холмами между реками Воронеж и Слободка сооружается обширная система прудов для разведения в промышленных масштабах карпа и толстолобика.

В результате проблем с местным трудоустройством не было: два колхоза, «Сельхозтехника», громадный свинокомплекс и обширное прудовое хозяйство требовали множества рабочих рук. Но несмотря на столь разнообразные перспективы сельской занятости, многие каликинцы и особенно молодежь уезжали из родного села в близлежащий областной центр Липецк, где в то время расширял производство гигантский Липецкий металлургический завод. Немало людей подалось в подмосковные города и села, где качество жизни, оплаты труда оказывались выше, чем в родном селе.

Как рассказывают мигранты того времени, покинувшие Каликино, но регулярно (раз или два раза в год) навещавшие своих родственников на Пасху или

Троицу, существенные изменения в жизни родного села они стали замечать на рубеже 1960–1970-х годов. Изменения усиливались до самого конца советской власти. В чем они заключались? Прежде всего, в целом стабильно росло благосостояние домохозяйств. Однако при этом слабели или утрачивались традиционные способы самоорганизации местного сообщества. Забывались традиционные трудовые умения и практики. Падала дисциплина и усиливались пьянство, воровство в общественном секторе. Все сильнее проявлялась неспособность наладить взаимовыгодное сосуществование личных подсобных хозяйств колхозников с крупным колхозным и государственным производством.

Приведу несколько характерных примеров из рассказов местных жителей.

Своеобразными отраслевыми брендами села с давних времен были картошка и свиноводство. Причем к 1950-м годам официально была отмечена особая порода каликинских свиней, которая даже демонстрировалась на ВДНХ СССР. Тем не менее в 1960-е годы местная порода свиней и в самом Каликино стала замещаться новой, которую каликинцы называли «английской». В конце 1960-х — начале 1970-х годов улицы села представляли собой живописную картину — по ним запросто и в больших количествах бродили свиньи каликинской породы. Все это были животные из личных подсобных хозяйств (английских свиней завозили в централизованном порядке и выращивали на свинофермах). Человеку со стороны могло показаться, что в Каликино — настоящее свиное изобилие, хлещущее через край из дворов. На самом деле хозяева часто выпускали своих свиней на улицу просто потому, что в личных хозяйствах не имелось или не хватало кормов, а получить их в общественном секторе было невозможно. Вот и бродили по всему селу вечно несытые свиньи в поисках какого-нибудь пропитания.

А когда на близлежащих холмах раскинулся громадный свинокомплекс с поросятами все той же английской породы, каликинцы очень скоро поменяли собственную породу свиней на английскую. Причем эта смена совершалась часто по законам неформальной экономики. Например, работники свинокомплекса, проходя с работы через проходную, протаскивали под рабочими фуфайками маленьких поросят, которым предварительно делали усыпляющие уколы. Однажды доза снотворного, возможно, была недостаточной или поросята оказались слишком резвыми, и на проходной под фуфайкой у одного из работников проснулись и завизжали целых три поросенка. Эту историю в Каликино до сих пор вспоминают со смехом удовольствия.

Но уже без смеха, а с унынием припоминают экологическую катастрофу местного масштаба в начале перестройки, когда некачественно построенные сооружения для хранения навоза при гигантском свинокомплексе прорвало из-за сильных летних проливных дождей. В результате свиная жижа с холма, где располагались сооружения, потекла на большой заливной луг, традиционно служивший пастбищем для личных коров колхозников. Едкий свиной навоз на долгие годы обезобразил и испортил прекрасный луг, на котором уже невозможно было пасти деревенское стадо.

Другой характерный пример местной техногенной катастрофы прудового хозяйства и реакции на него местного сообщества связан с поломкой прудовых шлюзов в начале 1980-х годов.

Но сначала отметим, что в самом Каликино и его окрестностях есть несколько речек и озер. Так, в середине села протекает небольшая речка Гусятка,

на окраине она впадает в более крупную речку Слободку, которая в свою очередь через несколько километров впадает в реку Воронеж. Меж этими речками раскинулись небольшие озера. На них местное население издавна занималось рыбной ловлей, придерживаясь определенных правил и заботясь об экологии водоемов. Постоянно расчищали берега речки Гусятки от быстро растущего кустарника-ивняка, а хворостом топили свои печи. В конце 1970-х в Каликино провели газ, и надобность в печах отпала. В результате у каликинцев пропал интерес к расчистке берегов. Зарастая стремительно ивняком, маленькая Гусятка начала засоряться, на ней образовывались грязные, мусорные запруды, отчего даже изменился ритм весенних половодий этой речки. В это время бесконтрольно и интенсивно использовали удобрения на колхозных полях, откуда они попадали в местные водоемы. Из отравленных вод прежде всего исчезли раки, а следовательно, погиб и местный раковый промысел.

Немало вреда принесли и гигантские искусственные пруды 1970-х годов, оказавшие экологически негативное воздействие на окрестные речки и озера. Однако еще большее разлагающее влияние они оказали на каликинское сообщество. Работали в рыбных хозяйствах в основном малоквалифицированные, но сильно пьющие сельчане. И результат не замедлил сказаться.

В один из летних дней 1978 года двое пьяных рабочих, испортив электрический привод, по ошибке открыли створы пруда, переполненного взрослой рыбой. Вместе с прудовой водой в отводную канаву хлынул рыбный поток и потек в сторону Каликино. Весть о возможности поживы моментально разнеслась по селу. Толпа сельчан с ведрами, тазами, бидонами бросилась навстречу потоку. Напрасно руководство прудового хозяйства призывало сообща подналечь и механическим путем закрыть прудовые створы. Никто не откликнулся на призывы до тех пор, пока последняя рыбина не перекочевала из канавы в чью-то посудину. Выбрали все дочиста.

Удивительно, но каликинцы до сих пор вспоминают этот вопиющий пример упадка сельской нравственности и дисциплины без стыда, а с какой-то враждебной иронией по отношению к местному общественному сектору экономики, который стал обезличенно доминировать на их территории именно в 1970-е годы.

Впрочем, все познается в сравнении, что в полной мере относится и к дезорганизации традиционной сельской жизни. 1990-е годы привнесли в местную жизнь новые, доселе невиданные волны всеобщего хаоса. Приватизацию колхозно-совхозного имущества каликинцы встретили, как и свойственно сельским жителям, с недоумением недоверия. Приехавший на собрание по рыночной реорганизации местных колхозов инструктор из Липецка буднично увещевал механизаторов, робко топтавшихся на месте перед вступлением в приватизацию: «Чего страшитесь мужики?! Все эти кооперативы и паи, это так — смена вывески. Все будет по-старому!» И мужики действительно несколько поуспокоились. В позднесоветский период они настолько привыкли к частым сменам вывесок социально-экономических форм без перемен политико-экономического содержания, что каликинские трудовые коллективы почти единогласно дали добро на приватизацию колхозов, «Сельхозтехники» и свинокомплекса. Уже через несколько лет после приватизации обнаружили ее роковые последствия. В условиях невыгодных для села ножниц цен, резкого сокращения дотаций на сельское хозяйство обанкротился громадный свинокомплекс. Резко

снизили свое производство оба бывших колхоза. Лишь из некоторых приватизированных частей бывшего колхозно-совхозного имущества образовалась тройка местных фермерских хозяйств, но их экономический масштаб в целом был незначителен.

В 1990-е годы в Каликино началось массовое сокращение аграрных рабочих мест, а на оставшихся безбожно задерживали зарплату, хотя и была она дьявольски низкой. В постперестроечном разливе легкодоступных водки и самогона исчезали остатки сельской культуры и дисциплины, возрастали повседневные воровство и преступность. Но, впрочем, именно в это время прошла по Каликино судорога если не возрождения, то некоторого оживления активности крестьянских подворий. В условиях стихийного рынка и бартера, сокращения колхозного производства, возрастала самоэксплуатация сельского населения, вкалывающего на приусадебных огородах, разводящего крупный и мелкий домашний скот. Именно в это время многие каликинские подворья обзавелись тракторами и автомобилями, с помощью которых обрабатывали огороды, развозили на продажу в город свою и соседскую сельскую продукцию.

В первое десятилетие нашего века в Каликино окончательно обанкротились оба колхоза. Их землю и остатки недоразворованного имущества поставил под свой контроль российско-казахстанский агрохолдинг «Настюша», который лет пять назад пытался развить активную деятельность на липецких землях. Старееющее каликинское население в эти последние годы стало тотально сокращать крестьянское производство на личных подворьях, в селе все сильнее стала ощущаться безработица. Резче определилось социальное неравенство между несколькими десятками богатых и зажиточных домохозяйств, успешно проникших чрез врата приватизации в рыночное царство, и полутора тысячами остальных сельских семейств, безуспешно топчущихся в рыночном преддверье. Дойдя до конца этой краткой каликинской хроники, обратимся к началу повествования о местном крестьянине Николае Добром через описание жизненных миров его домохозяйства.

### ***КОЛИНО ДОМОХОЗЯЙСТВО***

На уклоне невысокой холмистой гряды, вниз от которой располагается небольшая луговая пойма Гусятки, вьется меж каликинских изб Зареченская улица. Ее обитатели любят упоминать, как часто в письмах к ним ошибаются адресом, называя улицу не Зареченской, а Заречной из-за засевавшего у всех в памяти названия знаменитого советского фильма. Весна на Зареченской улице знаменуется половодьем — затоплением поймы Гусятки до самых обитаемых холмов и выходом в открытую вешнюю воду больших и малых эскадр гусей, всю зиму таившихся от холода во дворах, а на весенней свободе салютующих наступающему теплу раскатами гогота.

Именно весной, когда зелень деревьев, кустарников, трав еще не скрыла очертания деревенских домов и дворов, хорошо виднеется на углу зареченского холма невысокий краснокирпичный сельский дом, отдельно стоящий на пересечении двух местных дорог. Дом не новый, и окружают его явно более новые постройки из серого силикатного кирпича. В них располагаются скотный двор, сарай, хозблок и гараж. Рядом стоит подержанная техника: старенький трактор

ЛТЗ, потрепанная «лада-девятка», три видавших вида грузовика — два газика и один КамАЗ. Живет здесь и хозяйствует на своем дворе сорокавосьмилетний Николай Добрый вместе со своей восьмидесятилетней матерью Евдокией. Оба они исконные уроженцы Каликино. Сергей — отец Коли и муж Евдокии, — местный колхозник, умер незадолго до распада СССР. Младший брат и сын Саша со своей семьей — женой и двумя сыновьями — уже десять лет как живет отдельно, через два дома от домохозяйства брата и матери. Рядом с домами Коли и Саши разбиты их огороды, каждый соток по сорок.

Николай Добрый — коренастый и худощавый, чуть выше среднего роста крестьянин, обветренное лицо которого изборозило несколько резко выраженных морщин. Серые глаза его, вечно внимательно удивленные, чутко меняют свое выражение с радости на печаль и обратно.

Я, безусловно, определяю Николая именно как крестьянина, хотя всем известно скептическое мнение наших дней, что в России крестьянство и крестьяне остались в далеком и недалеком прошлом. А потому считается, что хотя нынешнего сельского россиянина и можно метафорически назвать крестьянином, но, по сути, он таковым не является. Уже со времен шукшинских чудиков по своей культуре он перестал быть похожим на крестьян Шолохова и Твардовского, не говоря уже о крестьянах Толстого и Пушкина. Экономически же нынешний сельский житель далеко не чаяновский крестьянин, потому что в массе своей не ведет собственное самодостаточное натурально-товарное хозяйство, плодами которого питает себя, свою семью, продавая на рынке (или отдавая помещику или государству) излишки своего семейного крестьянского труда, кормя своей продукцией весь мир. Таким образом, нынешние сельские жители, работающие в агропроизводстве, — это в основном сельские наемные рабочие старых колхозов и новых агрохолдингов, бюджетная сельская интеллигенция, пенсионеры, мелкие торговцы, редко фермеры. Но и фермер, как известно, это прежде всего тот же рыночный предприниматель, а уж потом все сельское остальное...

Но мой Коля, как я покажу далее, есть именно крестьянин вполне в пушкинско-чаяновско-шукшинском значении, к жизни которого применимы даже древнегреческие гесиодовы крестьянские сентенции. Крестьянин в наше время в нашей стране (бывшей великой крестьянской стране) человеческий тип редкий, местами почти поголовно вымерший, но так до конца и не исчезнувший, о чем свидетельствуют Колины труды и дни.

Коля в детстве учился в каликинской школе, в советское время окончил местный районный сельхозтехникум, служил в армии, после демобилизации работал техником, трактористом и комбайнером в одном из здешних колхозов почти до самого его банкротства. Тогда же, в 1990-е годы, он, мать и младший брат — также шофер-механизатор — развили достаточно мощное подсобное хозяйство. Сначала семья приобрела старенький грузовик, потом подержанный трактор и необходимые к нему орудия. Семья Добрых специализировалась на выращивании картошки, моркови, лука и капусты, держали корову с теленком, поросят, кур и гусей. Коля обрабатывал своим трактором огороды под картошку для односельчан и вместе с братом занимался извозом на своем грузовике. Возил для односельчан сено и стройматериалы. Как ни трудны для села были 1990-е годы, но, по мнению Коли, в то время конъюнктура рынка на продукцию их подворья была неплохой. Именно к концу 1990-х годов семье удалось купить для брата Саши находящийся по соседству дом. Брат вскоре

женился, сейчас у него двое детей — мальчишек детсадовского возраста. Зажив на два дома, но сохраняя межсемейную кооперацию, братья во многом вели и ведут совместное хозяйство. За это время младший брат создал свое индивидуальное частное предприятие. Купив подержанный КамАЗ, он работает дальнотойщиком-частником по телефонным заказам, развозит грузы из Липецка и окрестностей в соседние области — от Москвы до Волгограда. В свободное от работы время Саша занимается сельскими домашними заботами. Николай, прикупив еще пару старых грузовиков, которые служат ему для разного вида перевозок, занимается местным извозом — для себя и для односельчан на местные недлинные расстояния. Как правило, возит не дальше Липецка. Ну и, конечно, Николай — весь в своем домохозяйстве, для которого и отстроил вышеупомянутые двор, хозблоки и гаражи.

Рассказывая о двух братьях, я решил сосредоточиться на судьбе старшего не случайно. Саша, похожий на Николая деревенскими обветренными морщинами, как-то воскликнул: «А ты посмотри на Кольку, он же настоящий крестьянин, а это по нынешней жизни никому не надо!..» Присматриваясь к братьям, я действительно видел, что Коля и впрямь в основном крестьянин, а Саша — крестьянин не совсем. Разница между ними заключалась, прежде всего, в их отношении к внешнему миру.

Младший брат фактически признавал главенство над ним большого внешнего мира и с готовностью стремился подчиниться ему на приемлемых условиях. По мнению Саши, колхоз времен его молодости был почти совершенной организацией. Работал он шофером, возил то, что укажет начальство, и туда, куда оно укажет. Его окружал большой колхозный коллектив, ему платили нормальную зарплату, он отдыхал в регулярных оплаченных отпусках и имел прочие социальные гарантии. А в нынешней жизни частного извозчика Сашу тревожит его одинокое занятие в условиях рыночно-государственной неопределенности, отсутствие вокруг какого-либо надежного трудового коллектива. Хотя и в нынешних условиях, как считает Саша, жить тоже можно — как-никак доход от своего КамАЗа он получает, по деревенским меркам, неплохой, если бы только налоги еще несколько снизили. Страна, по его мнению, управляется очень просто: наверху правит Путин, он дает указания своим московским подчиненным, а те указывают, что делать большому начальству на местах. Таким образом, липецкий губернатор, получив указания из Москвы, рассылает свои приказы по районам, районная власть доводит все эти указания до Саши в Каликино, и он готов их выполнять. Вот только часто решения власти представляются Саше неудобными и неверными — от дорожных знаков до автомобильных налогов. А тут еще на рынке последнее время такие цены на овощи, что, кажется, невыгодно заниматься даже собственным огородом. Но что поделать, как-то надо выкручиваться и приспособливаться. В целом это обобщенная рефлексия современного сельского обывателя-работника, в советские времена наемного, а нынче вольноопределяющегося.

Рефлексия же старшего брата Коли по поводу его взаимоотношений с миром государства и рынка иного рода. Она действительно более крестьянская. Во-первых, Николай отнюдь не идеализирует советскую колхозную систему. У этого кроткого и великодушного человека память о колхозной истории поглубже и пожесточеннее, чем у брата. Хотя он сам, конечно, не застал раннеколхозные времена, но Коля рассуждает про колхозную жизнь так: «А отняли

большевички (Коля любит в своих эмоциональных рассуждениях употреблять уменьшительно-ласкательные суффиксы в ключевых словах) нашу крестьянскую землю и заставили всех работать за свои палочки, трудодни. И чего это за жизнь была в советское время, что надо было испрашивать разрешения, где косить для своей коровы и когда косить?.. Вот так же стройматериалы для своего хозяйства так просто не достать, если только своровать где-то. А в колхозе, хоть и поддерживала советская власть сельское хозяйство лучше, чем сейчас, много бардака было. И особо мне не нравилось, что в колхозе я был подневольный человек. Вот сегодня тебе колхозное начальство говорит: "Иди тем занимайся", а завтра: "Иди этим..." Я как с девяносто шестого года забрал трудовую книжку из нашего разваливавшегося колхоза, так и не жалею. Я сейчас в сравнении с советскими временами вольный человек. Я сам себе график жизни определяю: когда хочу — работаю, когда хочу — отдыхаю».

К нынешнему государству у Коли тоже особые, крестьянские претензии. По мнению Коли, государство не понимает и не поддерживает деревенскую жизнь как таковую. Его село Каликино пропадает в безделье, потому что на селе нет работы, а работа крестьянская, которую можно делать всякому в своем подворье — никому не нужна, потому что цены на плоды крестьянского труда низки, как никогда.

В отличие от брата Саши, в основном ностальгирующего по колхозному корпоративу, брат Коля переживает, прежде всего, за нынешний распад самой социальной, или, как сказали бы в старые времена, общинной жизни Каликино. К тому же он по-крестьянски особо чуток к местной природе и может подробно и занимательно рассказать вам об особенностях любого клочка каликинской земли, со всеми обитающими на этой земле растениями, насекомыми, птицами и животными.

Мой учитель профессор Теодор Шанин, давая определение отличительных черт крестьянства, включил в него четыре основные характеристики (пересказываю их сжато, своими словами). Это семейный труд (1) во взаимодействии с природой (2) в малом сообществе со своей местной культурой (3) в маргинальном отдалении от государства (4). Все они в высшей степени присущи Коле.

Следует лишь уточнить две его персональные особенности. У Коли доброжелательная чуткость развита выше меры даже по масштабам душевно щедрого Добровского района, поэтому временами Колины слова и поступки напоминали мне героев Толстого и Достоевского одновременно — Платона Каратаева и князя Мышкина.

Едем мы однажды с Колей на его грузовике в Липецк. Уже на въезде в город нас остановил патруль ГАИ, тогда еще не ГИБДД. В подобные моменты предстоящего контакта, думаю, и водитель, и постовой внутренне ожесточенно напрягаются, при этом внешне сохраняя сосредоточенную доброжелательность. Коля же от души рассмеялся, захватил документы и, улыбаясь и искренне всплеснув руками, пошел навстречу милиционеру — молоденькому, рыжевато-конопачему, губастому сержанту, который заранее смутился при виде этого странного водителя. Я совершенно не помню, нарушил Коля правила или не нарушал, платил ли штраф, давал ли взятку или ничего не платил. Кажется, он ничего не заплатил, иначе я все же запомнил бы что-то определенное, хотя тут это не главное. Я помню лишь по-детски добродушного, как всегда, Колю, садящегося

после беседы с милиционером в кабину. И помню лицо того постового. Это был Савл, только что превратившийся в Павла.

Другая личностная особенность Коли заключается в том, что он никогда не был женат. Есть такие люди среди мужчин и женщин, отнюдь не закоренелые холостяки и синие чулки, которым по складу их характера, кажется, на роду написано быть замечательными семьянинами, но почему-то они так и остаются бессемейными. Похоже, Коля входит в их число. Он самоотверженно заботится о матери, поддерживает семью брата, в которой он лучший друг и воспитатель своих племянников, проводящих порой с дядей Колей (которого они кличут просто Коля) больше времени, чем с родными отцом и матерью. Умея прекрасно находить язык с детьми, Коля конечно же учтив, заботлив, обходителен с женщинами. Непьющий, нематерящийся, работающий, ласковый и заботливый, Коля мог бы быть истинным крестьянским отцом семейства, окруженный любящими и уважающими его женой и детьми, но до сих пор у него нет собственной семьи. Я с Колей почти никогда не беседовал о его семейных намерениях. Окружающие беседовали. Им Коля простодушно объяснял, что в Каликино он по сию пору не смог встретить женщину, которую бы полюбил. Без любви Коля не представляет, как можно жениться. А искать суженую за пределами Каликино он не может, потому что ему невозможно и на несколько дней отлучиться от домашнего хозяйства. Впрочем, как-то в беседе и со мной Коля обмолвился: «Как говорится, каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом, обзавестись семьей и детьми. Деревьев я в своей жизни посадил много. Дом собственный (Коля живет в доме отца и матери) я планирую построить, почти все у меня для этого готово — и деньжата, и стройматериалы. А там, — с терпеливой надеждой добавил он, — может и семью создам...» Но по сию пору Коля не женат, и это, конечно, также выделяет его из заведенного вокруг сельско-крестьянского быта.

### *Колина рефлексия: работа и свобода*

Здесь я перехожу к воспроизведению и комментированию обширных рассуждений Коли о том, как устроена жизнь и работа его самого и окружающих каликинцев. Размышления Коли я записывал на диктофон во время наших посиделок и прогулок. Меня интересовало, из каких основных элементов состоит его хозяйство, как он с ним управляется, как его хозяйство соотносится с хозяйствами соседей и односельчан, как сам Николай Добрый относится к большому миру вокруг его села — миру рынка и государства, миру Липецка и Москвы. Анализировать расшифрованные записи Колиных интервью — занятие увлекательное, но нелегкое. Николай в своих размышлениях часто и вольно переходил с темы на тему, так что его экономические размышления о доходности собственного хозяйства перетекали в описания сельской жизни как таковой. А они, в свою очередь, могли незаметно превращаться в рассуждения о трансформации окрестной природы и местной нравственности. Пытаясь навести порядок в наших многочасовых беседах (которые я воспроизвожу здесь лишь частично в структурированных фрагментах), я выделил, на мой взгляд, ряд наиболее существенных тем, которые более менее целостно характеризуют мировоззрение и экономическое поведение Коли. Первая часть приводимых здесь размышле-

ний связана с основными производственными факторами Колиного и других местных домохозяйств: с землей (прежде всего с огородами), машинами (прежде всего с автомобилями и транспортом) и разнообразными материалами (от кирпичей до отрубей). Крестьянин Коля самозабвенно роется в этом своем хозяйстве, зорко приглядывая за хозяйствами односельчан, часто сетуя, что он и окружающие его каликинцы порой проделывают много ненужной и бестолковой работы, что связано как с традиционной рутинной их существования, так и с непредсказуемой конъюнктурой рынка и невнятной политикой государства. Среди Колиных рассуждений имеются и малоуспешные попытки сформулировать четкие критерии доходности и прибыльности собственного домохозяйства. Попытки эти, как я специально здесь подчеркиваю, оказываются малоуспешными по двум причинам.

Во-первых, Коля не любит вести четкий учет под запись своих доходов и расходов. Он предпочитает хозяйствовать по старинке, на крестьянский глазок — по принципу, хватит или не хватит сил, времени, денег, материалов для той или иной его хозяйственной операции.

Во-вторых, потому что, несмотря на всю приблизительность своих подсчетов Николай все же, оказывается, придерживается определенной экономической стратегии, названной великим знатоком крестьянской экономики А.В. Чаяновым «стратегией трудопотребительского баланса». Николай в своем экономическом поведении не стремится как рациональный фермер-предприниматель к максимизации прибыли, но старается по-крестьянски традиционно оптимизировать свои труд и потребление, свои работу и отдых.

Последняя часть Колиных рассуждений посвящена размышлениям об окружающей его социально-экономической и культурно-экологической действительности. Самым неожиданным для меня и интересным оказался выход почти всех рассуждений Коли на его персональное ощущение свободы, которую он, на мой взгляд, понимает также очень по-крестьянски. Привожу записи его речей практически без правки, со всеми повторами и погрешностями, поскольку рассматриваю их как документ, а не литературное произведение.

### **Огороды и старики**

«Весна начинается, и я трактором пашу огороды, почти у каждого ведь есть огороды. И спрос огромный на то, чтобы огороды копать, потому что всем нужно в одно время пахать. Вот земля подходит, надо пахать. Примерно десять дней пахота идет, десять дней. А у меня родственников человек двадцать, им надо помогать. И еще друзья, бабушки беспомощные, они тоже просят, чтобы я им помог огород вспахать. И пахать надо срочно. Но вот в Каликино сейчас пахать трудно, и те, у кого есть также трактор, они просто отлынивают от этого. Себе вспашут, и все! Просто потому что пахать и самому трудно, и трактор изнашивается, и заработок не такой уж большой. И они кому-то из своих родных, друзей, вспашут, и все! А большинство приходят за этим ко мне — друзья, знакомые или одноклассники, родные — все ко мне! Один дед бегал-бегал, никто ему пахать не хочет, и он тоже прибежал ко мне за помощью. И ко мне он подошел, уже не знает, как сказать, что вспахать надо ему тоже, и говорит, что мы с твоим дядей в школе учились вместе, и ты мне тоже должен вспахать. Во как! Это было года два назад. А у них, у деда, огород, неудобный такой — круглый

у них огород, на пригорке — как глобус, шар такой. И у них огород этот очень неудобно пахать. А пахать трактором лучше, когда земля узкая, но длинная, чтобы было, куда развернуться. А когда это все так вот, ты заехал, и некуда и разворачиваться. А так получается, что когда огород маленький, то получается, что времени на вспахивание я затратчу больше, а заработаю меньше. И трактор изнашивается больше, потому что он постоянно на сцеплении. И сцепление тогда горит, просто трактор гробится, вот так.

А когда картошка растет, то на ней ботва. И с картошки эту ботву надо скашивать. И раньше эту ботву мы скашивали обыкновенной косой. А если у кого посадки картошки соток двадцать пять—тридцать, то это косой надо помахать дней пять! Это, конечно, тяжело. А вот сейчас я сам сделал такое приспособление на трактор — такие вот четыре цепи, крутится редуктор вокруг, и вот эту ботву уже скашивает, и все это очень чисто получается. И в этом году на это тоже спрос был просто огромный, потому что всем эту ботву надо скосить! Все просят, а родных и друзей у нас так много. И вот раз я заехал в дальнюю половину села, и там кому-то тоже косил, кто-то очень просил. И я вот только на этот огород заехал, и тут же ко мне со всех сторон потянулись и тоже начали просить. То есть услышали шум мотора, и все потянулись ко мне — скосить ботву! Я им говорю, что не могу, но им же все равно надо. И начали они вспоминать, какие у нас есть общие родные, знакомые или друзья. И получается вроде так, что если я кому-то родня, то и там родня находилась, и вроде бы и я уже им тоже ботву должен скосить. А работа же эта трудная, пыльная, и трактористов не хватает, а эта работа необходима. И бабушки все напуганные, что скосить-то надо, но не у всех получается. И бабушки подходят, просят, глазенки у них такие настороженные, чуть ли ни плачут. И вроде так получается, что я если кому-то родня, то и им родня, то есть такой вот предлог находят. Один дед мне заявил, что с моим двоюродным дедом в Финскую кампанию воевал, и потому я тоже должен ему косить ботву. А я, честно говоря, вообще не помню того двоюродного деда. Вот так получается, по весне помогаешь всем, а зимой — это уже затишье, трактор мой никому не нужен.

Конечно, я пашу и кошу на огородах не бесплатно. У нас все деньги платят, это не зависит от того, родственник или не родственник. Хотя, понятно, с брата Сашки я денег не беру. И еще есть у матери брат, с них тоже деньги не беру.

Остальные же платят по той цене, которая здесь есть, никто с этим и не спорит — цены вполне устраивают. И тракторист, он уже диктует цену, он уже монополист, конкурентов уже нет. То есть конкурентов раньше было больше, а сейчас конкурентов уже меньше, почти нет. Но цену это я так сказал, что диктую, на самом деле не я ее придумываю, это все зависит от урожая, это все как есть. Вот, например, этой весной мы пахали, и чтобы вспахать одну сотку, это пятьдесят рублей. Это в среднем за такой огород. То есть получается, что если у кого-то сорок соток огород, то он должен две тысячи рублей заплатить. А за сезон где-то получается вспахать, наверное, огородов сорок пять — пятьдесят. Но это огороды не по сорок соток, это поменьше. Это огород примерно по двадцать — двадцать пять соток, максимум тридцать. Возраст уже преклонный у многих, и такой огород в сорок соток в принципе никто и не держит. Вот зайдешь к кому на огород, а половина огорода в бурьяне. Да, бурьяном зарастают огороды. А после всей этой пахоты я просто уже трактор ремонтирую, это сцепление. Все же конкуренты, конечно, есть, село-то большое, раскинулось. Я их всех знаю,

тракторов десять есть, которые тоже пахотой занимаются. Но я вот скоро тоже буду посмышленнее, поизбраннее подходить к пахоте. Просто вспахать-то можно, ты вспахал, деньги подержал. А потом деньги эти же отдал на ремонт трактора, и ничего за это дело ты и не приобретешь.

Как подсчитать затраты и выручку от огорода?! А считается все это просто. Вот, например, бабушка имеет тридцать соток. И полторы тысячи, это вспахать. А сажать надо — за это тоже платит. Раньше лошадь сажала, а сейчас — нет. А это так сорок рублей за сотку. Вот ко мне тоже мужик приезжает, и у него есть такая сажалка. И вот бабушка полторы тысячи отдаст за то, чтобы вспахать, и тысячу триста рублей за то, чтобы посадить, получается две семьсот. Это она затратила. Потом картошка пошла расти, бабушка сама сорняки полет, обрабатывает сама. Потом еще нужно сделать междурядную обработку — это уже не тяпкой, как раньше окучивали, а это сейчас делается лошадкой или трактором. Но чаще лошадкой. Но ты же свою лошадку тоже не имеешь, но у нас есть хозяин с лошадкой. И ты этого хозяина просишь, и он приезжает с лошадкой и с сохой. Мне кажется, что и здесь по двадцать пять рублей за то, что он тебе окучит огород. И вот двадцать пять на тридцать, тоже получается, что семьсот пятьдесят рублей. И всего уже получается три тысячи четыреста пятьдесят рублей, по моему?! Нет, пусть будет три с половиной тысячи рублей.

И ботву косить. Может, бабушка и сама ее скосит. Но если все механизировано, то это опять двадцать пять на тридцать соток, тоже семьсот пятьдесят рублей. И уже получается четыре тысячи триста. И еще выкопать картошку, это по двадцать на тридцать, тоже шестьсот. Получается, уже шесть тысяч пятьсот. И хорошо, если урожай более-менее хороший. Она тогда с тридцати соток наберет три тонны картошки, это хороший урожай. То есть с десяти соток — тонна продажной картошки, это считается, что это уже хороший урожай. Нет, это даже слишком хороший урожай. Она две тонны наберет, в среднем, с тридцати соток! А трехтонный, это уже отличный урожай. И если она сейчас дорого продаст картошку, это по семь рублей, это четырнадцать тысяч. А затратила она почти семь тысяч!

Вот столько хлопот! Да, вот сейчас и отбили охоту у крестьян работать. Вот мы вспоминаем советское время, тогда мы с огорода зарабатывали одну тысячу рублей, хотя, конечно, тогда еще были рубли и копейки. Но все равно мы же понимаем разницу! Ведь тогда это были большие деньги, тысяча рублей! А затраты на все были маленькие. Тогда вспахать огород тракторами колхозными, это было двадцать рублей, и все. А лошадки колхозные, ее тебе конюх даст за бутылку. Не было такого, чтобы за лошадь оплачивать в колхозе, такого не было. Просто вот оплачивали за пахоту, за трактор, а лошадь за бутылку. И за землю тогда просто дралась. И вот эта одна борозда, которая делила огороды, за нее тогда просто дралась, потому что все это было выгодно. Если разделить все это на все борозды, то, наверное, одна борозда обходилась рублем в сто, можно было тысячу рублей заработать! И поэтому просто готовы были убить за эту землю друг друга. А зарплата у меня тогда была сто двадцать рублей, а чистыми получалось сто шестнадцать рублей. И это получается, что у меня годовой заработок на предприятии, а второй — это с огорода. А сейчас, вот это мы посчитали, это у кого хороший урожай был, а некоторые набрали только тонну или полтонны. И затраты такие же, а вычти, получается минус!»

## Трактора и автомобили

«Есть у меня трактор ЛТЗ, то есть произвел его Липецкий тракторный завод, который погас сейчас — ничего от него не осталось! А вот минские трактора «Беларусь», это хорошие трактора. И в Липецке есть специальная база, там любую технику можно купить, и белорусскую тоже, не проблема — заказывай, тебе и домой ее могут привезти. И вот минский трактор «Беларусь», он стоит уже где-то больше половины миллиона, где-то, может, пятьсот пятьдесят тысяч рублей. Эти трактора крепкие, они и стоят таких денег, выносливые, разные действия производят, такой трактор может и пахать, и сеять, и культивировать, и косить — можно разные орудия к нему прицеплять. Минский трактор крепкий. А вот мой трактор липецкий, он слабенький, к тому же он с девяносто шестого года, уже двадцать пять лет проработал. И сейчас в него много денег приходится вкладывать, ремонтирую его постоянно. Я на него уже запасные детали купил, завтра ставить буду. Но я к нему уже так привык, трактор для семьи нужен.

Кроме трактора у меня есть автомобиль маленький, «девятка» девяносто восьмого года, это себя свозить куда-нибудь, и маму тоже — она, боюсь, скоро совсем передвигаться перестанет. И в садик детей перевозим, забираем их оттуда. Ездим в магазин. И если надо в район, за какой-то справкой, например. Вот в Липецк я ездил за запчастями.

И еще есть грузовая машина — «газон», ГАЗ-53, самосвал. У нее грузоподъемность четыре тонны, сама сваливает груз. А «газончик», трудно поверить, но он восемьдесят третьего года. Но я сразу делаю замечание, что для грузовой машины года не страшны, потому что там самое основное — это рама. И она не вечная, но долговечная. И вот у меня грузовая машина, у нее сварная рама, и поэтому она хорошо у меня работает, все нормально. А вот все остальное, вот, например, мотор, его отремонтируешь, и он опять почти новый. У легковой машины, это кузов, в основном он и бьется, и ходовая расслабляется. А грузовая машина, у нее срок годности большой. Можно взять для нее документы на другой год выпуска. Запчастей закупить и поставить, и она даже лучше, чем новая, будет выглядеть, это грузовая машина, это самосвал.

А КамАЗ я купил за двести тысяч, и это недорого, потому что ты не поверишь, у меня КамАЗ тысяча девятьсот семьдесят восьмого года — и я тоже не верил, когда покупал, но это так! В нем уже ничего нет родного, ведь в нем и внутри и снаружи все меняется. А такой же, двух-трехгодичный, он такой же точно груз перевезет, как вот и этот мой. И даже совсем новый будет делать все тоже так же. А в моей машине все менялось сто раз. Резину на машине надо менять каждые два года. А мотор, его починить можно. Резина, однако, дорогая и расходные материалы тоже. А вдруг какая крупная поломка, то я уже лучше тогда его сдам на металлолом. Вот некоторые на таких КамАЗах и еще с прицепом, у кого он есть, свеклу возят большим хозяйствам, но они уже очень сильно экономят — за тонну двести рублей, это перевезти. Хотя если его нагрузить, то он везет сразу двадцать тонн. И за один рейс он сразу две тысячи зарабатывает. И если два раза он съездил, то четыре тысячи в день заработал. А десять дней — сорок тысяч. Но здесь же опять вычитать надо на обслуживание, поэтому никак не разбежишься!

А КамАЗ — это такая хитрая машина, на ней надо работать часто, каждый

день. И еще работать на ней надо помногу, чтобы все это окупить! И вот КамАЗ, я как-то сразу и не подумал, может, я зря его купил, в принципе он и не особо нужен. Просто потому что я на КамАЗе за полгода заработал, может, тысяч тридцать, может, чуть побольше. А приходит время платить налог, за него надо заплатить. Вот в том году за дорожный налог заплатили десять тысяч рублей. Но это, может, и не так много, это для города. Может, в городе вы за легковые автомобили платите дороже. Но нам, для деревни, сделали здесь скидку, по сравнению с городом, и то для нас это много. Налог за дорогу — это обязательно, а то судебные приставы придут и все отберут. И кроме этого нужен обязательный техконтроль — все это тоже надо делать в одно время. И вот это где-то тоже тысяч пятнадцать, а то и больше. И мне надо к началу января это заплатить, я уже деньги на все это отложил. А вот когда лес горел, то наши соседи, они работали в лесу, и оттуда вот на эту полянку они возили еще бревна, подворовывали. То есть они и работали, и им еще натуроплату давали бревнами. И они этот лес продавали. И кому продадут, то меня потом просят, чтобы я отвез это, и я возил это на пилораму.

И вот еще сейчас, под осень, был спрос на навоз. Но навоз, это тоже не прибыльное дело, потому что я полторы тысячи отдавал за то, что мне грузили навоз. А я брал три тысячи за то, что уже его привез сюда. И я за все это заработал, примерно тысяч тридцать пять, это немного. А надо чем больше, тем лучше. Вот если бы примерно каждый день зарабатывать две тысячи чистыми на КамАЗе, но ведь так не получается».

### **Строительство и материалы**

«Я вот еще хотел купить материалы для ремонта в доме. Но вот пока это откладывается — это пока подождет, деньги нужны на ремонт трактора. Но потом, может, КамАЗ продам или еще какой-то автомобиль продам и сделаю тогда ремонт. Еще сейчас хотел купить лес-кругляк и распилить его хотел на досочки, и себе оставить. Есть частные пилорамы — привози им кругляк и все сделают. Но можно купить сразу и доски готовые уже. Я подсчитал, что с моей техникой, выход материала получится дешевле.

А вот этот участок... мать на меня заключила Договор ренты. То есть я мать пожизненно содержу, кормлю, а этот участок уже мой, то есть он уже на меня оформленный. И я сейчас полноправный хозяин этого участка. И здесь место есть, можно домик здесь поставить. Может, он сейчас и не нужен, но вдруг потом ребятишкам пригодится. Или у меня жизнь сложится — семья появится. А материал-то разный нужен. И здесь мужичок тоже домик построил, очень хороший домик получился, кирпичный, быстро строится, теплый такой — сейчас любой проект можно сделать. Но это надо собрать почти один-два миллиона, чтобы сделать такой хороший, но не шикарный, конечно, дом. Но вот если со своими материалами, подвозом, то в эту сумму вполне можно уложиться.

Я одно время металлолом собирал, у меня даже в сарае сейчас куча лежит. А сейчас металлолом, он дорогой, по семь тысяч за тонну. И у меня сейчас лежит тонн восемь, наверное. Это где-то пятьдесят тысяч, так получается.

А вывезти металлолом можно в тот же Липецк. Раньше мы с товарищами сами грузили, в прошлом все то, что валялось на свалках. А вот потом, как металлолом начали принимать, так мы и стали собирать. Но я вот в числе

первых узнал про металлолом, что его принимают. И я иногда заезжал на свалку, за «Сельхозтехникой», и я один за час с лишним накидывал четыре тонны металлолома. А потом металлолома становилось все меньше. И потом металлолом почти уже не найдешь, его уже просто нет. Это я просто чудом этот металлолом насобирал — кто-то его предложил, у кого-то во дворе скопился. Теперь этот металлолом мой стратегический резерв. А одно время у нас было такое, что мужички местные у нас тут скупали, а потом этот металлолом возили продавать, но я как-то это не застал. Вот перед кризисом в Липецке металлолом доходил до восьми тысяч рублей за тонну. А эти мужички скупали тут по пять тысяч за тонну. И потом вдруг там металлолом резко упал в цене. И те, кто покупал этот металлолом по этой цене, они тогда остались в убытке. О, они просто потом локотки кусали. Не знаю, отвезли ли они металлолом по той цене, себе в убыток или ждали, но вот сейчас он опять стал дорожать. Но это постоянно вот так, если металлолом купил где-то по низкой цене, то его нужно сразу сдавать, чтобы не попасть в убыток. Но этот у меня как раз лежит в НЗ. Если кто-то предложит килограмм сто, то возьмешь, так вот и растет понемногу эта моя резервная кучка.

Я попробовал уже пару раз изготавливать кирпичи, но почему-то у меня крепость не получается. Ездил я в Липецк, мне все пояснили, и какая пропорция, и я цемент хороший взял — пятисотый, но почему-то крепости у меня нет, и все! Надо приступить к кирпичам, но все опять свободного дня не хватает. Вот настроение даже появилось попробовать, надо площадку устроить, сделать. Я даже узнавал, у меня есть ребята, которые делают эти кирпичи. И у них себестоимость кирпича двадцать рублей, а доход получается десять рублей с кирпича. Они сказали, что за день могут сделать пятьсот штук. То есть получается, что пять тысяч прибыли. Хотя, конечно, прибыль-то не совсем. То есть вот себестоимость, это двадцать, но еще же и рабочим надо заплатить! Я не знаю, что там получается у них, какая отдача, но прибыль должна быть. Но у меня пока все равно крепость у кирпича не получается, вот еще проблема в чем. И я даже песок с реки привез — такой мелкий-мелкий, белый. И у него крепость лучше, а чего-то я опять к кирпичам почему-то не приступил. Как день начинается, то туда надо, то сюда — все какие-то важные дела, — никак к этим кирпичам не приступлю.

Например, в Липецке есть мукомольный завод. А у мукомольного завода остаются отходы, они называются отруби. В Москве ведь есть хлеб из отрубей? Есть! Такой хлеб очень полезный. И я вот беру с этого мукомольного завода отруби, на корм скоту. Это подходит и для свиней, и для коров, для всех. И я привожу это, и по заказу населению это раздаю. Я в среднем беру груза пять тонн, и все это продаю за месяц. И с этой машины я в месяц зарабатываю пять-шесть тысяч.

Но это все легально — пожалуйста, приезжай на мукомольный завод и покупай. На проходной тебя пропускают, записывают номер машины и все. Цены у них, правда, меняются каждый месяц. Обычно с осени, когда новый урожай пошел, то цены там самые низкие. А потом уже постепенно идет на повышение цены. И к весне опять ниже, потом опять чуть повыше. А в том году, когда по весне уже, то цены были очень высокие, и людям просто невыгодно было это брать. Но все равно они брали, хотя бы просто докормить скотину, чтобы не перевести всех под нож, вот у кого свиноматочки — надо бы их выра-

тить. Ведь отруби, это хорошие корма. Мы ими кормим свиней, они отруби едят с удовольствием и хорошо растут.

Я раньше был один в моей спекуляции отрубями, а сейчас у меня уже конкуренты есть — и в магазинах частных тоже теперь есть отруби. Даже на почте у нас отруби эти продают. О, у нас на почте сейчас все продают!»

### **Рынок и кредит, доходы и прибыль**

«Мы с братом не вникаем в финансовые дела друг друга. А вот помощь у нас всегда была взаимная, потому что в одиночку нам никак не справиться. Картошку мы сообща всегда убираем, потому что одни не справимся. У меня сорок соток огорода, а у Саши даже чуть больше. Два у него участка, один — за домом, а другой — через асфальт.

Засаживать у нас каждый год одинаково получается, что у меня, что у Саши. Мы просто места меняем в огородах под свеклу, картошку, морковь. Например, если в этом году вот здесь была свекла, то на следующий год она будет уже там, допустим. А в принципе все, что видишь здесь на столе, то мы сами и выращиваем: это лук, морковка, огурец, помидор, свекла. Но для всего этого площади мало нужно. А в основном у нас земля под картошкой.

Скотины мы стали держать последние годы поменьше, видишь, и корову мы с матерью сдали, оставив пару поросят, хотя Сашка корову держит и нас молоком снабжает. В общем, сейчас с каждым годом спрос на мясо становится меньше. Получается, так что корма дорогие, а мясо почему-то дешевое. И на мясе нам заработать не удастся. То есть корм дорогой, и если его в колхозе украсть не удастся, то невыгодно получается со скотиной возиться.

Насчет торговли на далеких рынках я какой-то невезучий! Я сколько раз пробовал хоть картошку продавать, но почему-то не получилось у меня никакой выгоды от этого. Они рынки какие-то разные, и потом, на каждом рынке хорошие дни торговли, они же тоже разные. То есть как-то на них тоже надо специализироваться. Я вот был как-то раз в Москве на вашем Кунцевском рынке, продавал, это года четыре назад было. Но как-то цена даже была хорошая, дороже, чем на других рынках. И места дорогие были, где мы стояли. Но вот мы попали на четвертое ноября, это День согласия и примирения. И в этот день время только двенадцать часов дня, а они рынок уже закрыли — покупателей нет, и все! Хотя покупатели за забором и стоят, а охранники их почему-то не пускают! Это, наверное, для безопасности, боялись, чтобы теракта не было. И мы ведь за место заплатили, а картошку так и не продали. Я, как всегда, еще и домой спешил. То есть я просто тем, кто со мной приехал отсюда тоже, я им по дешевке продал, чтобы машину освободить, и я уехал. Вот сколько раз бывал я на рынках в Подольске, в Жуковском, но так картошку и не продал, не везет как-то. А труд этот все-таки тяжелый — едешь, а по трассе то там, то там машина в кювете валяется, и задумываешься, вдруг и со мной такое будет?! Находясь в таком постоянном напряжении, не стал я больше ездить по рынкам. А ведь на тех рынках с нас все эти лишние поборы бывают, всякие там ездят и нас обирают. Но в этом году у меня была такая мысль опять попробовать картошку продать. И я даже хотел сначала поехать на тот же Кунцевский рынок, посмотреть на цены, стоит ли ехать с картошкой или нет смысла. Но пока еще не ездил. А машина моя, она теплая, я ее утеплил сам пенопластом, можно бы съездить на разведку.

Есть у нас такая реклама «Россельхозбанка», она каждый раз идет, и проценты маленькие — так заманивают нас. Но не соглашусь ни за что, потому что это жить в долг, постоянно под напряжением. Просто нет никакой гарантии, что я кредит этот верну в срок и вообще верну. Берешь, например, под скотину, а она дешевет, и все! Что это такое, а запчасти все дороже и дороже, ну как же это можно?! Вот такая штучка, она двести сорок рублей стоит! Там металла сорок грамм, а она столько стоит. А мне нужно три, я их три купил, ну и что?! Стартер шесть тысяч стоит! И так денег на все не хватает.

У меня такая плохая черта, что я не считаю, сколько я трачу и сколько зарабатываю. И что считать, если я один. Хотя надо, просто «на карандаш»! Ну в среднем получается, что пятьдесят тысяч на огородах я заработаю. А есть же еще расход — горючее. И то, что изнашивается техника, это трактор. Горючее, это сразу видно, солярка сейчас стоит двадцать шесть рублей. И масло тоже подливается. Но это не ремонт, это расходные материалы. И солярки я сжег тысяч на шесть-семь, даже, может, и больше. А вот тогда я уже заработал, наверное, сорок тысяч. А вот еще летом сено я косил, но учет тоже не вел, хотя надо бы себя заставить это регулярно делать, вести учет. Некоторым я косил в долг, некоторые еще до сих пор не заплатили за сенокос. А косили мы за двадцать пять рублей за сотку! Но тоже огороды у кого есть, это по десять-двадцать соток. Еще косили мы огороды, засеянные травой для кормов. И на лугу косили. На лугу, там большой простор, и просто шагами отмеряешь столько-то шагов, скажешь, что столько-то здесь соток — согласен? Согласен! Ну а там хорошо, там большой простор. И я вот на лугу одному человеку скосил, наверное, гектар и заработал где-то две тысячи. Но это сразу в одном месте, так-то удобно. А не то что по селу ездить — там пятнадцать, там двадцать соток скосить, и там уже гектар не так удобно косить. А поляну — это хорошо, там я примерно за один час заработал две тысячи. И я один косил, а потом мы еще косили и сообща. И я вот там скосил, а потом там я собрал уже сено в валик. А товарищ мой затюковал, и потом мы уже это продавали, и уже все это разделили. Я больше участия принимал в работе, но его были грабли, то есть это уже техника его. И потом, мы договорились, что ему идет сорок процентов от всего заработка, а мне — шестьдесят процентов. Но здесь я также не могу сказать, сколько мы заработали. Но примерно мы продали тюков шестьдесят. Мы продавали по восемьсот рублей. И это получается сорок восемь тысяч. И если шестьдесят процентов, то я заработал тридцать тысяч, а он восемнадцать тысяч от сорока восьми тысяч?! А это мы за три дня сделали. И потом еще дополнительно я развозил на своем «газоне» эти тюки по домам. И я за это с тюка брал по сто рублей за перевозку. Я три тюка сразу везу и триста рублей уже получаю. Но этого мало, конечно.

Примерно тридцать огородов я скосил. И потом, мы же еще и своими огородами занимаемся, это тоже долго. У нас скосили огород — два участка, — два дня потеряли. И у брата Сашки тоже огород — три участка, тоже три дня! У нашего двоюродного брата тоже есть огород, у него три участка, тоже три дня. И поэтому у нас тоже много времени уходит на наши огороды. Я на них проползал неделю. А потом, когда мы картошку уберем и продадим с наших огородов, то я за это все заработал пятнадцать тысяч. Но просто мы же вместе живем и вместе работаем, друг другу помогаем, это мы всегда так работали вместе, так было, так и будет, это уже не в счет оплаты, а вот так, по-родственному. Но мы еще хоть что-то получили за нашу картошку, а есть у нас в селе и такие, которые

больше потратили на все это, то есть ушли в минус — кто на одну тысячу, кто на полторы! То есть вот к чему мы пришли, и вот почему так получается?!

А вот лук, морковка, свекла, это все только для себя заготавливаем, это едим и все — не продаем. И это вообще все дешево. То есть моя товарная продукция, это картошка и скотина. Но доход у меня выходит даже выше от шоферско-механизаторской деятельности — вспахать, скосить, перевезти. Как я тебе уже сказал, я все это с карандашом не подсчитываю, это моя неряшливость, но это так! В целом же все и накапливается — оттуда доход чуть-чуть, оттуда чуть-чуть. Опять же в какой-то сезон наймусь работать на комбайн — урожай убирать в колхозе-агрохолдинге».

### **Колхоз и инвестор**

«Раньше колхоз план давал. И любой ценой приходилось выполнять этот намеченный план. И если колхоз выполнил план, то тогда председатель молодец, ему была хвала и честь. А в последнее время у нас председателем колхоза был Артемов, государство у колхоза зерно не брало, заказа на него не было. Как известно, сначала был Госплан, потом — госзаказ, а потом уже ничего не было! И вот колхоз тогда ездил и продавал зерно в Подмоскowie, на фураж — по деревням ездили. Просто там упрасивали, чтобы купили это зерно, чтобы потом на эти деньги технику приобрести, такая ситуация тогда была. Потом одно время стали уже зерно брать элеваторы, но тоже по низкой цене. И не было никакой модернизации, как сейчас говорят, никакого обновления — как построили, так и стояло. Еще коровники в то время как-то держались, ремонтировать тогда уже стали хуже — стекла пленкой затянут, дыры тряпкой заткнут, и все тише и тише работа в колхозе....

А сейчас на наши колхозы объявился собственник другой. Пришел инвестор «Настюша», лет шесть тому назад, наверное. И руководитель у них был какой-то Пинкевич. И он сюда к нам приезжал. И в первый год он привез сюда с собой известных артистов, Лолита там была и многие другие артисты. И Пинкевич выступал. И он так все круто говорил, что похож даже был на бандита — с таким гонором: «Я вам дал технику, дал технологию. Вы работайте, а мы будем вам платить! И механизатор в год должен получать шестьсот тысяч рублей». И мы тут обрадовались. То есть это же пятьдесят тысяч в месяц!

А потом «Настюше» в соседнем колхозе он подарил шесть машин. Да это «семерки» он подарил лучшим механизаторам. А нашему колхозу от него досталась одна «десятка». Но мы посоветовались с нашим директором и решили, что эту сумму надо поделить на всех. Но вот все похлопали ему, когда он сказал, про шестьсот тысяч в год на одного механизатора, но все равно ему никто не верил!

«Настюша», оказывается, набрала кредитов, а потом не выплатила их, и банк стал технику у нее отбирать — трактор один, потом — второй. А потом и комбайны. И так по чуть-чуть и отобрали. И остался один новый комбайн и два новых трактора, и все. А остальную технику банк забрал, потому что они не были оплачены, брали в кредит.

Пользы «Настюша» нам не принесла — урожай плохой был. Хотя, конечно, погода была плохая. Но все-таки и агротехнология тоже была нарушена. Вот наш сосед фермер Касьян, он посеял пораньше, и урожайность у него была лучше, потому что он все сделал нормально. И убрал он тоже пораньше. То есть он как

частник, и он все хорошо сделал. А вот «Настюша», у них пять человек, и они желали работать, но у них то семян нет, то солярки нет. Или еще есть масса причин, но как так у них все это получалось, мне это трудно понять! И по-прежнему у них есть главный агроном, и есть управляющий, и второй управляющий, и там их таких человек восемь наберется. А рабочих у них всего пять человек! Сейчас мы трактористов по пальцам пересчитаем — Пудин, Базов, цыган какой-то, Леша Киверов и еще кто-то пятый, не помню сейчас. И еще водители — Чернов, Овсянников, Ванька... Хотя водители, они вроде и числятся, а вроде и нет... И уже начинается высшее управление — бригадир, директор Лункин. И управляющий Юрка. Сан Саныч, неизвестно кто он там есть, но он на окладе. И еще главный охранник, я про него забыл. Потом главбух. И еще экономист-кассир. Потом заправщица-кладовщик. И еще та, которую я упустил, она у Пескарей в будке сидит. Получается, что их восемь человек, которые на окладе. И еще человек шесть охранников, они охраняют полевой стан Сосенки, где вся техника стоит и еще они ферму охраняют. То есть восемь человек бухгалтерских и еще восемь-девять человек охранников, они все на окладе, они ничего не производят, они пользу в принципе не приносят. Много охранников, но платят им по четыре, шесть, восемь тысяч, вот и все! Но и это, может быть, хорошо, потому что хоть и четыре тысячи у охранника за месяц, но он сутки отработает, а двое дома. И получается, что он десять смен в месяц постоял, и у него уже есть четыре тысячи, это смешно или не смешно, я даже и не знаю, как сказать!

А сначала в две тысячи шестом году работников у них было много, человек девяносто, может быть, но это вместе со свиноплексом, а может, и все сто десять человек!

Когда общаешься с мужиками, то в основном такая же песня везде. Если куда-то какие-то инвесторы пришли с деньгами, понимающие, и хотят они работать, то там еще более-менее, и урожайность тоже есть. А вот если это инвесторы не те, как наша «Настюша», то там все далее разваливается».

### **Дороги и власти, взаимопомощь и рознь**

«Но прогресс, конечно, у нас виден, дороги немножко сделались получше, но я тебе в связи с этим скажу, что и люди у нас интересные, то есть разные — некоторые люди у нас раньше бросали мусор прямо на дорогу. А дороги же раньше были проселочные, грунтовые! И допустим, трактор в грязь проедет, и уже остается такая глубокая колея. И какая-нибудь бабушка вынесет в пакете какие-то бутылки пустые, какой-то мусор, еще что-то, что осталось, и бросают многие, как эта бабушка, все в эту колею. Они просто считают, что трактор проедет по всему этому мусору и втопчет это все — в бездну куда-то это все уйдет: дорога все сжует. Но вот уже последние года четыре-пять каждое лето стали по нашим улицам делать твердое покрытие. То есть это еще не асфальт, а щебень мелкий. То есть по улице щебень мелкий раскатают, разровняют, но для нас и это хорошо. И люди уже и этому рады. И вот вчера и сегодня, на той улице сделали тоже твердое покрытие такое же, а то они все время ходили по грязи. И вот еще, когда ежегодное собрание, то глава администрации приглашает всех на отчетное собрание. И он на этом собрании отчитывается перед населением, то есть перед нами, что было за этот год сделано. Ведь мы же его избрали — народ, и вот он отчитывается: на какую сумму деньги истратили,

что сделали и что еще сделать предстоит. И вот он сказал, что улицы в большинстве своем уже все почти сделали. То есть почти на всех улицах сделали хотя бы щебеночные дороги, немного осталось щебнем покрыть все остальное, и дело только в деньгах. Но мы вчера с рабочими разговаривали, которые делают эти дороги, и они говорили, что согласны делать нам любую работу, но дело только в оплате. Им ведь тоже для покрытия дорог нужно щебень приобрести в Липецке — щебень за просто так никто же не даст. И им нужно довезти щебень сюда. Хотя у них и свой транспорт, но горючее дорогое все равно, им нужны деньги на солярку, чтобы щебень сюда довезти. То есть рабочие готовы все это сделать, но дело в оплате. То есть администрация их наняла и заплатила, и мы этому рады. А рабочие сейчас нам могут даже асфальт положить, для этого у них все есть, но дело только в оплате.

И люди так же стали совсем другие: помочь что-то сделать, то уже некого порой попросить. А если вдруг и решишься попробовать попросить кого-то, то он может и отказаться, сказать, что у меня свои дела. То есть вот так, хотя я сам по себе знаю, что когда день начинается, и ты, чтобы с пользой его провести, ты просто и не знаешь за что сначала ухватиться. И так довольно часто получается — сегодня вот трактор ремонтировал. А завтра опять трактор буду доделывать, еще не все успел сделать. И если бы, например, и ко мне кто-то пришел, попросил бы ему помочь, я, может, тоже отказался бы. Просто не могу, потому что мне завтра на работу, а я не успею отремонтировать трактор, а это мне просто необходимо доделать. А у нас еще интересно то, что мы с детства друг друга знаем — кто чем дышит, кто какой, кто что может сделать. И ты как бы в собственном и соседском соку все время, всегда на виду у всех. И видно, что некоторые злятся и меж собой не дружат, кто-то кого-то обманул или грубо кому-то сказал, или сказал плохое за глаза, мы все это видим, знаем друг о друге. И все это иной раз просто накапливается, и потом уже народ друг на друга косится, поэтому и взаимопомощи сейчас как-то не дождешься. Может, это сейчас и везде так, но очень заметно, что сейчас народ стал объединяться только со своей семьей и все... Конечно, из родных кто-то помогает, если в огороде что-то надо сделать, какие-то тяжелые весенние или осенние работы. Но вот, например, убрать во дворе или навоз вычищать, это никто друг другу помогать не ходит, это все сам делаешь, это уже только твоя работа. Если мебель привезли кому-то, то помогаем друг другу тоже. Или, например, у кого-то стройка, то тоже помогаем! Но уже реже, реже... Сейчас и у нас стали нанимать или настоящих строителей, или гастарбайтеров.

Что еще нас всех немного объединяет, то это праздники. Хотя у нас праздник только один, и он самый веселый, это Новый год. Нет, еще один настоящий праздник — Проводы зимы. На Новый год елка ставится в ДК. И там с гармошкой кто придет, и ребятишкам устраивают танцы, а кому постарше — дискотеку. И еще такой всенародный праздник, который пока всем нравится это Проводы русской зимы. Этот праздник проводится на улице, вокруг Дома культуры. Там песенки, шуточки, кто и что может исполнить. И конкурсы проводятся — кто лучше споет, кто кого перепляшет. И еще проводится такое поднятие гири, кто канат перетянет, на столб кто залезет! И в конце зимы чучело сожгут, и это тоже весело. И хоть это каждый год проводится, но все равно не надоедает, все равно интересно и весело всем. И кто-то приходит посмотреть на ребятишек, которые там выступают, это тоже так интересно и душевно. А больше пока ничего такого

нет. Вот раньше у нас довольно часто проходили концерты, это еще в советское время, приезжали какие-то маленькие ансамблики с гитарами. Но они не были такими уж известными, хотя и были из разных других городов. И они часто приезжали. И всегда было так весело, мы их ждали. И цирк часто тоже приезжал. И гипноз тоже приезжал, это вообще очень интересно было. Гипнотизер вызывает на сцену кого-то из наших, что-то с ними на сцене делает, и у нас просто глаза вот такие были! А вот после перестройки уже никто не приезжал, и сейчас уже ничего такого нет».

### **Богатство и бедность**

«А среди наших жителей нет большой разницы, кто победнее, кто побогаче. Конечно, есть у нас в Каликино те, у которых есть частный магазин, вот они отличаются от нас. У них и домики поуютнее, и автомобили крутые у них, и в доме все в достатке. Это как бы наша элита. Торгаш у нас самый богатый, а те, кто на земле пашут, у них в принципе дохода мало!

Фермеры есть богатые. Хотя наш самый богатый фермер Касьян... Кто его знает, чем богатый он? В прошлый раз я был у него в доме, в углах — плесень! Он вроде деньги имеет, но он же хочет купить технику, вот копит деньги, технику покупает, а в дом ничего не приобретает. И у него недвижимости много — земли много и техники. А техника, она же много затрат требует. Он вроде и детям совсем не помогает, но дети-то у него уже взрослые. И я не знаю, как его богатство оценить. Фермер Касьянов, он как эксплуататор. Он нажал на людей, пообещал столько-то денег, но может и обмануть. Он сам по себе такой хитрый мужик, он сам про себя говорит, что «на мой век дураков хватит»! Он заманивает хорошими деньгами, по сравнению с нашими вроде побольше, а потом уже было так, что проработали по два месяца у него, а он зарплату не отдавал. То есть получается, что он такой эксплуататор. Но домики у него хорошие, и машинки тоже крутые.

А что еще есть богатство? Дачки — признак богатства! Много липецких в последнее время стали здесь дачи держать — выкупают старенькие домики здесь, дачи у них получаются. Некоторые богатые живут в Москве, а здесь, например, мать у них живет. Хотя мы же не знаем, что у них там есть в Москве — есть недвижимость или богатство или нет?! Есть здесь один москвич, мать его здесь живет. И вот он ей быстро так домик обустроил, окультурил, сделал так все быстро и хорошо. Ну, мы думаем, что у него там, в Москве валом всего, а на самом деле, кто же его знает?! И машина у него хорошая — приезжает на крутом джипе.

Есть у нас еще один такой житель. Забор у него капитальный, каменный, а домик у него похож на такие, которые стоят на Рублевском шоссе. Они с женой стали торговать, когда перестройка пошла. А тогда торговля как-то особо высоко котировалась. Они долго у нас стояли на рынке, торговали обувью, она у нас тогда в дефиците была. А потом ему кто-то подсказал, что какая-то московская фирма собирает металл. А ему сказали, что просто надо собирать клиентов, чтобы они это металл собирали бы и отправляли в Москву. И на этом металле он сколотил хороший капитал. И он укрупнился на этом металле, и сейчас у него три джипа крутых. И домик такой хороший, по московским меркам — коттедж такой. И у него все причиндалы — водный мотоцикл и квадроцикл. Зимой ездит он

в Сочи кататься на горных лыжах. То есть хорошо живет. И они сейчас какую-то еще площадку выкупили, где металл принимается — раньше они это брали в аренду, а сейчас это у них уже свое. И они все расширяются — фасуют еще цемент. И там еще пилораму построили. И сейчас наших мужиков к себе понесли на работу — строителями, рабочими, охранниками, то есть человек пятнадцать каликинских к себе туда взяли. И сейчас на него уже люди работают, а не он сам работает. У него прибыль большая.

А кто у нас бедный — это пьющий, старый, одинокий. Вот сейчас ко мне заглянут два товарища, они мои ровесники, а может, постарше. И они, например, с утра встают, а у них в кармане десяти копеек нет и не будет! Один с отцом живет, а мать у него умерла, когда ему четыре-пять лет было. А вырастила его неродная мать и воспитала. А сейчас и она тоже умерла. А отец такой крепкий мужичок, серьезный такой. А сын, он как с утра из дома уходит и только к ночи, может, домой возвращается. Приходит, дома тепло, отец за отопление платит, продукты тоже покупает, и они так за счет отца и живут. А сын нигде не работает, гуляет, водку пьет, вот и все заботы — спился окончательно. И еще один придет, Толя, он тоже спился окончательно. Но мозги еще есть, был он развитый парень очень, а сейчас очень много пьет. Но и сейчас может любой стих прочитать — Пушкина, Лермонтова. И в математике хорошо разбирается. А пьянка и его засосала. Кто ему подаст, от того он насобирает пятьдесят или сто рублей в день, он на них и пьет потом. И сестра у него в Завидовке живет, она ему еще как-то помогает деньгами, вот так. Ну, картошка у него своя есть.... Вот такие у нас бедные есть... А как пил Хлеманок и его братья?! Какой же был крепкий Хлеманок. Если бы я пил так, как Хлеманок, то я бы уже давно помер. И выпил Виктор Хлеманок водки за всю Россию! А если бы Хлеманок не пил, он бы прожил сто лет. Но вот и Хлеманок уж умер от пьянки позапрошлый год. Пьющие — бедные.

А богатые и бедные, это же злость, ненависть среди низшего населения к богачам. Это сегодня видно. И еще здесь такая проблема, что сейчас есть воровство в государстве, и это все видно, что такое воровство не наказывается. И коррупция отсюда, все это нечестно. А честный труженик работает день и ночь и мало чего получает. А они богатые вот еще так — «пальцы веером» и смеются над нами. От этого злость. Злость чувствуется у нас в Каликино, что такая нечестная жизнь настала повсюду».

### **Родина и свобода**

«А без Каликино я жить не могу. Вот веришь, если я на несколько дней из села уеду, то тосковать начинаю, и душа у меня болит. Сразу представлять себе начинаю наш холм на Зареченской улице, и луг, и Гусятку, и что там происходит во все времена года. Раньше у нас по весне была полая вода, которая не вела так себя, как ныне. Раньше вся эта поляна перед нашим домом была вся залита — течение было страшное — все смывало. И река была глубокая и чистая. А сейчас мы сами удивляемся, что в половодье река не выходит из берегов. И никто не знает, куда вода девается! А вспоминаю себя в детском возрасте, и тогда у нас зима начиналась не так, как сейчас. Осенью дожди, дожди. И на поляне везде лужи большие. А потом — раз, и резко мороз! И земля промерзала, может, на полметра. И мы вот тут ходили играть, было чисто-чисто, снега не было. Так зима начиналась. А сейчас наоборот: осенью — дожди, слякоть-слякоть, а по-

том на талую землю снег выпадает. А потом уже после этого мороз, и уже земля не промерзает. Вот такой слой снега, он держит мороз, не пускает его. У нас такие уже были две последние зимы — снега было много, почти около метра. Мы радовались, что снега много, и в половодье вода будет большая. А начинает таять, куда снег девается — не понятно. Снег стает, а земля талая, и снег, вода куда-то туда уходит вниз, и все. И разлива нет! И это уже много лет, наверное, пятнадцать лет уже точно разлива нет. И река не прочищается. И листья, ветки палые в реку падают, и вот такой слой на реке скапливается.

Там, где сходятся речки Гусятка и Слободка, там просто сплошное безобразие, там просто болото стало. И вот луг за нашей стороной, его с огорода видно. И там тоже стали кустики пробиваться, а раньше вообще ничего такого не росло, ничего не было. А это из-за того, что коров не стало, а раньше здесь сто коров пасли. А раньше каждая коровка по щепоточке стопчет, и травка всегда была молодая — кустов нет. А сейчас коров не стало. И трава вырастает по колено. А потом она уже засыхает, друг на дружку ложится — бурьян уже, и сквозь него пробиваются уже эти кустики, самопроизвольно. Это ветла, мы ее вешками зовем. И я купил трактор, а потом у меня еще и косилка есть. И я уже два сезона, два лета выкашиваю здесь траву.

Сейчас мне трактор надо доделать, но ведь я его и завтра доделаю. То есть что-то все время находится, что отвлекает. Но зато меня никто и не погоняет, я чувствую свободу, и это хорошо, мне это нравится. Я машину на ремонт поставил, и пусть стоит, хоть целый месяц, когда захочу, тогда всю ее и сделаю. А если бы куда-то пошел на работу, например, в тот же колхоз, то меня все равно что-то заставили бы делать. И я немножко этим наслаждаюсь, что никто меня не заставляет. В прошлом году было лето очень жаркое, так мы просто целые дни пропадали на реке, этим только и спасались. И это лето тоже жаркое было, и мы тоже были на реке, и как-то так хорошо отдохнули. А то бывали, например, такие года, что я в сезон два-три раза искупался, и все. Как в поле уезжаешь и там целыми днями и сидишь, трудишься, лето проскочило, а ты его и не увидел. И я как-то подумал, что же такое — жизнь вот так проскочит, а ты ее тоже не увидишь, не почувствуешь, как это все прошло. А хоть чуть-чуть и поменьше зарабатываешь, но зато и себе же полегче. А то себя гробили по заданиям в этом колхозе!

Вот и брат мой Саша со мной соглашается. И он сейчас индивидуальный предприниматель. И он тоже доволен, говорит, что могу поехать — могу и не поехать, могу и отложить, остаться и сделать более важные дела. То есть свобода, она нас привлекает, и это хорошо. Другое дело, что у нас она какая-то дикая свобода получается, часто — или ничего, или все! Бывает затишье, что никто ничего у меня не просит, так неделя прошла, и ни копейки я не подработал. А хлеб-то каждый день надо есть, вот так! И свет, газ, телефон, за это тоже каждый месяц платить надо. Приходится тогда экономить.

А место, где мы живем, оно самое красивое в Каликино — река, простор, зелень. И с соседями нет никаких раздоров — никто мусор не имеет права здесь вот свалить, и я тоже никому вредить не буду. И места здесь много, вот до тех пор это все мое. И вот там КамАЗ стоит, и это почти все мое. И у реки место, это тоже все мое!»

## Заключение: Колина доля

Это крестьянское Колино «мое!» звучит как-то особенно трогательно-беззащитно по нашим нынешним жестким частно-собственническим временам. Я расспрашивал Колю и его семью об их имущественных правах, например, на землю. Николай и остальные члены семейства отвечали на такие вопросы довольно неуверенно, придерживаясь в своих рассуждениях традиционных крестьянских воззрений, что их земля та, на которой жили они и их предки, и которую они испокон веков обрабатывали.

С точки зрения идеолога прогресса, Коля и его односельчане сами виноваты во всех своих заботах и бедах, бестолково влачат они свою курьезно иррациональную жизнь, кое-как сводят концы с концами своего крестьянского трудопотребительского баланса на общем центральночерноземном фоне идиотизма деревенской жизни. Тут можно лишь заметить, что Николай и односельчане в большинстве своем до самой своей смерти стремятся зарабатывать свой хлеб своими руками, — пусть и архаично неумело по нашим нынешним ловко постмодернистским временам. Интегрировать их извечные трудовые крестьянские практики в современную жизнь, найти пути развития крестьянских миров в современных условиях, — эта непростая задача, к сожалению, до сих пор в основном остается вне поля зрения ныне господствующих науки и политики.

У Коли есть мечта. Он никогда не видел Волгу, и ему очень хочется ее увидеть. Призванный в начале 80-х годов в Советскую армию, он, хоть и не по своей воле, но повидал самую западную и самую восточную границу страны. Он начал службу в пограничной учебке на Балтике, недалеко от Калининграда, а закончил службу на тихоокеанской погранзаставе, недалеко от Берингова пролива. Ему приходилось ездить на своих грузовиках не только в Москву, но и в Ростов, например, однако в сторону Волги он рейсов никогда не делал. А поехать просто так отдохнуть, повидать Волгу ему не представлялось возможным из-за его вечной занятости по хозяйству. Летом прошлого года, направляясь на машине в командировку в Саратов, я заехал по пути повидать Николая и стал его уговаривать поехать со мной хотя бы на день посмотреть Волгу под Саратовом. Потом ближайшим поездом он мог бы вернуться обратно в свои края. Коля сначала загорелся и уже готов был решиться на спонтанное путешествие, но потом вспомнил, что договорился на завтра с электриками, которые будут чинить у него в гараже проводку. А потом застеснялся, что трудно будет оставить так неожиданно полуслепшую мать хотя бы на сутки самой управляться по хозяйству. Вздохнув, в конце концов, решил: «Нет, не могу, видишь... Значит, не судьба, давай, может, как-нибудь получится в другой раз...»

Мне Николай не то чтобы жаловался, а, как говорится, констатировал, что каждый свой новый день он начинает в неведении: чем и в какой последовательности ему всеми своими делами придется заниматься. Всякий день у него множество забот, и он столь многим постоянно необходим в деревне.

— Колька-я, — якая по-рязански, напоминает ему из своего угла рачительная мать, чтобы он задал корму пороссятам.

— Коля-я! — бегут навстречу племянники, вернувшиеся из детсада и собирающиеся поделиться с любимым дядей своими последними детскими новостями.

— Никола-а-й! — зовут сверстники-односельчане опять с предложениями, где чего вспахать-скопсить, построить-поремонтировать, перевезти-поспекулянить.

А кругом гогочут гуси, во дворах кричат петухи и похрюкивают свиньи. И каждый день безотказно устремляется навстречу людям, природе и встающему над ними солнцу российский крестьянин Николай Добрый.

## О повести Романа Сенчина «Чего вы хотите?»

*Публикуя в прошлом номере журнала «горячую» повесть Романа Сенчина «Чего вы хотите?» под рубрикой «Проза дос.», мы заранее предполагали, что она вызовет неоднозначную реакцию. Еще живы в памяти события московской «белоленточной» зимы 2011–12 года, и трактуются они до сей поры в обществе по-разному, и увидены они в этой повести глазами не взрослого человека, а девочки-подростка, и полу- (а, может, и псевдо) документальный жанр, в котором она написана, тоже вызывает некоторые вопросы.*

*Мы оказались правы — реакция не заставила себя долго ждать. Публикуем отклики прозаиков Алексея ВАРЛАМОВА, Ирины БОГАТЫРЕВОЙ, Владимира БЕРЕЗИНА, критиков Марии РЕМИЗОВОЙ и Евгения ЕРМОЛИНА.*

*Алексей Варламов*

### От отчаяния к надежде

Сенчин написал замечательную книгу. Может быть, лучшую из всех им написанных. Этот внешне мрачный, неразговорчивый, нелюдимый человек с репутацией скандалиста впустил читателя в свой дом и оказался удивительно добрым, откровенным и гостеприимным хозяином. Не всякий на это решится и не у всякого это получится. Писать о себе, любимом, можно сколько угодно, но писать о своих ближних — это совсем другое. На моей памяти в литературе недавнего времени нечто похожее сделал Валерий Попов в романе «Плясать досмерти», но там при всей пронзительности и трагичности повествования мне мешал сам автор. Точнее, его образ. Его было слишком много, он чересчур тянул на себя одеяло (чем страдает и биография Довлатова, им написанная для серии ЖЗЛ). Сенчин — иное дело. Ему удалось соблюсти идеальную композиционную пропорцию и уделить себе столько места, сколько нужно. Он сумел взглянуть на себя со стороны — качество редкое в мире людей, а тем более писателей. Чего стоят замечания о том, как чувствует себя глава семьи, когда давно нет гонораров: ходит приниженный, пристыженный, и как он расправляется, распрямляется, когда приносит в семью деньги. А брошенное вскользь недовольство нынешними литературными счастливыми... И все это сделано

без какого бы то ни было нажима, деликатно, интеллигентно, даже как-то застенчиво и самоиронично — слова, казалось бы совершенно с автором не вяжущиеся, но, быть может, точнее других раскрывающие его потаенный внутренний мир.

Но главное, конечно, здесь — это семья, и дочь как центр семьи. Описать собственного ребенка — это наверно самое сложное, что есть в литературе. Себя, друзей, врагов, родителей, дальних и ближних родственников, жену, наконец, но дочь... На это надо решиться. Мир четырнадцатилетней девочки с его заботами, переживаниями, страданиями, ее отношение к тому, что происходит вокруг, к родителям, подругам, музыкальная школа, простая школа, учителя — через все это мы проходим со своими детьми, но именно что проходим, а Сенчин остановил свой взгляд. И оказывается, что мир, в котором мы живем, который мы так или иначе построили или причастны к его построению своим непротивлением, либо сопротивлением, одновременно и не так страшен, как нас пугают, и не так нормализован, как вещают на голубом глазу в официальных новостных программах. Он узнаваем, прочитываем в его повести (или романе). Сенчинская книжка как раз из тех, что должна быть прочитана на самом верху, прочитана теми, кто не понимает, чего же *они* хотят. Чего хотят те, кто выходит на Болотную площадь, надевают белые ленточки, кто они — американские агенты или обыкновенные русские люди, у которых своя боль. Как живут их дети, что думают о жизни их жены, друзья, знакомые.

Заметим, что в советские годы такое было бы невозможно. Писатель сенчинского уровня жил бы не в обычном доме на пролетарской окраине Москвы (я сам из тех мест и примерно представляю их себе), а где-нибудь на Аэропорте, у него была бы дача в Переделкине, он ездил бы в Малеевку, а феномен Романа Сенчина в том, что он, перефразируя известное выражение Шукшина, сосед по лестничной клетке своим читателям. И здесь, скажем, принципиальное отличие Сенчина от Кочетова, название романа которого он обыгрывает. Кочетовский памфлет был направлен против тогдашней элиты, а у Сенчина ничего элитарного, гламурного, богемного, равно как и антибогемного нет и в помине. Он действительно живет той жизнью, какой живут большинство людей в нашем городе, между ним и ими нет средостения, как нет его и между поколениями, в повести изображенными. В этом смысле Сенчин толкует конфликт «отцов и детей» в тургеневском смысле, где союз «и» выражает не противление, а соединение, примирение. После страшных, безнадежных «Елтышевых» он написал книгу, полную света и надежды. Сравнивая их, можно увидеть, что нам показаны две семьи, два рода семей — одна, построенная на раздоре, другая — на любви. И хотелось бы сказать: неважно, где происходит действие — в сибирском селе или в Москве, но боюсь, что как раз это и важно. В московской жизни сибиряк Сенчин нашел свой круг — жену, друзей, какой-никакой, а мир литературы, где его уважают и признают, герои же его сибирской семейной саги оказались в вакууме. В этом одна их причин их краха. Их беда, а не вина.

Но если говорить об авторе, то именно такой путь от отчаяния к надежде, от беспросветности к свету, от индивидуализма, явленного не только в «Елтышевых», но и в «Информации», к семье как к малой церкви и есть путь русского писателя. И если это будет путь от вымысла к документализму, то значит, и в самом деле в литературе что-то кардинально меняется, и слезами обливаться читатель будет над действительностью.

Владимир Березин

## А была ли девочка?

Чтобы разнообразить собственное рассуждение, нужно сказать, что я очень хорошо помню время конца восьмидесятых годов прошлого века. Тогда множество скучных советских писателей предрекали глад и мор, а вот бодрые антисоветские писатели, говорили, что все расставит по местам невидимая рука рынка, нас ждет неминуемый расцвет наук и ремесел. Прошло четверть века, и стало понятно, что правы оказались скучные советские писатели. Но их все романы были написаны одним и тем же унылым языком, а вот романы антисоветских писателей были увлекательны и интересны.

Я всегда вспоминаю эту историю, когда дело заходит о прямой агитационной литературе, которая пренебрегает стилем и выдумкой.

Надо сказать, что повесть, в которой рассказывается история девочки-подростка на фоне митинговой активности прошлого-позапрошлого года, оставила меня в некотором недоумении.

Нет, писатель Сенчин — писатель успешный, причем специализирующийся именно на *свинцовых мерзостях жизни*. Сейчас уже надо объяснять, что эта фраза из повести Горького «Детство», где он пишет «Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя... Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живет — простой русский человек». Кроме Горького в русской литературе рубежа веков, тех еще веков, было довольно много состоявшихся писателей, которые рассказывали об угрюмой жизни русского народа. То есть не то, что бы очень много, но это был узнаваемый стиль нарративного повествования о том, как встает с похмелья рабочий, как одиннадцать часов в день он вертит гайку на фабрике, как обманывает его приказчик на фабрике, как потом он напивается в кабаке казенной водкой и как потом встает с похмелья.

Сейчас много желания увидеть в митингах людей с белыми лентами аналог событий 1905-1907 годов. Интересно, как было отражено народное брожение Первой русской революции — а, бесспорно, рефлексий было очень много, и Россия тогда была по-настоящему литературоцентричной страной без телевидения и блогов. Есть рефлексия очевидца, беллетристическая запись только что пережитой эмоции. Потом есть эстетический подход, и не поймешь, что в итоге реально действует. Что адекватно событию — агитационная проза? Роман «Виктор Вавич»? «Петербург» Белого?

А был и простой тип таких историй — с минимальной художественностью, с почти косноязычием (тут, правда, я бы не распространялся — возможно, что я читаю нередактированный, да еще и сокращенный текст. Мне, к примеру, мешает выражение «пачка ряженки» вместо *лакет*, но ладно, это может быть диалектизмом).

Итак, первый пункт, который интересно обсуждать, отправляясь от повести (или романа) Сенчина, это механизм отклика на актуальное событие. Честно

говоря, я считаю, что бурление московского народа было не столь заметно в остальной России, что круговорот митингов и шествий так и закончился ничем, и литературная рефлексия уровня «Клима Самгина» нам будет явлена не скоро.

Второй пункт — это идея документальной литературы. В свое время Александр Рекемчук, что вел в Литературном институте семинар, где обретался писатель Сенчин (и я, кстати, тоже) начал ругать рассказ одной студентки за недостоверность. Она вскинулась: «Да это все было на самом деле!» Рекемчук отжался от стола и отдельно произнес: «Совершенно. Не. Важно. Как. Было. На. Самом. Деле». И он был прав, но самое интересное, что у литературы есть своя правда.

Документализм в литературе — чрезвычайно странное явление. Очерки из босяцкой жизни были чрезвычайно популярны, причем даже те, по сравнению с которыми стиль Горького обладал набоковской сложностью. Рабочий встал, рабочий пошел. Причем сама эмоция предъяснялась в готовом виде — прет-а-порте. «Доколе нам терпеть!» — воскликнул Прохор. И верилось, что он встанет и разрушит эту глыбу самовластья и проч., и проч. У Сенчина, кстати, есть и этот мотив русской классики — герои говорят без тени иронии, будто зачитывают собственные статьи — благо все герои, кроме, собственно девочки-подростка, люди пишущие и реальные. Помещение документа в текст, кстати, давняя традиция — она особым образом расцвела во время буйства «литературы факта».

В той повести, о которой идет речь, есть одна особенность — там раз от раза повторяется один прием. Девочка слышит разговоры взрослых, запоминает тему, открывает компьютер, смотрит «Википедию» (статья или цифра тут же предъясняются), ужасается, и затем все повторяется снова. При этом я могу поверить, что такая девочка существует на самом деле — но тут логическая ошибка, потому что «существует на самом деле» не равно «достоверна». Мне кажется, что эта девочка, ее сознание и мысли порождены взрослым автором, который ее создавал под себя, под свое, лишненное иронии, серьезное отношение к миру.

А вдруг масса подростков четырнадцати-пятнадцати лет куда менее наивна, и вовсе не склонна к взрывам эмоций, начинающих с «Доколе!» А вдруг подростки видят в митингах озорную тусовку и смотрят на своих сорокалетних родителей с горестью и сожалением. Вдруг они взрослее? Я стыдливо говорю «вдруг», потому что я-то именно так думаю, но никого не хочу обидеть.

Что из этого следует? А то, что для меня открытым остается вопрос жанра «о свинцовых мерзостях жизни» — как он вообще должен сейчас существовать. Что действует на читателя, а что нет. Это чрезвычайно интересная тема, и готовых ответов нет.

*Евгений Ермолин*

## Литература: от номотетики к идеограмме

Откуда вдруг эта затюканная музыкой и школой девочка Даша с ее неврозом, зачем искушенный автор передоверяет ей, нечаянной дебютантке, общий взгляд на мироздание? И добро б еще по древним рецептам просветительской литературы, представлявшим фантом «естественного человека» как антитезу противоестественному социуму. Но нет, Даша — никакой не просветительский конструкт, она просто юная москвичка в винтилове жизни. Ее хватает и несет, и беднее всего в этой ситуации выглядит читательская эмоция сочувствия маленькому человеку в большой беде. Хочется все же, помимо этой расхожей эмоции, помимо сентименталистских душевных вибраций, найти какую-то добавленную ценность в рассказанной Романом Сенчиным истории.

Думаю, это получится, если мы примем как неизбежность влечение к животрепещущему в качестве конститутивного признака новой словесности. Мы живем в такую эпоху, когда самым достоверным для писателя становится сегодня, а не вчера и не завтра. Хотя еще недавно казалось, что все наоборот: есть удобное ретро и есть соблазн взгляда за горизонт настоящего (взгляда преимущественно антиутопического). А неустаканившаяся современность обещает писателю мало творческой выгоды.

Однако антиутопия, производство которой в широких масштабах шло все минувшие годы нового века, невероятно рутинизировалась, а авторские версии минувшего (за пределами нон-фикшн!) держатся разве что лишь остаточным интересом к параллельной истории, к произвольным возможностям прикладного воображения. Многостаночник Дмитрий Быков, например, показал и то («Эвакуатор»), и другое («Орфография», «Остромов»), и исчерпал эти предметы, настоящую славу имея как создатель до оторопи актуального проекта «Гражданин поэт».

По сути, нет ни прошлого, ни будущего как достойной задачи, помимо личного свидетельства о прожитом. Вся наша жизнь в итоге невероятно сгустилась именно в точке сегодня. И нужно иметь какие-то почти невероятные основания, чтобы все-таки забыть о насущно-сегодняшнем ради чего-то иного.

Писатель сегодня становится заложником актуального. А кто этого не понимает, тот, скорей всего, живет иллюзией, инерцией или просто трусит.

Немыслимо отложить актуальное на потом. И это еще и потому, что не будет никакого потом. А если и будет, то оно не принесет искомой ясности. Вот это также принципиально — и это снова возвращает нас к тому вопросу, с которого я начал: зачем описанный мир увиден не глазами авторского alter ego, московского писателя, складывающего на лоджии свои хитрые смыслы, а представлен тотальным смятием неготового к жизни подростка.

А потому это, что неготовность к жизни, что сплошной врасплох стали единственно честным способом свидетельства. Стабильность — враг истины. (Иногда я сильно на это досаую, уличая современных прозаиков в дефиците

интеллектуального обобщения, — но это скорей всего лишь от остаточной привычки к предвзятости, к катафатическому богословию, в душе же сам давно апофатик.)

Литературное свидетельство о мире и человеке меняет свой характер оттого, что мир и человек непоправимо меняются. В них все меньше той надежной прочности, которая когда-то определялась понятиями *среда, тип, характер, класс* и пр. В них все больше вариативности, ситуативной протеистичности. Фиксировать такую реальность можно лишь мимолетными касаниями.

Искусство в целом чем дальше, тем больше тяготеет к спонтанности, к синхронности, становится оперением момента. До поры до времени литература тормозила, не шла на поводу у этого практически доминирующего тренда, поскольку писатель был привычен к тому, чтобы дистанцироваться от сиюминутного, и не всегда пытался эту привычку победить или хотя бы отрефлексировать. Она увеличивала в литературоцентричном мире его масштаб, его сочинения дополнительно капитализировались за счет связей писателя с вечностью, в качестве «законодательного искусства».

Однако общий тренд актуального искусства захватывает сегодня и литературу в свою орбиту. Кто не успел, тот опоздал; нет гарантии, что опоздавший вообще хоть как-то и кому-то пригодится. Даже старая харизма и заслуженная репутация уже не очень-то помогают. Писатель вынужден спешить, журналистничать.

С одной стороны, к тому располагают и новые технические средства самовыражения: интернет, социальные сети и блоги. В них моментальное доминирует, а стабильно-глобальные смыслы растворяются в этом завязанном на злобу момента коктейле единственного «настоящего». Персональный компьютер и интернет, а еще раньше кинематограф и телевидение создали новую медийную и общекультурную среду, определили ту магистраль постмодерна (трансавангарда), в которой с неизбежностью меняются характер, способ литературного высказывания. Традиционные его средства и формы отходят на периферию или, по крайней мере, все менее востребованы. Возникает новый тип авторско-аудиторного взаимодействия и аудиторного соучастия в словесности.

Произведение здесь становится пульсирующим высказыванием (постом, каментом) в потоках актуального бытия: злободневной репликой, испускаемой в свободное реактивное пространство, отзывающееся (или не отзывающееся) лайками и ответными репликами-каментами на стене. Это уже даже не «история современности», это летучая симптоматика актуального.

При этом содержание высказываний может быть любым, вес же каждого из них зависит не столько от него самого, сколько от размеров реакции на него в сетях.

Есть — френдлента, текучая, зыбкая, ускользающая, неуловимая, ситуационная общность неопределенного множества факультативных высказываний, коллективный продукт перманентного, уходящего в непостижимую бесконечность интерактива.

С другой стороны, сокращается приемлемый ресурс систематизации и обобщения. Он становится не всем доступен и не всем интересен. Писатель не может уже претендовать на общезначимость выражаемых им смыслов и ценно-

стей. Его героическое эго («здесь стою, и не могу иначе») обесценивается, выглядит шизоидной упертостью, «комплексом». Нет или почти нет и тех комплиментарных ему сообществ, для которых характерна тотальная солидарность, стабильная общность социального, мировоззренческого бэкграунда. Обобщающая, продуцирующая общие смыслы литература уходит в сторону масскультовского мейнстрима, сплавляющего жанровые матрицы с модными идеосимуляциями.

Происходит переход от литературы к словесности, от писателя к автору, от автора-лирического героя — к автору-артисту. Определяющим элементом творческого присутствия автора-акциониста и перформансиста становится его медийность: площадка его высказывания определена тем, где автора находит его аудитория, отношения с которой строятся на основе усугубляющейся взаимозависимости.

Сказанное примерно наполовину относится к Роману Сенчину и его тексту. Этот текст характерен как попытка найти продуктивный компромисс в ситуации нарастающей смысловой неопределенности. Остраняющая миссия юной героини с ее спонтанно-реактивным сознанием становится средством медиации по отношению к непреодолимому затруднению с тем, что казалось прежде самоочевидным, — исчерпывающим сущее смыслопорождением, смыслопроизводством. Завод начинает работать вхолостую.

Означает ли это, что мир как таковой неистребимо релятивен? Отнюдь. Однако писатель теряет присвоенное ему некогда право монопольного творца/конструктора истины. Современный гнозис трагичен. Истина теперь рождается как-то иначе, в той запредельной конкретике ситуативных поводов, из которых состоит поток бытия, она имеет текуче-дискретную, трагико-экзистенциальную природу, в ней есть поисковая незавершенность, есть риск ошибки и мистика интуитивного прорыва. Она взрывает контексты и взывает к подтекстам, каждый из которых лишен окончательности и никуда не ведет, ничем не руководит, но лишь мерцает неуловимым намеком на ту последнюю глубину, которая известна, наверное, только Богу.

Герои новой прозы Сенчина живут в инете, выходя из него для экспериментальной проверки виртуальной реальности и получая тот убойный наркотик факта, ту дозу запрещенного допинга, которая позволяет им любить и ненавидеть, как встарь. И задавать вопросы типа того, что вынесен в название повести. Только кому? Родителям? Всем вокруг? Или, быть может, самим себе — желая понять не виртуальную реальность и одновременно от нее обороняться?

Мария Ремизова

## Ждем-с...

Никто, полагаю, не заподозрит, будто мое отношение к прозаику Роману Сенчину может быть хоть сколько-то недоброжелательным. Бывали случаи, когда я отважно бросалась защищать его доброе писательское имя (интернетные привычки настоятельно рекомендуют поставить тут смайлик — вдруг кто-то не считывает самоиронии), как это было, например, в случае жесткого клинча с уже покойным, увы, Александром Агеевым по поводу страшно взбесившего этого критика сенчинского романа «Минус» («Новый мир» № 2, 2002). Какие-то его тексты нравились мне больше, какие-то меньше — обычная рабочая ситуация. А тут... Тут я стала в тупик.

Я не знаю, зачем Роман Сенчин написал повесть «Что вы хотите?» Точнее, я не знаю, зачем он написал это так, как он написал. Я силюсь — и не могу догадаться, что он хотел сказать (показать). Вопрос, сформулированный в названии, вопрос, который в финале повести истерично выкрикивает девочка Даша, вовлеченная взрослыми в уличное противостояние белоленточной зимы, — этот вопрос застрял у меня в голове, обращенный своим острием к автору текста: «Что вы хотите?» И на этот вопрос ответа у меня нет.

А затрудняюсь я с ответом из-за того, что повесть «Что вы хотите?» не дает возможности анализировать ее как стандартный художественный объект. И вовсе не потому, что мне, допустим, она не понравилась — тоже мне бином Ньютона, мало ли я раздраконила и порвала в клочки романов и повестей, которые не потрафили моему тонкому эстетическому вкусу (еще один смайлик). И не потому, что автор делегировал «первый голос» девочке Даше, через восприятие которой мы смотрим на мир в «Что вы хотите?» Эка невидаль, мы ни на миг не встали бы в тупик перед необходимостью провести разбор «Винни-Пуха», где мир представлен через восприятие плюшевого медведя! И даже не потому, что в тексте действуют реальные люди вроде Сергея Шаргунова, хорошо нам известные, так сказать, во плоти, — ведь отчего-то не смущала нас подобная фамильярность при чтении, допустим, «Трепанации черепа» Гандлевского, еще более плотно населенной реально существующими людьми...

Нет, тут дело совсем в другом. Дело в том, что «Что вы хотите?» производит впечатление *наивного*, то есть принципиально (не важно, намеренно или нет) неотрефлексированного письма. Будто поставили камеру (диктофон, иной прибор), в конце концов, просто набрасывали заметки по свежим следам, а после, чуть-чуть подправив, сделали текст... Да, типа такой «театр. doc»... А то, что «глазами дочери», — понятно, ну, некоторая уступка условности, не очень ловкая, может быть, потому что такая попытка отстранения, в общем-то, ничего не дает, на двух стульях не усидишь, как известно. Скорее легкая ширмочка, да, пожалуй, ведь не «дочь» же в самом-то деле это писала, или думала, или говорила — тем более, что ее, кажется, в реале даже и не Даша зовут...

Нет сомнений, что Роман Сенчин мог бы написать о мятежной зиме куда

более внятный, может быть, даже публицистический текст, ясно и четко выразить свое политическое кредо, обозначить позицию, расставить точки над «и». Но по каким-то причинам он этого не сделал. И, похоже, это и есть самый интересный вопрос — по каким?

Наивное письмо имеет ряд преимуществ перед любым иным (как, разумеется, и ряд проигрышных моментов). Его главным бонусом является эффект подлинности, которой (подлинности то есть) катастрофически недостает в мире фейков и квазиреальностей, в который мы погружены уже по самые уши. Если автор такого текста — человек, литературно искушенный, в смысле, напрочь лишенный того необходимого простодушия, с которым нерелефлирующая натура без тени сомнений и колебаний берется за перо, — требуется немалое мужество, чтобы выставить себя на всеобщее обозрение. Причем фактически обнаженным, для чего приходится пожертвовать четкими границами между автором, повествователем и лирическим героем. Ему приходится жертвовать еще и эстетикой и даже этикой (но это, разумеется, отдельный и долгий разговор). В каком-то смысле он сводит собственную фигуру к чему-то, вроде природного явления, *феномена*, если угодно, зато через такой текст начинает отчетливо говорить сама жизнь. Сама жизнь в одной из своих бесконечных ипостасей.

Почему для того, чтобы поговорить о протестном движении, Роману Сенчину потребовалась такая форма — педалированно иррационалистичная, ведь помимо «наивного письма» право голоса тут делегировано ребенку, существу, по определению, нерассудочному, да еще и в данном конкретном случае как бы несколько более инфантильному, чем ожидается, которому окружающий мир за окном квартиры по большому счету абсолютно непонятен? Единственное предположение, которое приходит на ум, — сделано это как раз для того, чтобы послужить максимально адекватным зеркалом хаоса и брожения умов, характерных для снежной революции. Холодная зима 2012 года, чего уж греха таить, при всем чуде проснувшегося вдруг стихийного гражданского движения, при всем обаянии той креативной коллективной инициативы, была свидетельством прежде всего неструктурированного и хаотического всплеска эмоций, никак внутри себя неотрафлированного, во многом парадоксального (уже одно то, что плечо к плечу на марши и митинги выходили силы, по существу находящиеся в непримиримом идейном конфликте между собой), другими словами, тоже иррационального.

Всякое явление требует для своего описания адекватного языка. Вероятно, именно поиски такого языка и натолкнули Сенчина на мысль заговорить о той зиме именно таким образом. Финальный крик Даши: «Чего вы хотите?», вынесенный в заглавие, вероятно, в первую очередь обращен писателем к самому себе. Таким образом, допустимо предположение, что Сенчин — по зрелом размышлении — напишет (или попытается написать) еще один текст о русской революции, где даст ответ (ответы) на интересующий вопрос. Когда-нибудь в будущем. Впрочем, кажется, и революция еще не завершена?..

*Ирина Богатырёва*

## Жить с открытыми глазами

Проза Сенчина для меня всегда соотносилась с одним словом — инстинкт. По воздействию на меня, читателя. Есть книги, которые заставляют думать. Есть книги, которые учат чувствовать. Книги Сенчина пробуждают инстинкт самосохранения. Первые эмоции, которые у меня возникают даже не после, а во время чтения, — бежать, прятаться. Потому что слишком очевидно, что жить так, как живется, нельзя. Просто нельзя. Хочется все бросить, уехать куда-нибудь в глушь, забыть о Москве, метро, жить без телевизора, радио и интернета. В общем, инстинкт дауншифтера. Но потом понимаешь, что бежать некуда. Что Россия — она такая везде. И если ты видишь все это, если понимаешь, то есть два пути: пытаться что-то изменить или учиться достойно жить во всем этом.

Для меня повесть «Чего вы хотите?» об этом — о попытке научиться жить, понимая и осознавая происходящее. Потому что отступать некуда: вот она, за окнами утепленной лоджии, — Москва. Это сидя в пресловутом Сапожке можно мечтать о том, чтобы уехать и построить новую жизнь. Даше из повести о таком мечтать не приходится. Она знает, что у нее есть то, чего другим не хватает. Но даже идея уехать за границу не приходит в голову — с ее лоджии видно, что и за границей, откуда вернулась мама и где сейчас живет тетя, жизнь не легче. Поэтому надо не стонать и не мечтать, а жить, с открытыми глазами. Чему и учится героиня на протяжении текста.

Узнаваемый стиль Сенчина — это ставить эксперименты на себе. Рассматривая себя, свою семью и близких как типичных представителей среды, времени, он умудряется добиться отстраненности. В этом его талант. В то же время, крайняя документальность повести, огромное количество цитат из СМИ и сети, разве что без приведения гиперссылок, — все это позволяет максимально приблизить текст к читателю, помещая его в одинаковую с героями среду, помогает вжиться в него, ощутить происходящее буквально на себе. Ты как будто присутствуешь в квартире Сенчиных, бесплотным духом паришь под потолком и наблюдаешь за всеми, слушаешь разговоры, видишь жизнь обычной московской семьи — семьи приезжих, более-менее устроенных, как-то в целом сводящих концы с концами, но осознающих и колоссальный тупик своего социального положения, и зыбкое будущее своих детей. И таких — миллионы. И все хотят хорошей жизни и благополучия. Не удивительно, что Москву трясет от внутреннего напряжения, и всех героев повести — вместе с ней.

Жанр этой повести — реалити шоу. Только из самой обычной жизни, никаких специальных условий — вот люди, как они сейчас есть. У них ничего не происходит. Ни бед, ни радостей. Они готовят, едят, умываются и чистят зубы (все это описано подробно и не один раз). Дети ходят в школу, сад и с молодых когтей загружены таким количеством факультативных занятий, что у них нет времени ни на друзей, ни на погулять. Меня поначалу это ставило в тупик: Даше четырнадцать, но она не висит с подружками на телефоне, почти не думает о мальчишках, зато часами может просиживать со взрослыми за столом, слушая политические разговоры, и потом гуглить в сети все, о чем шла речь. Неужели московские школьники так и живут? — думалось мне. Но потом решила: а почему нет? Ведь большая загруженность — такой же способ защиты ребенка от окружающей среды, как и постоянный родительский контроль. Чем больше времени он будет занят, тем меньше вероятность, что он попадет в беду.

Это — маленькая деталь. Но из нее складывается тот самый типичный образ современной московской семьи, о которой пишет Сенчин. Будущим историкам будет крайне удобно изучать эпоху, опираясь на такой текст. Крайне удобно еще и потому, что все это, — подложка, как бы внутренняя сторона тех событий, которые происходили в Москве зимой 2011-2012 года.

События происходили в 2012 — повесть выходит в 2013. Быстро? Что вы! Мы же живем в состоянии моментальных реакций. У нас так мало времени, что оставлять его на осознание происходящего просто нельзя. Все, что происходит, требует высказывания, высказывание превращается в текст, текст получает огласку. Мы живем он-лайн: вот событие — вот его изложение в сети — вот уже люди это обсуждают. И литература стремится к той же скорости. Быть может, с этим связано такое большое количество писателей, участвовавших в протестном движении. Все почувствовали, что есть возможность ухватить дух времени, новую тему. Ухватить и написать об этом. Появление литературы про зиму 2012 было предсказуемо. И в этом смысле жанр реалити-прозы наиболее подходящий как жанр быстрого реагирования.

Стоит заметить, что для Сенчина этот жанр очень органичен. Для него естественно писать с крайним документализмом, но документализм в случае этой повести — литературный прием, стилизация, как и язык: передавая внутренний мир девочки-подростка, Роман пишет свой текст в стиле Литинститутской семинарской прозы, именно так пишут там о своей повседневности девочки семнадцати-восемнадцати лет. Главный принцип реалити-жанра как раз в том, чтобы как можно меньше аналитически вмешиваться в материал, максимально обнажив в событиях логику самой жизни. Чтобы мы, дойдя до конца, уже понимали, что все произошло так, а не иначе, потому что иначе и не могло произойти. Правда, дочитав повесть, я осталась больше с недоумением, чем с пониманием. Как у Даши, вопросов гораздо больше, чем ответов. Почему, собственно, все происходит так, а не иначе? Что делать, чтобы было иначе?

Не исключаю, что автор добивался именно этого. Но из-за такого количества вопросов без ответов для меня на первый план вышла другая тема повести, вполне классическая, — тема взросления. Взросления подростка и страны в целом.

Последнее время мне часто приходится выступать перед подростками Дашиного возраста, представляя свою книгу «Луноликой матери девы». Книга — о девочках-скифах и периоде инициации, и, рассказывая об этом, я спрашиваю ребят, что для них значит — стать взрослым сейчас, в современном мире. Все говорят о чувстве ответственности. И Даша тоже думает об ответственности как о взрослом состоянии — так она представляет, к примеру, что будет делать с Алиной из Сапожка, если та вдруг явится к ним на порог, и чувствует себя ответственной перед нею. Она не задумывается над тем, откуда, собственно, это чувство, хотя его природа проста: оно вырастает из чувства причастности, достаточно было провести с человеком лето на море, и ты уже связан с ним. И из этого же чувства рождается необходимость ответить на все вопросы о стране, о том, что происходит вокруг, — от чувства причастности. Но тут дело обстоит сложнее. Потому что ответы-то есть, но они слишком разные. И Даша мучается попытками найти правду между тем, что говорят в телевизоре и школе, что она читает в интернете, и тем, что говорят взрослые у них на кухне, а в первую очередь — папа и мама. Ведь если кому-то и верить, то, конечно, им. Верить безоговорочно и свято. Но это — состояние ребенка. А Даша растет. И для нее понять, что родители могут так же сомневаться, заблуждаться, мучиться вопросами, что они в том же состоянии непонимания, как и вся страна, — вот настоящий шаг к взрослению. Учиться жить с открытыми глазами. Не добиваться ответов на вопросы во что бы то ни стало, а жить с ними и принимать тот факт, что они есть, эти вопросы, которые надо решать.

Евгений Абдуллаев

## От 30 до 1300

Семь поэтических сборников 2012 года

*«Из тридцати с лишним сборников, бывших в моем распоряжении, я прежде всего отстранил книги поэтов, уже установившихся, о которых нечего было сказать нового... Затем отстранил я сборники, так сказать, поэтов-любителей, которые, не мудрствуя лукаво, сочиняют невинные стишки для удовольствия собственного и своих добрых знакомых... Наконец, отстранил я те книги стихов, в которых не нашел ни одного живого слова... После этого остались у меня на столе шестнадцать книг»<sup>1</sup>.*

Так готовил свои обзоры для «Русской мысли» Брюсов. Было тогда принято рассылать поэтические сборники в крупные газеты и журналы для отзыва. Неплохая практика, если разобраться.

Тридцати сборников у меня не было. Как и необходимости обозревать их «по службе». Но они сами как-то нарастают вокруг. Только убрался на столе — уже стопочка. И еще одна на стуле. Про сугробы на полу даже не говорю.

Далее — почти по Брюсову. Мысленно отсекаю сборники поэтов, о которых (поэтах) «нечего было сказать нового». Не потому, что считаю их «установившимися». Просто недавно о них писал, еще не успел набрать дыхания. Что касается сборников стихотворцев-любителей... «У меня еще Толстой не весь прочитан», как говорит один мой коллега, откладывая их в сторонку. То же — в отношении «книг стихов, в которых не нашел ни одного живого слова». Хотя один такой сборник все же придется упомянуть.

Главным же принципом отбора было как раз отсутствие единого жесткого принципа, как и в аналогичном «семикнижии» за 2011 год<sup>2</sup>. Сборники отбирались не для топ-листа; сама цифра 7 — симпатичная, но не жесткая. Их могло быть пять, восемь, три. Не жестким был и год издания: есть рецензия и на сборник, вышедший в 2011 году. Четыре цифры в выходных данных порой условны. Особенно если местом издания значится неблизкий Омск, тираж — 250 экз.

<sup>1</sup> Брюсов В.Я. Новые сборники стихов // Брюсов В.Я. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М.: Советский писатель, 1990. С. 332.

<sup>2</sup> Абдуллаев Е. О счастливой бездне, юноше в пальто и прочих летящих жуках. Семь поэтических сборников 2011 года // Дружба народов, 2012, № 3. С. 228–240 ([magazines.russ.ru/druzhba/2012/3/a24.html](http://magazines.russ.ru/druzhba/2012/3/a24.html)).

Сборники я распределил по условным возрастным категориям, к которым принадлежат авторы. Тридцать, от тридцати до сорока... Не ради систематизации, а как некая нить, связующая это собрание пестрых глав.

Перед тем как перейти к рецензиям — пару слов о том, что происходило в 2012-м с изданием поэтических сборников. Для общего библиографического фона.

Наиболее продуктивно поработала «Воймега». В 2012-м в этом издательстве вышли сборники Инги Кузнецовой («Воздухоплавания»), Анны Аркатовой («Прелесть в том»), Григория Петухова («Соло») и Александры Мочаловой («Хаклберри»). А также «Двойная флейта» Григория Кружкова (совместно с «Арт Хаус Медиа») и пятидесятый выпуск альманаха «Алконость» (интересные подборки Сучковой, Пермякова...). О сборниках Марии Марковой и Олега Дозмова будет сказано ниже.

В серии «Воздух» издательства «Арго-Риск» вышли «Из писем заложника» Наталии Черных, «Чонгулек» Павла Гольдина, «Последующие тексты» Василия Ломакина, «Страшное прекрасное стихотворение» Юрия Орлицкого и «Цирк "Ветер"» Василия Бородина; в серии «Поколение» — «Легче, чем кажется» Андрея Черкасова и «Последнее время» Владимира Лукичёва. В серии «Новая поэзия» издательства «Новое литературное обозрение» (тот же круг авторов, только листаж побольше и обложка потолще) — «Улица Тассо» Николая Звягинцева, «Безбашенный костлявый слон» Дины Гатиной, «Четырехлистник для моего отца» Фаины Гримберг, «Газета» Дмитрия Строчева, «Способы видеть» Александра Уланова и «Всё ненадолго» Станислава Львовского (не путать со «Всё равно» Андрея Василевского).

В «Поэтической серии» издательства «Время» вышли, кроме прочего (а «прочего» в ней, увы, издается много), «Четверг пока не обитаем» Ларисы Миллер, «Осенние праздники» Анны Гедымин, «Быть музыке» Владимира Алейникова и «Письма Якубу» Глеба Шульпякова. В «Поэтической серии» «Русского Гулливера» — «Каменные элегии» Юрия Казарина, «Полый шар» Анастасии Афанасьевой, «Равноденствие» Константина Латыфича, «Тысячелетник» Андрея Баумана и «Сестра Монгольфье» Екатерины Перченковой. В «Арт Хаус Медиа» — «Новый Естествослов» Бориса Херсонского и «Ворованный воздух» Валерия Прокошина (1959—2009). В питерском «Пушкинском фонде» — «Киреевский» Марии Степановой и два сборника Владимира Гандельсмана — «Читающий расписание» и «Видение» (очередная «поэма без героя», длинная, тягучая, никакая; впрочем, поэмы сейчас почти не пишутся, так что для сохранения жанра это, может, и хорошо)...

Картина, разумеется, не полная<sup>1</sup>. Что-то издавалось другими издательствами-сериями, но не так целенаправленно. Что-то — и немало — за пределами Москвы и Питера, и, вообще, России. Но там проблема с доходимостью; а добрая традиция посылать книги на рецензию, как уже говорилось, утеряна. Хотя, если что-то выходит действительно интересное — хоть в славном Мочегонске — доходит, читается, вызывает отклик.

Перехожу к сборникам.

---

<sup>1</sup> Для сравнения — список, который предлагает Ольга Балла — см.: «ДН», № 2, 2013.

## 30

**Мария МАРКОВА. Соломинка. — М.: Воймега, 2012. — 64 с. Тираж 500 экз.**

Тонкая книжка. Тонкое, ломкое название. Тонкая, с разрывами, словесная ткань.

День ветреный. Не медли, проходи,  
произноси, смотри, фотографируй.  
Два тридцать семь — часы в твоей груди —  
и ржавая громадина буксира.  
Ещё немного, время повернёт,  
цепочка звякнет, женщина прервётся,  
и ухнет в воду сероватый лед,  
и выйдет солнце.

Очевидность поэтического голоса, взгляда на мир. Такая же очевидность традиции, которой наследует Маркова: десятилетием раньше сходную поэтику развивали — независимо друг от друга — Хельга Ольшванг<sup>1</sup> и Инга Кузнецова. Хрупкость бытия (и лирического я), импрессионистическая зыбкость — при напряженном, жадном внимании к деталям, как бы мелочам. Разве что пишет Маркова проще, безыскусней, прозаичней — что вообще свойственно поэзии нынешних «двадцатилетних».

За окном, за деревом, за площадкой,  
за соседним домом, за ним и ещё, ещё —  
есть пространство — не спрятаться — смерти с ваткой.  
Медсестра выходит. Выключатель — щёлк.

Много детских воспоминаний, картинок — еще одна особенность современной молодой поэзии. Взрослость оказывается продолженным детством, но без его яркости, парадоксальности. «Ну а взрослые... взрослые — мы не такие, / как хотелось нам в детстве». Или:

Меняется всё так непоправимо,  
что некуда становится идти.  
Тебя любили в детстве — херувима —  
за яблоко твоих пяти-шести.

Потом забыли, вычерпали, съели,  
не разбудили, бросили в лесу,  
и стала жизнь высокая, как ели,  
и стала смерть похожей на осу.

Подкупающая неожиданность метафоры. Яблоко пяти-шести лет. Высокая, как ели, жизнь.

«Соломинка» — дебютный сборник; это объясняет и оправдывает присутствие — рядом с яркими «соломинками» — изрядного количества средне-поэтической «соломы». Маркова обладает даром безыскусности, простоты — поэтому всякие поэтизмы: «Я от звезды незримой без ума» или «Забери что

<sup>1</sup> Даже названия дебютных книг у Марковой и Ольшванг близки: у Ольшванг — «Тростник» (СПб., 2003).

хочешь — оставь мне тепло утрат» — мгновенно отдают фальшью. (Ну а «Это я в суете / жалкий язык человеческий в пропасть вложила» — просто «ниже плитуса»: вложить язык в пропасть — это надо было очень пересуетиться.)

Все это — надеюсь — со временем исчезнет, израстется. Первая книга поэта — чаще всего *нулевая*; лишь о второй можно с уверенностью говорить как о *первой*. Тем более что «Соломинка» — сборник яркий, останавливающий на себе внимание. И обещающий продолжение.

## От 30 до 40

**Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Нобелевский тупик: Стихотворения 2006–2011 годов. — Омск: Изд-во ОмГПУ, 2011. — 76 с. Тираж 250 экз.**

На сайте «Новая литературная карта России» (litkarta.ru) — широко задуманном и халтурно осуществленном (увы) — город Омск отсутствует. Понятно, не во всяком кружочке на карте обязана цвести литература. И все же в связи с Омском какие-то имена сразу же возникают. Марк Мудрик, опубликовавший недавно в «Новом мире» интересные воспоминания о Рождественском. Дарья Серенко (сейчас учится в Литинституте). И — Дмитрий Румянцев.

«Нобелевский тупик, — поясняется в аннотации, — до недавнего времени улица в Омске, ныне — одноименный тупик».

Мне слышится в этом названии другой — кроме легкого топографического абсурда — смысл. Тупиковость одной «нобелевской» линии в русской поэзии.

Я хотел бы владеть небольшой забегаловкой в Чехии,  
чтоб чихать на погоду, на ветер с тяжелыми ядрами  
града. Я бы сидел в погребке в центре Старого города,  
обсуждая хоккей, дриблинг Ягра и новости с севера...

Улица нобелевского лауреата превратилась в тупик. В нем можно открыть небольшую забегаловку, чихать на погоду, разве что «покашливать, вздыхая неприметно, / при слишком сильных дуновеньях ветра», как писал, напомним, тот самый нобелиат. Вот только создавать живые стихи все труднее.

Тупик, о котором речь, — не личный, авторский. Кризис традиции, классической линии — «закрывающим» которой был Бродский. Оборачиваться туда, назад равносильно превращению в соляной столп. Не в «памятник нерукотворный» и не в «соль земли». В столп.

Тем ценнее каждый документ преодоления, каждое свидетельство исхода из этого погребка-тупика. В лучших стихах сборника все меньше сюжетов «из литературы» (Чехова, Набокова, Блока...). Все больше живых, шероховатых образов.

Пульс поезда заметно ослабел.  
Звенела ложка в цинковом стакане,  
так фонари мотали языками  
в эпоху Цинь, за временем — не страшно.  
Я облизнул сухой, как воздух, рот.

Я не умел уснуть. И пальцев память  
пыталась с простыней на небе сладить,  
на верхней боковой. За занавеской,

над пустырями вздёрнутой, висел  
туман луны. Я вышел в тамбур. Поезд  
личинкой полз по спелым травам поля...

Выход из тупика может быть разным. Может подоспеть и вывезти «4-й скорый» (так называется этот стих). Или внезапно открыться даль — в стихе «На Крещение»:

Капель и солнце. Все-то лужи всклянь.  
Там — воробей, там чистит перья голубь.  
Ты в оттепель залезешь в Иордань,  
и что с того, что это просто — прорубь.

А над водой в мороз растёт дымок,  
три дни висит безвидный дух. Обидно!  
Пустейший пар. Но даль при слове Бог  
становится другой. Неочевидной.

Хорошо и точно. Даже в школьный учебник просится (составители, ау!).

**Олег ДОЗМОРОВ. Смотреть на бегемота. М.: Воймега, 2012. — 104 с. Тираж 500 экз.**

Здесь придется перейти на менее комплиментарный тон. Хотя изначально нацеливался на положительную рецензию. Что-то обещали последние подборки Дозморова. Чайки замелькали (автор перебрался в Уэльс). Море зашумело.

Вообще, далеко не всем поэтам показано издаваться в книжном формате. Однообразие интонации, темы, стиля, не слишком заметное в подборке, в книге нарастает.

Тотальное недоверие к слову. Скорее, филологическое, чем поэтическое. Каждое стихотворение говорит: все уже было, каждое слово уже использовано-переиспользовано. И возникает другая крайность — нечувствительность к слову: раз лирический словарь уже затаскан, какая разница, как его использовать. Вроде как индульгенция на наполнение текстов отработанной породой.

...Сгинем уродливо, но элегично.  
И не пророчь.  
Чисто, чувствительно, гордо, лирично.  
В звёздную ночь.

Получается — лирика про лирику. «Клонит лирика в честную прозу». «Лирический холод». «Лирическая спесь».

Возвышенная злость, лирическая спесь!  
Вы не должны смущать чистюлю-привереду.  
И Ходасевич был уже. Точнее, есть.  
Лет через пятьдесят отпразднуем победу...

По частотности литературных терминов в стихах Дозморов, безусловно, лидер.

Метафора? Пожалуйста: «Обойдёмся без ярких метафор...»

Рифма? И о ней тоже есть: «Как рифма в рифму тяжело влюблена / и пальма в пальму по краям залива». «А за рифмовку чётных в первом / он не одобрил бы меня»...

Что еще? Ямб? «Четырёхстопным ямбом память / мгновенно заполняет блог». Даже цезура не забыта. «Одиннадцатичасовой рабочий день / ознаменован перерывом, как цезурой». Всё есть. А вот по-, извините, эзии — увы.

Тень Ходасевича здесь тоже не случайна. И не только потому, что добрая половина текстов написана «под Ходасевича», с его образами, интонацией.

Именно у Ходасевича наиболее четко проговорена тема самоуничужения поэта (обратная сторона его романтической «спеси»). Идет эта кривогубая жалоба еще от Баратынского: «Мой дар убог, и голос мой не громок...». Ходасевич только развил ее — и исчерпал. Дальше писать об убогости поэтического дара — не просто эпигонство, но кокетство дурного тона. Но Дозморов — пишет.

«Лучшие умирают, и остаёмся мы — / средней руки поэты, медленные умы».

К чему умножать «средней руки» сущности? Не честнее ли «привыкши к слову — замолчать», как советовал тот же Ходасевич? Но — велик соблазн писать «стихи о стихах», стихи об отсутствии стихов, об отсутствии самой необходимости стихов:

Нет интереса? Сочиняй,  
воспринимай себя буквально,  
метафорой пренебрегай,  
все прочее не гениально...

Это даже не тупик, это — склеп. Где нет ни одного живого, в нефилологической простоте сказанного слова. Стихи превращаются в бесконечный перебор поэтического вторсырья. Не только из Ходасевича. Вот, в двух строчках — «Белеет парус, одинокий качает катер, / в кипарисе ветер плетёт интригу» — и Лермонтов со своим парусом, и Бродский — с римским другом. Ловко.

Даже в одном из лучших стихотворений сборника этот «склеп» присутствует — разве что метафора ему подыскана другая:

Родная речь, отойди от меня,  
поди прочь, не приближайся ко мне,  
я боюсь сейчас твоего огня,  
между тем сгораю в твоём огне.

Так садится покойник, почти встаёт  
в крематорской печке, зовёт рукой,  
открывает рот и почти поёт.  
Что со мной, что со мной, что со мной?

Увы, мертвое остается мертвым, пусть даже ведет себя порой почти как живое: *почти* встает, *почти* поет. Ключевое слово: *почти*.

## От 40 до 50

**Глеб ШУЛЬПЯКОВ. Письма Якубу: Третья книга стихотворений. — М.: Время. — 80 с. Тираж 1500 экз.**

Якуб — имя попугая. Попугай живет в Стамбуле. Точнее, в клетке. Клетка — на лестнице, лестница — в гостинице.

Странный выбор птицы-адресата. Нетипичный для русской поэзии. На память приходит только «Говорящий попугай» Льва Лосева. Но там он и был — говорящий.

У Шульпякова попугай молчит. Символ красноречия (в арабско-персидской поэтической традиции) становится символом сосредоточенного птичьего внимания, молчаливого альтер эго. Якуб. Я-куб.

Куб, в котором я.

На обложке этот я-куб имеет вид птичьей клетки в форме человеческой головы. Внутри клетки — облака, небо; птицы не видно.

Письма к себе. К я своего лирического героя, к надышанному отражению в зеркале.

Сравнивая прозу и поэзию, Дж. Фаулз высказал такую мысль. Содержание поэзии «обычно гораздо больше говорит об авторе, чем содержание прозаических сочинений. Стихотворение говорит о том, кто ты есть и что ты чувствуешь, в то время как роман говорит о том, кем могли бы быть и что могли бы чувствовать вымышленные герои. ...Очень трудно вложить свое сокровенное "я" в роман; очень трудно не вложить это "я" в стихи»<sup>1</sup>.

«Письма Якубу» — книга об исчезающем я.

человек на экране снимает пальто  
и бинты на лице, под которыми то,  
что незримо для глаза и разумом не,  
и становится частью пейзажа в окне, —  
я похож на него, я такой же, как он  
и моя пустота с миллиона сторон  
проницаема той, что не терпит во мне  
пустоты — как вода — заполняя во тьме  
эти поры и трещины, их сухостой —  
и под кожей бежит и становится мной

«Пальто» — такое же *альтер эго* поэта, как молчаливый Якуб. Такое же ветхое «я». Что под ним? Пустота, пейзаж. В пальто заводится «слепой угрюмый жук», читающий «книгу, набранную брайлем». (Душу? Или память?) А в стихотворении «Пальто» оно само «набрасывается на человека — / обрывает ему пуговицы, хлястик». Не так уж просто с этим исчезновением, развоплощением лирического героя.

Но исчезновение не равнозначно уничтожению. На место монолога приходит полилог, на место лирической монодии — полифония.

«Так что бы вы хотели, мсье?» —  
не унимается тип в полосатой джеллабе.

«Можешь мне вернуть "я"» — спрашиваю.  
«Нет ничего проще, мсье!»

Действительно, что может быть проще? Остановиться и слушать. Находить себя во всех.

<sup>1</sup> Фаулз Дж. Кротовые норы. Пер. с англ. И. Бессмертной, И. Тогоевой. — М.: АСТ, 2004.

«Я — продавец мяты, сижу в малиновой феске!»  
 «Я — погонщик мула, стоптанные штиблеты!»  
 «Я — мул, таскаю на спине газовые баллоны!»  
 «Я — жестянщик, в моих котлах лучший кускус мира!»  
 «Я — кускус, меня можно есть одними губами!»  
 «Я — ткач, мои джеллабы легче воздуха!»  
 «Я — воздух, пахну хлебом и мокрой глиной!»

Учиться другому зрению, другому слуху.

## От 50 до 60

### Феликс ЧЕЧИК. Из жизни фауны и флоры. (Рукопись.)

Эта книга в прошлом году не вышла. Выйдет ли в этом — неизвестно. При этом она успела получить в 2012-м «Русскую премию».

В моем компьютере хранится в виде вордовского файла.

Феликс Чечик — вместе с Верой Павловой, Владимиром Салимоном, Юлием Хоменко — возрождает жанр лирической эпиграммы. Хотя «возрождает» — не совсем точно. Вспомним: сборник лирических эпиграмм у позднего Маршака. Отдельные эпиграмматические вещи у Тарковского, Самойлова, Кушнера. Но все это воспринималось тогда как что-то на краю литературы, у бережка, на мелководье.

Сменилось время: последнее стало первым. С середины 90-х пошла мода на «гаррики»; с середины 2000-х сетевые аматёры принялись выпекать четырехстрочные «пирожки».

В отличие от множества эпиграмматических поделок, краткость в стихах Чечика — не самоцель; не задана она и незначительностью сюжета.

Петушок на палочке  
 стоит 8 коп.  
 Траурные саночки  
 тащат в гору гроб.  
 Бабка повивальная,  
 плачь заупокой.  
 Счастье самопальное  
 тает за щекой.

Чечику удастся в коротком, внешне безыскусно написанном стихе соединить трудносоединимое. Карамельного петушка — и саночки с гробом. Россию — и Израиль. «Я променял на ближний Ost, / вдруг ставший дальним West. / Но неизменна сумма звёзд / от перемены мест». Даже — зиму и лето:

Стихи о зиме  
 в середине июля  
 застряли во мне,  
 будто в дереве пуля.  
 Болеть — не болит,  
 но саднит еле-еле.  
 Цветением лип  
 пропитались метели.

А порой и болит, и саднит — как в одном из стихотворений «армейского» цикла.

То сено, то солома.  
Да на краю земли.  
А в это время дома  
невесту увели.

Невесту уводили,  
как лошадь со двора,  
когда меня будили  
пинками прапора.

Когда я мёрз в НТОТе<sup>1</sup>  
и проклинал ч/ш<sup>1</sup>,  
она по зову плоти  
заржала и ушла...

Единственный возможный упрек к сборнику — объем. Минимализм стиля требует минимализма в отборе. Много *только* пейзажей (без видимого за деревьями смыслового леса), *просто* реминисценций. Хотя, возможно, при издании «на бумаге» что-то будет сокращено.

## От 60-ти

**Борис ХЕРСОНСКИЙ. Пока еще кто-то. — Киев: Спадщина, 2012. — 248 с., ил. Тираж не указан.**

Десять лет назад Борис Херсонский выпустил «Семейный архив». О Херсонском заговорили. Начались споры. Упрекали поэта, главным образом, в «Бродском».

Отношение между Бродским и Херсонским несколько напоминают случаи Пушкина и Тютчева. Тютчев писал пушкинской строкой. И еще Тынянов заметил, что стихи Тютчева — причем, лучшие — долгое время не выделялись в потоке эпигонской околопушкинской лирики. Понадобилось, чтобы романтическая линия — которую сам Пушкин пытался преодолеть, «оклассичить» — оказалась исчерпанной (до ее оживления символизмом), тогда оценим.

Так и Бродский. Начинать как романтик и, по большому счету, романтиком остался. Даже переболев, и не раз, «нормальным классицизмом». Ядро романтизма — единое и неисчерпаемое поэтическое *я* — сохранилось неприкосновенным. Все, что писал Бродский, — сказано голосом самого Бродского. Даже когда он пытался говорить «голосами» — например, в «Представлении».

Херсонский пишет «бродской» (почти) строкой. Но о стихах его я могу повторить то же, что выше сказал о стихах Шульпякова. Вместо одного голоса начинают звучать два, три, несколько; одно *я* распадается на множество равноправных.

На пенёчке кто сидит? Я сидит на пенёчке, скучает.  
Кто там? Я! Я? Ну ты гонишь, ты гонишь, Лёха.  
Последняя буква в алфавите. Едва себя замечает.  
На кровати кто там свернулся? Я свернулся, мне плохо.

Это я, Господи, сам страшусь, наверно, болею.  
Это я, уже большой, в себе не помещаюсь.  
Это я, не жалею! А я никого не жалею.  
Это я, стою в дверях, никак не распрощаюсь.

...

<sup>1</sup> НТОТ — неподвижная танковая огневая точка; ч/ш — чисто-шерстяное обмундирование (пояснение Феликса Чечика).

Это я, тов. старшина второй статьи, марширую,  
сбиваясь с шага.  
Это я, тов. мичман,  
сжимаюсь в комок под черепной коробкой.  
Когда выкликают фамилию, откликайся «Я», понял, салага?  
«Есть» будешь на камбузе — не подавись похлёбкой.

Это стихотворение — оно так и называется «Я» — открывает сборник. Множественность голосов усилена сменой ракурсов, сменой стиливых регистров. Как бы фольклорное начало, отсылающее к русским сказкам («Кто-кто в теремочке живет?»). Переключение на фольклор сниженно-бытовой, в следующем катрене — на библейский стих... И — армейский (флотский) «разговорчик» в финале.

Эта же мысль, похоже, присутствует и в картинах Александра Ройтбурда, оформившего книгу<sup>1</sup>. Портреты, портреты. Женщина с веером (с пляжно-роковой улыбкой). Бритый мужчина с папиросой. Едок чего-то на вилке, уплетатель арбуза, едокия мороженого. Узнаваемые типажи; райкинские маски — но без гротеска; просто те самые вдруг заговорившие в стихах Херсонского голоса: это я... это я...

## 1300

**Ду Фу. Проект Наталии Азаровой; пер. с кит. — М.: ОГИ, 2012. — Тираж 1000 экз.**

Формально рецензия на сборник стихотворений Ду Фу (712—770) — изданный к 1300-летию поэта — должна была проходить по ведомству «Иностранки». Но сборник — не совсем обычный.

Кроме собственно переводов и вполне академического аппарата — параллельного китайского оригинала, примечаний, комментариев, хронологии и даже «Карты странствий Ду Фу» — в книге немало относящегося к *современной русской поэзии*.

Я не любитель слова «проект» применительно к литературе. Невольно возникает ассоциативный ряд: смета, техобоснование... Но здесь это слово — в своем первоначальном, благородно-латинском смысле («бросок вперед») — вполне подходит. Проект обновить современный русский стих. «Заставить, — как пишет Азарова, — русский язык звучать по-иному... трансформировать русский стих под влиянием китайского».

Стихи Ду Фу в переводах Азаровой звучат удивительно современно — но не осовремененно.

холодный бамбук  
    проникает в спальню вовнутрь  
луна без удержу  
    до краёв наполняет двор  
повисает роса  
    вырастают капельки капли  
дробных звезд  
    будто нет будто есть вдруг

<sup>1</sup> Ройтбурдом оформлены и два более ранних сборника Херсонского: «Площадка под застройку» и «Хасидские изречения». Кстати, «Изречения», вышедшие в 2011-м в Одессе и проскочившие мимо рецензентов, — на мой взгляд, самая цельная, после «Семейного архива», книга Херсонского.

Да, «снятие» пунктуации, передача звукоповторов (тавтофонов) — все это созвучно поискам в современной русской поэзии. Попытка нащупать некое «иероглифическое мышление в русском языке».

ветром нервным взвивается к небу  
 обезьяний плач по умершим  
 у отмели белой брызги вращеньем  
 кругами птиц над водой  
 так беспрестанно теряют деревья  
 шуршанье шуршанье листьев  
 так бесконечно катит янцзы  
 теченье течение встречи

Вообще, даже хороший подстрочник может быть порой лучше, чем нечто гладкое, «средне-ориентальное», написанное по шаблонам русского «средне-классического» стиха. «Подстрочниками» же переводы Азаровой не назовешь, это именно поэтические переводы.

Азарова привлекла к своему проекту современных поэтов — тех, чья собственная поэтика наименее традиционалистична. Владимира Аристову, Ирину Ермакову, Марию Галину, Алёшу Прокопьева, Аркадия Штыпеля. Удачней, на мой взгляд, переводы Штыпеля и Прокопьева. И в смысле верности «минимализму» оригинала, и — соответствия сверхзадаче сборника: трансформации русского стиха.

Осень чиста на взгляд.  
 Набухли в небесах  
 горы дальних вод.  
 Селенье укрыл туман.  
 Редкий кружит лист.  
 Свет вдруг заполнил кряж.  
 Вернется ль журавль?  
 Лес полон ворон.

(«Дикая долина», пер. А. Штыпеля)

Цветы — укрывают — стены — дворец — закат  
 «цзю-цзю» — деревья — птицы — их лёт-перелёт  
 звёзды — все ближе — жилища — мерцают —  
 как движутся  
 Луна — преклонилась — девять небес — их ответ —  
 блеск множеств

(«Весной ночью в Совете Двора», пер. А. Прокопьева)

Сборник изящно издан. К счастью, без иллюстраций: никакой «китайщины» в виде вечных гор в вечной дымке и узловатых веток чего-то там цветущего. Логичным выглядит выход этого сборника в издательстве ОГИ, которым руководит Максим Амелин — поэт, сам немало сделавший для «приращения» современного поэтического языка под воздействием иной традиции (традиций) — латинской, церковнославянской, шире — докарамзинской. Китайская, конечно, для русского стиха более далека и экзотична. Но при соединении «вещей далековатых» и результат, как правило, интересней.

Леонид Бахнов

### Постоять на пороге

Новая книга Даниила Чкония открывается рассказом, дублирующим ее название: «Экскурсовод, или Писатель играет джаз». Название интересное, тем более что «писатель» (автор книги) довольно скоро признается: джаз он как раз не играет. Но любит. Вернее, любит, но не играет.

Интригует, стало быть, доверчивого читателя.

Впрочем, интрига продолжает закручиваться. Где-то через страничку следует приглашение: «Давайте сыграем джаз!»

А ведь только что писатель обращался к читающим его текст напрямую: «Вы, читатель, играете джаз?» И сам же и отвечал: «Большинство скажет: нет. Иные добавят: и не люблю».

Так кому же адресовано это, как выясняется, не столь уж заманчивое предложение? Все-таки читателю: а вдруг удастся обратить в свою веру? Разношерстной публике, заполнившей экскурсионный автобус?

Нет. По всему судя, себе самому. Писателю, который зарабатывает кусок хлеба тем, что возит «русские» экскурсии по разным городам Европы, поскольку уже много лет живет в Германии, в городе Кельне, эдаком перекрестье дорог, откуда автобусы разъезжаются по самым разным маршрутам — и в Амстердам, и в Вену, и в Рим, и в Париж... Но при чем тут джаз?

---

*Даниил Чкония. Экскурсовод, или Писатель играет джаз: Короткая проза. Стихи разных лет. М., «Круг», 2012.*

А при том, что писатель вдруг понимает: многих в автобусе он знает по прежним поездкам, и вообще — все эти экскурсии он уже давным-давно может вести «на автомате», не подключая ни ум, ни душу, раздумывая при исполнении обязанностей о совершенно посторонних вещах: позвонить сыну, сменить в машине тормозные колодки... Это приводит его в ужас — и тут начинается импровизация. На тему... Господи, при чем тут тема! Скажем, о несчастливом детстве одного мальчика, который потом вошел в историю под именем Калигула. О быте и нравах римских военачальников. О кровавых костях в колесе. О покоренных и победителях. О скованных одной цепью. О причудах культуры и зигзагах цивилизации. О том, что, привыкнув к Европе, начинаешь ее любить — оптом и в розницу, но саму любовь можно заслужить только пониманием... Ведь джаз — это что? Свободное парение, ритм, драйв. Полет, черт возьми! Была бы печка, а уж мы вам станцуем!

Чем замечательна для меня эта импровизация? Не только тем, что автор «в материале», что чувствует себя в европейской истории с географией как рыба в воде (не верьте, когда вам говорят, будто джаз можно играть, зная двести ноты), но его отношением к этому материалу. Как объяснить? Имя Калигулы уже давным-давно сделалось нарицательным. Безумец, тиран, злодей, параноик. Но когда-то ведь и он был мальчиком, милovidным, светловолосым, голубоглазым. Был сыном люби-

мого римскими солдатами и офицерами полководца, легата и будущего императора, а поскольку полководцу нередко приходилось отлучаться, на это время становился «сыном полка». Легионеры, старые и молодые, с ним играли, баловали, опекали. Пошили ему форму легионера и сапожки. Он бегаёт по лагерю, красуется в своей обновке. «Калига» — это большой солдатский сапог, а маленький — «калигула»... Тиран, параноик, Калигула — это все потом, в будущем, а пока мальчик хвастается сапожком и ничего еще не известно...

Понимаете, о чем я? Неизвестно, как сложится судьба, неизвестно, как сложится мелодия. Какую еще импровизацию сыграет жизнь на своих инструментах. Мы-то, положим, знаем, а мальчик? Для него же все может еще сложиться и по-другому.

Мелодии нет, но есть ее предчувствие. Или желание что-то переиначить? «Останься пеной, Афродита, и слово в музыку вернись...»

Кому из поэтов не знакомо такое чувство? И из джазистов, я думаю (говорю осторожно, поскольку джаз, как и автор «Экскурсовода», не играю, а только слушаю).

Здесь перекидывается мостик от прозы Даниила Чкония к его стихам. Впрочем, можно сказать и наоборот — от стихов к прозе, поскольку Д. Чкония известен прежде всего как поэт.

Мост с двусторонним движением.

Нетрудно убедиться, что все рассказы в книге имеют автобиографическое происхождение (включая, кстати, и иронический «Философский этюд»). Можно сколько угодно гадать, что в рассказе «Земляк» было «на самом деле», а что писатель «присочинил». Но в том, что сюжет о настырном земляке и почти однофамильце автора имел место в действительности, сомневаться не приходится. Равно как и в том, что в рассказе «Бахва» Д. Чкония вспоминает свое прошлое. Небольшой

приазовский город, занятия велоспортом, первые влюбленности, студенческие годы в Грузии...

Все это мы видим и в «Стихах разных лет» — так озаглавил автор вторую часть книги (первая называется «Короткая проза»). Не обходит он и своего — уже многолетнего — положения русского поэта, живущего за рубежом (кстати, книга его избранного, выпущенная в 2007 году так и называлась «Я стою посередине Европы», о ней много писали, в том числе и в нашем журнале — Елена Елагина «Легко ли стоять посередине Европы», «ДН» № 7, 2008).

Но здесь интересно опять-таки не то, что автор «танцует» от своей личности (а какой лирический поэт делает по-другому?), а то, как это, собственно, происходит.

Февральский день то солнечен, то хмур,  
Закат летит на облаке кауром...  
Хотел бы я увидеть Порт-Артур,  
Когда ещё он звался Порт-Артуром.

Когда вздымались завязи песка,  
И жар ночной пылал страшнее солнца,  
Когда прошли Маньчжурью войска,  
Чтоб осадить надменного японца.

На западе орудья не рычат  
И на Востоке гул стихает медный.  
Всё празднует! Да я и сам зачат  
Родителями на волне победной.

Порт-Артур — это место, где родился Даниил Чкония. Сейчас этот город называется Люйшунь, вот уже полвека принадлежит Китаю. Однако помыслы поэта далеки от геополитических притязаний. Его волнует иное: та жизнь, которая *не осуществилась*. Ему хочется увидеть тот город, которого уже *нет*. Но который ведь был. Был!.. И все могло сложиться совсем по-другому.

Сгорала горечь в медленном огне,  
Смешавшем страх с одышкой восторга.  
И тех, кого застигли в Харбине  
Повыволокли до Владивостока.

Щемит кусок незагнанной души,  
И остаются песни непропеты...  
Дворянки, проститутки, торгаши,  
Актеры, офицеры и поэты...

«Непропетые» песни, невоплотившиеся судьбы... Вспоминается будущий Калигула, хвастающийся своим сапожком.

Понятно, память — неиссякаемый родник лирической поэзии, ее душа и источник существования. Прошедшее — очень важная часть стихов Д. Чкония.

Воспоминанья не съедают заживо  
В горах Шварцвальда, где рожден Дунай.  
С расхожим узнаванием похаживай  
И в Швабии про Мтквари вспоминай.

Это, ясное дело, из серии «я стою посредине Европы». Поэт, которому самой судьбой назначено в любом горном пейзаже прозревать любимую Грузию — отсюда ироничное «с расхожим узнаванием» и лишенный даже тени пафоса глагол «похаживай». Однако ирония иронией, но любовь к Грузии у Чкония неподдельна. Многие его стихи посвящены Грузии, навеяны ею; похоже, одно лишь перечисление грузинских селений, улочек, мест и местечек способно врачевать его душу: все эти «Кикети», «Сололаки», «Чигурети», «Дидубе», «Шио-Мгвиме», «Ананури»... И, конечно, отдельная песня — Тбилиси:

Всё Тбилиси, Тбилиси, Тбилиси!  
Это имя звучит без конца.  
Эти улицы, вывески, выси,  
Многоликое чудо лица...

Это совесть, и это — дыханье.  
И дышу.  
И пока не умру,  
Это листьев моих колыханье  
На последнем, на вечном ветру.

Но вот что опять-таки интересно. В стихах каждого поэта память оживает по-своему. В стихах Д. Чкония есть множество ярких зарисовок, пронзительных вспышек, неожиданных ассоциаций. Но, как мне кажется, особую ценность для него представляют те моменты, когда что-то важное, то, что в действительности произошло — оно еще не произошло, оно еще впереди, и, как говорят, «возможны варианты».

Вот стихотворение — позволю себе привести его целиком:

Молчи, моя любимая, молчи.  
Я сон зову, смежающий ресницы.  
Мне снятся волейбольные мячи.  
Велосипед. Шоссе. И море снится.

Полубезумный холодящий кроль  
Визг тормозов. Тяжёлый скрип уключин.  
Позволь на миг забыться мне, позволь.  
Но был же день, и не был я обучен

Ни опытом, ни мелочностью лжи,  
Ни равнодушной скукой отчужденья...  
Молчи, моя любимая! Смежи  
Ресницы. Дай забыться на мгновенье.

Пусть снятся волейбольные мячи —  
Весенний мир за приоткрытой дверцей...  
Молчи, моя любимая, молчи!  
Не утешай. И не врачуй мне сердце.

Что произошло (произойдет?.. должно произойти?.. может?..) — этого мы не знаем. Но видим, сколь важно поэту притормозить, остановить мгновенье, не делать шага, побыть на пороге...

Все, кто пишет о стихах Д. Чкония, не могут обойтись без слова «традиционность». И правда, его стихи подчеркнута традиционны. Верлибр, даже белый стих, не говоря уже о всяческих постмодернистских экспериментах, нечастые гости в его лирике. Однако как же подобная ориентация на «традицию» (заметим, традицию *отечественной* поэзии) соединяется с «джазом»? Может, «играя джаз», «писатель» выступает в несвойственной ему роли?

Ломая голову над этим вопросом, я задумался над композицией книги. Почему в «стихах разных лет» автор не проставил ни одной даты? Поначалу у меня это даже вызвало раздражение. А потом вдруг подумалось: и правильно! В конце концов, когда написано то или иное стихотворение — факт хоть и непреложный, но чисто биографический. А когда прожито немало лет, и в творческом багаже поэта уже девять книг стихов — отчего бы не абстрагироваться от дат и не выдать импровизацию?

А что такое импровизация?

Правильно. Писатель играет джаз...

Андрей Рудалёв

## «Карта души», начерченная лезвием ножа

Прекрасный рассказчик из Петрозаводска Дмитрий Новиков сделал по нынешним временам достаточно большой перерыв. Предыдущий сборник его рассказов появился в издательстве «Вагриус» аж в 2005 году. И вот под занавес 2012 года в столице Карелии вышла новая книга «В сетях Твоих». Это также рассказы, объединенные темой Севера, причем некоторые из них уже появлялись в сборниках Новикова.

В существующей литературной ситуации, когда если ты не выпускаешь книгу раз в год, то о тебе попросту могут забыть, писательская стратегия Новикова представляет особый интерес. Она вовсе не движется издательскими и рыночными императивами, а строится через категорическое отрицание лжи, выплавляется из боли: слово проживается лично. В эссе «Новые поморские сказы имени Шотмана, или Мифы "нового реализма"», которое также присутствует в книге, столпы своего писательского кредо Новиков определил так: «Радость. Боль. Жизнь. Правда». Он говорит о необходимости «вчувствованной внимательности к жизни», «любовном любовании ей», «предельной, а порой и запредельной искренности», «сопереживания, жалости, боли, иногда через отрицание их» и бегства от любой неискренности.

Конечно, все это можно записать в

разряд просто громких и красивых выражений, писательского самолюбования и хвастливой рисовки перед читателем, если говорить обо всем этом безотносительно текстов. А именно в них, собранных в книге «В сетях Твоих», Дмитрий Новиков показывает постепенное вживание всех этих тезисов в плоть рассказа и вместе с тем — обряд-путь инициации, преобразования героя-рассказчика, который разворачивается через приобщение, постижение Севера.

В соответствии с постулированными принципами творчества, новиковские рассказы — это своеобразные хроники пограничных состояний, которые наиболее ярко проявляются в походах на Север, к Белому морю, в проявлениях любви, человеческой страстности. Русский Север у Новикова — как раз та необходимая ситуация, где правдиво высвечивается настоящая сущность, естество человека.

В рассказах сборника важное место занимает движение, путь, как пространственный, так и духовный. Отсюда через карту проложенного маршрута раскрывается и «карта души». «Имея над головой всего лишь небо, а под ногами только землю или воду», ты становишься господином себе, получаешь свободу воли. Встаешь на свой путь инициации: «В дороге ты чист, потому силен и уязвим». Этот маршрут пугает. Если путь — это «повторение шедших пред тобой», то душа — «путь навстречу боли».

---

Дмитрий Новиков. В сетях Твоих. — Петрозаводск: Verso, 2012.

В первом рассказе «Глаза леса» важна карта с описанием предстоящего маршрута, которую герой периодически достает из рюкзака и вновь в нее всматривается. Само пространство антропоморфно, привязано к человеку и им постигаемо. Недаром рассказ называется «Глаза леса», а на карте герой находит название реки Афанасий. Как сказал сам Новиков в интервью, которое присутствует в книге вместо вводной главы: двойственная русская история «бесследно не пропала, застыла в озере, затаилось в воздухе». Здесь же и душа многочисленных поколений людей. Человеческая география отразилась на карте местности, вписана в пространство. Дыры на сгибах карты — безлюдье.

В то же время карта, как женщина, в ней загадка, она манит. Красивая и одновременно лживая. Пока не пройдешь по маршруту, его не познаешь. На нем всегда поджидают неожиданности, открытия, так же и с женщиной...

Отношения мужчины и женщины у Новикова связаны с символикой ловли. Любовь, как и наживка для рыбы, таит «жестокую опасность». Отношения между мужчиной и женщиной: «тонкая, напрягающаяся леска, натянутая до предела своего». Вроде поймал, а она постоянно пытается вырваться, сорваться с крючка, уйти из рук. Но здесь может быть и как с выпущенной рыбой. Она всплывет вверх брюхом, и ее хватает баклан («На Суме-реке»). Иллюстрация предела — любовные страсти сумчатых австралийских дьяволов до полного изнеможения, а то и до гибели. Любовь и смерть рядом.

Красота у Новикова соединяется со страхом, прекрасное со смертью, опасностью. Так в северной природе, так и в любви. Сума-река катила «темные» воды «страшной страстью», имела «изменчивый женский нор».

Река — кровь, которая идет «реченькой», когда натывается на порог любви. С ней «уходит дурь». Река умирает в море, которое «глочет сладкую воду

земли, превращает ее в свою соленую кровь». Начинается «потусторонняя жизнь рек», растворенных в целом моря.

Соленая кровь сродни соленой воде. У Новикова есть образ женщины, пьющей кровь, смешанную с водкой. Явь прошлого это или сон — однозначно не ответишь. В пограничном мире много обманного, переменчивого, лживого. Особый подвиг — все это преодолеть, пройти по грани жизни и смерти и остаться в живых. Сети женские. Вот и Белое море так же раскидывает «свои ласковые сети, в которых запутываешься навсегда»...

Север — место человеческой метаморфозы, его детектор лжи: «На севере многие меняются. Многое проясняется. Не зря здесь битва бесов с ангелами. Тихая такая. Постоянная. Безвременное пространство». Эти места манят: «то ли промысел Божий, то ли бесы манят». Отправляться туда следует с благословением, то есть подготовленным, как в рассказе «В сетях Твоих». Выдвигаясь с «больной душой», ты рискуешь оказаться один на один с «безжалостным и ласковым судьей».

Север выворачивает всего человека наизнанку, все внутреннее у него, потаенное выводит наружу, преображает или убивает: «Есть в северном лете какая-то жестокая сила. Она чем-то похожа на щедро украшенное рыбьей кровью резвое лезвие». Лезвие это отбрасывает «нутрянную смердь» и добивается чистоты. Здесь достигается предел человеческих сил, когда «с души словно отваливается пластинами чешуя накопившейся за долгие годы грязи».

Новиковская книга о Севере — «граница, грань между жизнью и смертью, добром и злом», многое здесь имеет дихотомическую природу. «Меня любят границы, а я — их», — признается автор-герой. Человек балансирует на этом рубеже. С него постоянно норовят столкнуть змеи, бесы, силится утащить под лед рыба, смущают жабы, спящие у костра. Из ловца здесь ты

моментально сам можешь превратиться в чей-то трофей.

Недаром путника часто встречает старуха, почти что фольклорная Баба-яга, готовящая для него обряд посвящения. Например, отправит проверять снасти в отлив — куйпогу, по вязкой кромке, где еще недавно была вода, а теперь здесь «все, что в море мертвого было, оставляет». Описывая избушку в северной глуши (рассказ «Глаза леса»), герой как бы невзначай замечает: «куриных ножек у избушки не было». Но она опять же пограничье, за которым начинается путь по реке. Кстати, в каждом рассказе у Новикова присутствуют старики. Они так же на грани, между жизнью и смертью, в то же время являются носителями опыта, памяти, обладают мудростью, несут на себе различные отметины истории, как старик Савин и Нефакин в рассказе «Беломор».

В этом северном «потоке нереально мощной жизни» ты и сам становишься старше. После соприкосновения с Севером, жизнь начинает делиться на до и после: «в прошлом, городском, южном, похотливом и плясательном своем существовании ты был куриное яйцо — гладкое, самоуверенное, незамысловатое». Здесь твоя «скорлупа» покрывается «сеточкой морщин», ты мудреешь.

Через эту мудрость начинаешь понимать, что необходимо преодолеть пустоту дыры на карте, безлюдье, четко обозначить точку своего «я» в перекрестии северного пространственного креста: «Позади нас лежала Кузоменская пустыня. Впереди бесконечными волнами било берег бескрайнее море. Сверху был Бог. Снизу и везде были бесы».

Наперекор всему герой рассказа «Строить!» возводит новый дом на берегу озера и небольшой речушки. Дом — одно из самых важных дел в жизни автора-героя. «Сейчас очень важно строить. Строить дома», — говорит автор-герой. Практически чеховская философия: «Делать дело». Кто

ей следует, становится «делателем», демиургом, испытателем себя и других людей — работников. Человек осваивает границу «жизни-смерти», переводя ее в разряд жизни, преодолевает разруху, заброшенность. Ведь он должен вписать себя в пространство, освоить его. Строительство дает опыт понимания мира, людей, преодолевает ограниченность. Так попытка огородить свой участок вместе с кусочком реки порождает негатив, который сразу проходит как только герой отказывается от своей задумки. На участке появляются многие змеи, с которыми приходится вести жестокую войну лопатой.

Змея на участке, змеи внутри — они страшнее: «чем меньше змей в душе, тем больше в ней любви и спокойствия». Путешествие на Север — это интериорное движение во внутрь себя, где и происходит основная брань, которая после будет отражаться во вне: «Нет ничего снаружи, все внутри».

Кстати, другой «северный» писатель Владимир Личутин вместо змеи использует образ внутреннего медведя, с которым борется человек. В своих книгах он исследует процесс внутреннего раскола и разрастания греха в человеке. Новиков же показывает путь постепенного истребления этого греха, избавления от него человека.

Личутинский герой пребывает в состоянии борьбы с «вечным бессонным медведем» в своей груди, в которой он находится, как в «плотно запертом срубце» до поры пока не проявишь слабину. Стоит «приотпахнуть кованую дверцу, приотпустить цепи, тут и заломает черт лохматый, подомнет под себя божью душу, выпустит дух вон». Чтобы не заломал он, не расколел, будто через коленку, тебя на части, нужно стеречь его, постоянно памятуя о нем, об опасности, о возможности внутренней смуты. Поэтому в каждом должен быть в силе этот «сердечный страж», который не даст лохматому воли. Как только страж слабеет, так сразу назревает раскол, смятение.

Герои же Новикова действуют наоборот. В пограничье Севера они предельно раскрываются, распаивают свою душу нараспашку, до предела, допускают туда лезвие ножа, не оставляют ни капли лжи внутри, выплескивая все это наружу. Новиковский герой доводит сам себя до состояния близкого к грани, практически до смерти, до предельной боли и через этот своеобразный экзорцизм пытается разглядеть себя настоящего и открыться для новой жизни.

Он идет практически по стопам святого Варлаама Керетского, история которого изложена в рассказе «Другая река». За убийство неверной супруги будущий святой должен был ходить на лодке несколько лет по Белому морю с ее гробом, пока не осознал, что спасение надо искать «не в смерти, а в жизни», через неустанный труд. Так и герой Новикова путешествует по Северу со скарбом своих прегрешений, целым гробом их, каждый раз грозящим довести до предела и оборвать жизнь, подвешенную на волосок, пока не ощутит себя сопричастным к проявлению чуда, «золота счастья», когда «в золотой ладье, медленно перебирал золотые сети сверкающий человек. В сетях этих светлым золотом билась сиятельная рыба».

Небо — «правдивое зеркало», откуда исходит луч, очищающий человека, преображающий все пространство в золото. Человек уходит с грани острого лезвия ножа, по которому он двигался, становится, как «пойманная в сеть рыба», и переходит в пространство Его, сеть Его. Выбор сделан...

Так и проходит эволюция героя в книге: от туриста, потом жителя, обретшего здесь кусок земли и строящего на ней свой дом, до святого.

Как и Личутин, Новиков говорит о расколе в человеке и в отечественной истории. Человек внешне «любовобильный», а копни чуть вглубь — «мы же злые, как черти». В душе извилистая «червоточинка», с ней он может заступить «за границу белого с черным».

Поэтому герой Новикова не переходит на другой берег, за грань. Попытка перейти на него по исхудалому мосту в рассказе «На Суме-реке» ведет к падению на самой середине. Его пространство — сама граница-река с ее течением, порогами, своенравностью.

Граница — это берег морской («граница между живой говорливой водой и спокойной сосредоточенностью земли»). На берегу — пустынные деревни, заброшенные дома. К нему герой Новикова движется по реке.

Говорит Новиков и о том, что еще не завершена Гражданская война, а раскол в крови, он запечатлен в тех же пустынных деревнях. В противоположность этому: «поморы — единственные из русских, у кого вся злая энергия и воля уходит не на борьбу с себе подобными, а на борьбу с морем, с севером неуютным». Северные люди, как местная растительность, в постоянной борьбе за выживание. Чуть ее пригрет и начинается моментальная трансформация: «тут же зацветет цветами, тут же даст семена, чтобы опять держаться». Как тут не вспомнить Федора Абрамова, который писал, что люди на Севере, будто солнца...

«Как разобраться в этой стране, где люди злы и добры одновременно, где ничто не движется вперед, а все только по кругу, где подвиги похожи на преступления, и обратно всё тоже похоже? Где на словах вместе, а на деле все люди — враги?» — вопрошает автор. Ситуация практически, как у лермонтовского Паруса, зависшего белой точкой на белом листе бумаги: пустыня позади, море впереди, сверху Бог, снизу бесы, а выбор до сих пор не сделан, отсюда и двойственность отечественной истории... И чтобы не разбиться о скалы в этом круговом движении от бури к буре, нужно придерживаться все тех же констант: «Радость. Боль. Жизнь. Правда».

«Настоящее искусство не прощает лжи», — пишет Новиков. В книге «В сетях Твоих» лжи точно нет, может быть поэтому она и собиралась, выростала не один год...

Андрей Турков

## Запретные главы

*Заметки на полях перечитанной книги*

На последних страницах «Блокадной книги» Алесь Адамович и Даниил Гранин горестно заметили, что знаменитые слова Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто», высеченные на Пискаревском кладбище, «были присвоены казенной идеологией, чтобы прикрыть холодное равнодушие».

Забытые были. «Никогда на торжественных заседаниях не поминали погибших в блокаду. Никто из руководителей партии не произнес доброго слова в их память». Был закрыт даже музей обороны Ленинграда!

И обращение писателей к этим, как бы навсегда вырванным страдным и в то же время героическим страницам истории великого города, собиравшие воспоминаний блокадников, уцелевших дневников и документов той поры было смелым гражданским поступком. А если представить себе всю громаду проделанного авторами труда и всю тяжесть обнародования этого, поистине кровотокающего материала, встретившего яростное сопротивление всевозможных «инстанций» и обвинения в пресловутой «дегероизации» славного прошлого, то и слово подвиг никак не покажется излишне громким.

А если принять во внимание еще и

то, что за рамками книги остались сотни страниц записанных рассказов, ибо, как пишут авторы, «есть факты, явно невыносимые, есть истории легендарные, которые и не проверить»...

Впрочем, в новом, нынешнем издании есть — в разделе «Главы, которых не было» — донныне отсутствовавший рассказ об ужасных случаях голодного каннибализма.

Не могло быть в прежних изданиях и главы о печальной памяти «ленинградском деле» 1949—1950 годов, сыгравшем немалую роль в дальнейшем замалчивании трагедии осажденного города.

«Я не понимаю, что за чудо у вас там произошло», — признавался впоследствии один из немецких специалистов в области питания Цигельмайер, который «точно» вычислил, сколько может продлиться существование осажденных при тогдашнем рационе, — и ошибся. Хотя страшный гитлеровский «союзник», как именовал голод начальник немецкого генштаба Ф. Гальдер, старался всюю!

«Блокадная книга» впервые подробно поведала о невероятных лишениях и страданиях ленинградцев, о заиндевевших домах, где, по словам Ольги Берггольц, человек «у себя на кровати замерзал, как в степи», о рабочих, привязывавших себя к станку, чтобы не

---

Алесь Адамович. Даниил Гранин. Блокадная книга. Лениздат. СПб., 2013.

упасть, о матерях, ради спасения детей совершавших такое, о чем и читать-то трудно («Я тогда, чтобы она могла уснуть, давала ей сосать свою кровь... прокалывала иглой руку выше локтя и прикладывала дочку к этому месту».)

Но самые потрясающие страницы (быть может, и объясняющие «чудо» живучести, казалось бы, обреченного города) — об «отчаянной борьбе... души за то, чтоб сохранить себя, не поддаться, устоять», роднящей между собой таких разных людей, как прикованный к инвалидному креслу ученый Князев, находивший силы вести поденную летопись происходящего, совестливейший школьник Юра Рябинкин, доверявший дневнику боль за все свои вынужденные лютым голодом срывы и проступки, Мария Ивановна Дмитриева, начальник группы самозащиты ЖАКТа (забытое ныне сокращенное наименование жилищной конторы), метавшаяся по своим «объектам» — домам, которые и тридцать с лишком лет спустя помнила не только по номерам — по судьбам людей, вырученных ею или, увы, трагически погибших («А вот еще случай, улица Швецова, пятьдесят шесть, по-моему...»).

Особенно подчеркивают авторы, что «та самая неоднократно атакованная интеллигентность (напомню, что даже в самый разгар войны в одной из речей «самого» Сталина было специально упомянуто о «перепуганных интеллигентах». — А. Т.), в других условиях казавшаяся слабостью и даже пережитком, именно в условиях блокады обнаружилась и нужность, и силу, и незаменимость свою».

Вот «типично ленинградский», по горделивому выражению авторов, эпизод. Муж с женой часа три тащат домой «полные санки, двое санок» с книгами, «беспризорными» после отъезда родственницы: «Как можно бросить

Достоевского! Если бросить, их ведь сожгут». (Обыкновеннейшее же дело: «...Спалили, по-моему, сначала немецких классиков, потом уже Шекспира я спалил. Пушкина я спалил... Толстого — знаменитый многотомник», — с болью вспоминает другой рассказчик.)

Даже, казалось бы, думающий лишь о том, что съел и сколько чего дали в магазине, Александр Васильевич Беляков одновременно радуется, купив то Тынянова, то Соллогуба: «Моя библиотека заполняется превосходными книгами».

А режиссер Александр Григорьевич Дымов в страшном январе сорок второго ведет на страницах своего дневника насмешливый — да-да, насмешливый! — разговор... с собственным «товарищем Желудком»: «Я хочу думать не только о жратве, а о многом другом, не имеющем к ней никакого отношения... Вы понимаете — я хочу быть человеком. Не мешайте мне в этом. Поверьте, и вам будет легче».

Весной же, в поисках «отдушины» от голода и холода, в архиве Академии наук стали собираться историки: «Мы делали доклады часами, причем слушали так, что я не помню, чтобы когда-нибудь потом так слушали, — благодарно вспоминает Людмила Алексеевна Мандрыкина, до того схоронившая мать и коллегу (правда, последнего «довезти уже не могли. Так и оставили гроб в снегу на полпути»). — ...Никто не шевелился, никто не вышел, н и к т о!»

Есть немало свидетельств, что тогда во многих людях «что-то снялось, рассвободилось» (слова научного сотрудника Эрмитажа Н.Ф. Губчевского, явственно перекликающиеся с известными стихами Ольги Берггольц об испытанной ею, несмотря ни на что, «свободе бурной»).

Размышляя о причинах и истоках

«ленинградского дела», авторы пришли к заключению, что «героизм ленинградских блокадников воспринимался сталинским окружением как проявление вольнолюбивого духа, непокорность города, его излишнее, а то и угрожающее самостояние». Характерно, что едва ли не главным обвинением было «умаление роли товарища Сталина».

С подобными же политическими «играми» десятилетия спустя пришлось столкнуться и авторам книги, когда Гранину удалось встретиться с А.Н. Косыгиным, сыгравшим выдающуюся роль в организации помощи осажденному городу и созданию знаменитой «дороги жизни» через Ладогу. Рассказ о беседе с ним был не так давно опубликован в сборнике статей писателя «Интелегенды» (СПб., 2007).

Чувствовалось, что это одно из драгоценных для Косыгина воспоминаний. Но в то же время он постоянно сдерживал себя, то резко обрывая завязавшийся сюжет — об одной из главных жертв «ленинградского дела» — Н.А. Вознесенском («...Мы с ним друзья...» — и «вдруг замолчал, сцепив пальцы»), то подчеркивая, что действовал, «разумеется, совместно с Военным советом или же с горкомом партии»: «Произносит отчетливо, словно бы не только для меня», — отмечает Гранин.

Позже в разговоре с бывшим мощником Косыгина как раз в ту пору (он и устроил встречу) писатель высказал некоторое разочарование от нее и от того, что Алексей Николаевич не за-

хотел помочь изданию книги. А тот на него сердито напустился. И вот как передает Гранин смысл выслушанной «нотации», представлявшей собою «ловкое косноязычие... со вздохами, междометиями, миганием, позволявшим «обходиться без имен»: «Допустим, пошли бы мне навстречу, хлопотали бы за нашу книгу, где будут воспоминания, которые я выслушал (т.е. Косыгина. — А.Т.). Допустим. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая оборона, лишения, пример политработы, пример руководителя. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на иностранные языки переводят, ваши писатели хвалят ее взахлеб. Она сегодня Главная книга... И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здрасьте, пожалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да какая! И размах, и заслуга, и достоверность — сортом выше, душой краше. Это как, по-вашему, — приятно будет? Сразу же выяснят и преподнесут хлопоты за «Блокадную книгу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы опубликовать в пику, чтобы принизить. Конкуренция, подножка, вызов — истолкуют подлейшим образом. Найдутся охотники...»

Опять, видите ли, умаление — на сей раз роли (уже совершенно мифической) Брежнева!

И, читая эту «Запретную главу», снова нельзя не подумать, каким тернистым путем шла книга к читателям, и не повторить слова о подвиге ее авторов.

## Такой разный и узнаваемый мир

*Молодые художники Армении*

В экспозиции XVI Московского международного художественного салона «ЦДХ-2013», посвященного творчеству молодых художников, раздел Союза художников Армении воспринимался узнаваемым даже без взгляда на соответствующую надпись вверху. И хотя все эти молодые живописцы впервые были представлены на выставке в Москве и работы каждого из них несут отчетливые приметы собственного почерка, какая-то общая интонация объединила этот раздел. Эту общность, пожалуй, обусловила звучная красочность. Это удивительно, но, думаю, каждый, кто побывал в Армении, согласится, что природа этой горной солнечной страны и культура древнего армянского народа сочетаются каким-то особым образом. То есть условия жизни здесь становятся относительно комфортными только тогда, когда человек расширяет их своими настойчивыми облагораживающими усилиями. Так уж устроена жизнь, что то, во что вкладываешь все свои силы и душу, — особенно дорого. Вот и яркие краски живописных полотен выступают как некое важное дополнение к сдержанному колориту гор Армении.

При этом молодые армянские художники оказались разными по своим пока недолгим, но уже довольно насыщенным биографиям, по смысловым и стилистическим предпочтениям.

Пейзажи Левона Абраамяна, при всей их возможной пленэрности, выдают склонность художника к импрессионистской образности, стремление крупными живописными пятнами выразить состояние природы и художника, готовность поделиться этим настроением со зрителем. Интересно, что живопись для Левона составляет только часть его творческой работы, тогда как другая грань личности художника активно и весьма результативно реализуется в сфере анимации и мультипликации, которая, в свою очередь, оригинально встраивается молодым художником в книжную иллюстрацию. Успешность этого пути подтверждается наградами на книжных конкурсах.

Творчество Армена Амирагяна было представлено на Салоне серией живописных полотен, среди которых преобладали пейзажи и натюрморты, выполненные в довольно условной манере, выражающей склонность автора к символическому обобщению, а также его тонкое чувство цвета. Эти проникнутые философской созерцательностью работы устроены так, что адресуют зрителю запрос на соучастие, сотворчество, настраивают на медитативный лад.

А еще Армен — автор изящных графических портретов, точно передающих характер и состояние портретируемых и подтверждающих, что художник блестяще владеет мастерством рисовальщика. Кстати, серию портретов Армен создал в прошлом году во время поездки в Дом творчества и отдыха Сенез,

участвуя в возрожденном проекте Международной конфедерации союзов художников.

Работы Сурена Сафаряна, пожалуй, самые яркие, сочные. Здесь настоящая экспрессия, буйство красок. Художник явственно выражает свое жизнерадостное отношение к жизни. И этот настрой позволяет говорить о том, что к молодым армянским художникам возвращается оптимизм их великих предшественников — художников прежних поколений. Сурен, как и его коллеги по выставке в Москве, довольно широк в своих творческих проявлениях — оформляет кукольные спектакли и массовые праздники, активно участвует в выставках по всему миру.

Ваагн Тадевосян, в соответствии с присловьем «ищи себя, пока не встретишь», шел к выявлению своей творческой сущности немного кружным путем, потому, быть может, и более выстрадавшим. Важно, что его наставником в жизни и искусстве стал дядя, известный искусствовед Генрих Игитян. Стилистически работы Ваагна стоят несколько особняком. Их интонационный, цветовой строй, персонажи, чем-то напоминающие фигуры на шахматной доске, — все это имеет отношение к театральности, ретроспекции, к воспоминанию о карнавальных временах европейского Возрождения. Хотя и он отдает дань уважения родным армянским горам, создавая пейзажи Шоржи.

И Левон Абрамян, и Сурен Сафарян, и Ваагн Тадевосян так или иначе принадлежат к художественным династиям и их личности формировались в творческой среде. И это подтверждает мысль о том, что реальное и значимое развитие возможно лишь на основе традиций, культурного гумуса, которые формируют прежние и будущие поколения художников. И собственные творческие открытия у молодых армянских художников, как говорится, не за горами.

Юрий ПОДПОРЕНКО

#### Левон АБРАМЯН

1979 — родился в Ереване

1994-1996 — учеба в Художественном училище имени П. Терлемезяна по специальности художник-оформитель

1996-2002 — учеба в Ереванской государственной академии художеств по специальности живописец

С 2004 — член ассоциации художников «Образ»

С 2006 — член Всемирного союза кукольников

С 2008 — член Союза художников Армении

2009 г. — 2-е место на Молодежном конкурсе живописи «СУРБ САРКИС» (Святой Саркис)

2010 г. — 1-е место на Молодежном конкурсе живописи «СУРБ САРКИС» (Святой Саркис)

2011 — 1-й приз Конкурса «Лучшая детская книга» за книгу «Современные детские сказки»

2011 — Особый приз Московского конкурса стран СНГ за лучшее оформление детской книги

2013 — участник XVI Московского международного художественного салона на «ЦДХ-2013», Москва

Живет и работает в Ереване

Работы хранятся в России, Канаде, Англии, США и Венгрии.

## Армен АМИРАГЯН

23 сентября 1979 — родился в г. Ноемберяне, Армения

1989-1993 — учеба в Школе изящных искусств Акоба Коджояна, Ереван

1996-2002 — учеба в Ереванской государственной академии художеств

1999 — участник «Весенней выставки» в музее Ованеса Туманяна, Ереван

2003 — участник выставок «Юность Республики» и «Невидимый мир» в Союзе художников Армении

2005 — участник выставок «Художественное путешествие» в Harvest Gallery, (Глендейл, Калифорния, США) и «Юность Армении в память о геноциде армян» в Союзе художников Армении

2006, 2007 — участник выставки «Поминование» и фестиваля «Камар Арт» в Зале Камерной музыки имени Комитаса, Ереван

2008 — персональная выставка в галерее Art Bridge Bookstore Cafe, Ереван, Армения

2009 — участник выставки «Юность Республики» в галерее Союза художников

2010 — персональная выставка «Арарат моей мечты» в галерее Dalan, Ереван

2010-2011 — участник выставок «Юность Республики» и «Шоржа» в галерее Союза художников Армении, выставки в Московском доме художников, выставки, посвященной Святому Саркису — покровителю любви и молодости, и выставки «1050 лет Ани» в Союзе армянских художников мира, «Выставки-концерта» в галерее «Arevart», Ереван

2012 — участник выставки в галерее Союза художников Армении, поездки в Дом творчества и отдыха художников Сенеж (Москва), творческого семинара «Диалог поколений в селении Цахкунк, Армения.

2013 — участник XVI Московского международного художественного салона «ЦДХ-2013», Москва

Живет и работает в Ереване

Работы хранятся в США, России, Германии и Израиле.

## Сурен САФАРЯН

1983 — родился в Ереване

С 2001 — участник городских, зональных, республиканских, международных выставок; участник выставки в арт-галерее «Кемпинский Бульвар», Берлин

С 2002 — член Международного Союза Деятелей Кукольного Искусства (UNIMA); участник всемирной выставки медали FIDEM, Париж

2005 — участник выставки «Шаг вперед в будущее: Армения-Грузия-Азербайджан вместе», Тбилиси

2006 — окончил Ереванскую государственную академию художеств, факультет живописи; персональная выставка в арт-галерее «Альберт и Тове Бояджяны», Ереван

С 2008 — член Союза художников Армении; Участие в «Третьем международном биеннале искусств в Пекине», Пекин

С 2009 — член Творческого союза профессиональных художников, Москва; участник Международного фестиваля искусств «Традиции и современность»; Удостоен почетного диплома «Аплодисменты жюри», Москва; участник «Третьего международного биеннале искусств во Флоренции», Флоренция

С 2010 — сопредседатель Молодежного бюро Союза художников Армении; персональная выставка «A life Alive» в Замке Любляна, Любляна, Словения

2011 — участник выставки лучших работ молодых художников «Премия-2011», организованной Всемирным армянским конгрессом, Союзом армян России, Министерством Диаспоры Республики Армения, Союзом Художников Армении; удостоен Первой премии Союз Художников Армении; участник конференции «Молодежь СНГ — основы общественной дипломатии», Москва

2012 — персональная выставка в арт-галерее «Bercsenyi Zsuzsanna», Будапешт; участник Международной выставки «Salon D' Automne» Париж

Оформил около двадцати кукольных спектаклей и праздников, в том числе — гала-представление Всемирного движения UNICEF «Да — детям» в Перуджии (Италия).

Живет и работает в Ереване

Работы хранятся в США, Франции, Германии, Словении, Венгрии, России, Италии.

#### Ваагн ТАДЕВОСЯН

1978 — родился в г. Ереване

1985-1995 — учеба в школе № 67 г. Еревана им. Е. Чаренца, Ереван

2001-2007 — учеба в Государственной сельскохозяйственной академии, Ереван

2009 — участник выставок «Два поколения» в Министерстве культуры Армении, «Юность Республики» в Союзе художников Армении

2010 — персональная выставка в Союзе армянских художников мира, в галереях Art Bridge Bookstore Cafe, ArevArt; участник выставок «Юность Республики», «Любовь», «Шоржа», «Художники кино и театра» в галерее Союза художников Армении, выставки в Московском доме, Выставки, посвященной Святому Саркису — покровителю любви и молодости, «Выставки-концерта» в галерее «Arevart», Ереван

2011 — участник выставки, посвященной Святому Саркису — покровителю любви и молодости, выставки «1050 лет Ани» в Союзе армянских художников мира, выставки в галерее «RobMar», Ереван

2012 — участник выставок в Галерее современного искусства Армении, «10» в галерее Союза художников Армении, Ереван

2013 — участник XVI Московского международного художественного салона «ЦДХ-2013», Москва

Живет и работает в Ереване

Работы находятся в Великобритании, Ирландии, России, Франции.



Левон Абраамян

НАТЮРМОРТ С ТАТАРНИКОМ. 2012.  
*Холст, масло*



Армен Амирагян

ЖЕЛТЫЙ МИР. 2012.  
Картон, масло



Сурен Сафарян

ИРИСЫ. 2012.  
Холст, масло



Ваагн Тадевосян

МАРИЯ. 2013.  
*Холст, масло*

# Весомость достоинства

*Рубрику ведет Лев Аннинский*

Я охнул, когда он подал мне сумку.

— На сколько же это потянет?!

В ответ — улыбка:

— Дома взвесишь.

Дома взвесил — три тома зашкалили за 10 килограммов.

Владимир Долматов, под началом которого в свое время я добрый десяток лет проработал в журнале «Родина», демонстрирует мне, чем он теперь занят.

Программа называется «Достоинство». «Иллюстрированная история России». Полновесные томищи форматом в треть метра. Что-то между книгой и альбомом. Сотни страниц текста и сотни иллюстраций — из фондов, архивов, музейных коллекций, частных собраний. Обложки, приковывающие взгляд. Живое опровержение того, что Интернет будто бы вытесняет книгу. Эти-то книги достойно встанут на заветные полки библиотек. Больше того: я вижу их и на домашних полках, где берегаются книги для семейного чтения, — если в семье хотят, чтобы читали внуки и правнуки. И вникали бы: тома посвящены самым острым, самым горьким, самым судьбоносным моментам отечественной истории.

## *Лицо Смуты*

Заглавие тома: «Люди Смуты». На обложке — фрагменты картины Максима Фаюстова: толпа, над толпой Козьма Минин — обратил к людям лицо, опаленное верой и распяленное призывным криком. Алый кушак перекликается с красными хоругвями на втором плане.

А на первом? Мало лиц, много затылков. Задний ум все еще седлат смятенные души? Оружия не видать, видны мешки, зажатые в кулаках или закинутае за спину (у того, кто побогаче), или (у того, кто еще богаче) в полной торбе позвякивают монеты.

Металл метит денежную рухлядь, но еще не метит кровью тела. Дела же делаются со смутной надеждой, что — окупится, сладится... А Козьма кричит, что не сладится: платить за смятение умов и качание душ придется с оружием в руках...

Подзаголовок тома: «История народного подвига».

Главы: «Власть», «Вера», «Рать». И — финальная молитва: «Россия, Русь, храни себя, храни!» — строка, через три с половиной века после Смуты, видением всплывшая среди родных холмов в сознании поэта, а еще через полвека рубцом врезавшаяся в сознание народное.

Не излагая ни общепринятую (ни тем более какую-то новую) концепцию Смуты, позволю себе несколько психологических комментариев к судьбам людей, в нее угодивших<sup>1</sup>.

Борис Годунов. Странная репутация: ушел оболганный, испачканный с головы до ног; потом в памяти историков потихоньку очистился, а очистившись, предстал жертвой какой-то мистически-темной катастрофы, словно на роду ему написанной.

По замечанию Карамзина, Годунов был бы одним из лучших правителей в мире, «если бы родился на троне».

А ведь не *на роду* — татарском (хотя урожден был — «чингизидом», от чресел мурзы Чета), а на «роду» великорусском все изначально осуществилось — по близости к трону, обусловленной не родовитостью, а личными талантами.

Да, не родился! *Избран* был! Годунов — первый «всенародно избранный» государь на Руси. И именно *потому* — ненавидимый боярской братией, привыкшей хватать околотронные куски не по заслугам, а по праву родства.

Человеколюбец — смягчал приговоры. Результат — презрение. У нас если царь крут, то «тиран», если мягок, то «слабак»...

Этот — «слабак». Ненавидимый за это теми, кого хотел любить.

Еще и трезвенник! Понимавший, однако, что в опасной ситуации бойцам нужен прежде всего грандиозный «сабантуй», дабы избежать крови.

Провел в Москву водопровод. Чтоб пили меньше, а ели больше?

Мечтал всех накормить, без различия сословий. Напоролся на голод от засухи (сто тысяч умерших в Москве).

Строитель гигантской страны — понимал неподъемность задачи, очерченной (предначертанной?) одержимым Грозным. Пытался обустроить края разлетевшегося вширь государства: астраханский кремль, смоленские стены...

Обустроить... А может, *раскачать* надо было русское сознание, приучить к новому общегосударственному ритму — не к столичным кувыркам, а к долгосрочному развитию?

Но русские лихие люди, которым осточертели столичные кувырки, рванули на края державы, «раскачивая» ее в ритме казачьей вольницы.

Последний (вернее, первый) психологический штрих: от царского венца пытался отказаться. Но поддался уговорам. Поддавшись, вышел на площадь и, обернув платком шею, дал этим жестом понять, что предпочел бы скорее удавиться, чем принять корону.

Какая горькая рифма с Николаем Вторым! Тот принял императорский титул как смертный приговор. Предчувствовал конец: и свой, и наследника. «Иов обреченный»!

Царь Борис успел умереть своей смертью. А сына — наследника — все-таки убили.

Марина Мнишек, прощаясь с жизнью, предрекла: на троне, из-под нее

---

<sup>1</sup> Что до концепции, то она видна из венчающей книгу статьи Андрея Богданова: вот как он комментирует события 7 апреля 1611 года, когда россияне Первого Ополчения заперли поляков в Кремле, и те подожгли город:

«Московское государство» пало. Все его структуры испарились с дымом московского пожара. Подчиняться приказам из Кремля было зазорно... Не осталось ничего, хотя бы формально объединяющего страну. И когда вся эта окалина отвалилась, под ее тонким слоем обнажилось золото. Основой России оказалась толща народного самоуправления, демократическая традиция столь мощная, что ей трудно найти современные аналоги. И — неизвестная нынешним россиянам».

Нынешним россиянам последнюю фразу оставляю для раздумий.

уплывшем, никто не досидит до естественной смерти: всех угробят! (Сбылось наполовину: из десятка законных представителей новой династии пятерых угробили).

Смешно и больно читать о том, как все они: и законные, и самозванные, и сильные, и слабаки, чувствуя ненадежность ситуации, старательно обставляют свое избрание привычными ритуальными церемониями. А потом ведут себя совсем не так, как принято. Марина Мнишек (между прочим, единственная женщина, коронованная в России до Екатерины I) — «Царица Смуты» — держится вовсе не по-царски и даже не по-боярски, а скорее по-гусарски: скачет верхом в сопровождении какой-нибудь сотни донцов — вразумлять другие сотни.

И уж совсем непредсказуем — Отрепьев, в роли Дмитрия по всем правилам ритуала взошедший на московский престол: он, уже без всякой «сотни», в сопровождении одного-двух помощников — шныряет по московским улицам, не боясь толпы, а во дворце стремительно передислоцируется из комнаты в комнату, так что телохранители не могут его найти. После обеда не спит! Если бы можно было этого Лжедмитрия переместить на сотню лет вперед, какой бы это оказался образцовый новоевропеец! Но на такое поведение решился у нас только Петр Великий. А в старые времена как надо было себя вести? Опираясь на руки поддерживающих с двух сторон бояр, вышагивать степенно, неторопливо, важно... Другие-то, поди, так и вышагивали... Василий Шуйский, например... не говоря уже о всех семи боярах «Семибоярщины»...

Ироническая реплика Истории: двое бояр поддерживают свергнутого Василия Шуйского в момент его насильственного пострижения: он, в шоке, не стоит на ногах.

Эти нюансы интересны психологам, а Большая История работает в своем ритме. Действующие лица — независимо от личной отваги или, напротив, верности общим правилам поведения — сыплются с престола один за другим. Словно что-то сдувает их с исторической сцены. Словно пресекается спазмом дыхание неведомого режиссера где-то за сценой. Словно испытывается великодушие Господа, а может — терпение народной массы, которая то ли помнит Господа, то ли забыла, втянутая в междоусобие. Что-то таинственное есть в этом смутном молчании судьбы. Что-то загадочное. И неотвратимое.

И так же неожиданно это смертное мельтешение обрывается. Как по мистическому знаку неопределимого состояния народа, только что бесновавшегося в междоусобии. Как если бы это народное самосознание, дойдя до роковой черты, заглянуло в пропасть. И отшатнулось от нее.

Это — наблюдение Леонида Бородина, автора яркой повести о Марине Мнишек. Он же подсчитал, что после Смуты казнено было меньше десяти человек. Это после такой оргии! Ни разборок, ни сведения счетов, ни террора победителей... «Самое поразительное, — пишет Бородин, — что на выходе из этой страшной Смуты Россия практически не понесла потерь...» Значит, где-то в таинственной глубине народного сознания совершился окончательный выбор.

Что за выбор?

Выбор исторического пути для Российского государства, выбор исторического жребия для русского народа.

Вот как видит ситуацию Гавриил Попов (между прочим, грек по происхождению):

«Русские люди сполна оценили и шляхетскую демократию Польши, и республиканское устройство Великого Новгорода, и атаманское самоуправление Дона...»

Оценили. Надо было выбирать.

Выбор — не столько между Доном и Волховом (то есть между «варягами и греками»), сколько между Западом и Востоком. Евразийский простор кажется бескрайним, но края нависают: и Оттоманская Порты, и Речь Посполитая. Выбрав Восток, надо ужиться с исламом. Выбрав Запад, противостоять напору католичества. Православная вера становится той твердыней, на которую может опереться народ, раздираемый Смутой, и именно православные иерархи, от патриарха до затворника, взывают к единству в разгар нескончаемой отечественной драки. Решается дело — в неуловимом русском «нутре».

По остроумному замечанию Ключевского, Лжедмитрий только испечен в польской печке, а заквашен — в Москве.

Никакого католического рвения поляки, подсадившие Гришку Отрепьева на московский трон, от него не дождалась. Хотя и ждали. Католических храмов в Москве он строить не позволил. Хотя и обещал это полякам.

Впрочем, поляки, похоже, и не делали на него главной ставки. Сигизмунд, польский король шведской национальности, больше интересовался шведскими делами, чем «миражом» московского престола. И сын его, королевич Владислав, которого московские бояре звали и ждали, в Москве не появился.

И противостояние полякам, теперь изваянное в постсоветской официальной идеологии как героическое отвоевание, мало похоже на то, что тогда происходило. Это потом, два, три века спустя были за Москву смертные баталии. Бородино 1812 года. Великая битва 1941–42 годов «в белоснежных снегах под Москвой». А с поляками Смутного времени все обставлено Историей то ли с доброжелательным коварством, то ли с испытательным сроком терпения. Поляки Москву не завоевывали, не брали штурмом, не топили в крови — они в Москву пришли по приглашению. Отбивалась от них — больше года — Троице-Сергиевская лавра — и выстояла. А Москва отдалась бескровно, вернее, выдана была — руками «семи бояр». Освобождение Москвы от гостей через два года их пребывания — не столько как злобных завоевателей, сколько как самодовольных господ-панов — похоже скорее на вышибание засидевшихся визитеров, чем на отвоевание. Конечно, кое-где пришлось и вышибать (из Китай-города), если гости сопротивлялись... Да и между хозяевами надо еще было дожидаться единства — чтобы начальники двух ополчений договорились о совместных действиях. Договорились. Изгнали гостей.

Это было именно изгнание, а не отвоевание: «Штурмовать не собирались — знали, что запасы продовольствия у поляков небогаты и голод заставит их в конце концов сдаться». Голод и заставил! «Вконец оголодавшие, потерявшие человеческий облик, с позором выходили они из оскверненного ими Кремля», сдавались на милость победителя. И так, превратившись в «неорганизованные толпы», убрались из Москвы.

Чтобы это изгнание, похожее на ретираду, обрело контуры судьбоносности, понадобились века. Чтобы Мартос изваял для кремлевской площади вечные фигуры Минина и Пожарского. И чтобы осознано было то, что в 1612 году на откосе Смутной пропасти — родилось, удержалось, осознало себя совершенно новое государство, подлинно великая страна — Российская империя.

Начинается она — с Земского собора. Михаил Романов, как и полагается по русской исторической партитуре, от царского венца отказывается (да и матушка не пускает: «Не отдам Мишу! Ведь измалодушествовался народ!» — шесть часов ее уговаривают, поливая слезами матушкин подол, пока не отдала Мишу).

Далее начинается путь Державы. Путь трагический, прерываемый бомба-

ми отечественных цареубийц и бомбежками зарубежных цивилизаторов. Путь мучительств и мучений. Но — путь. К нашему веку.

На необозримом евразийском пространстве, волею людей, прошедших очищение Смутой, утверждается единое неделимое государство — из двенадцати племен, которые согласились жить в единстве: в ойкумене общей культуры, но не теряя — каждое — своего неповторимого лица.

«И стрельцы, и казаки, и с мордвою, и с чувашою, и с черемисою», — выйдя из Смуты, притираются друг к другу. Выработывают культуру, всероссийскую по месту и времени, всечеловеческую по сверхзадаче, многонациональную по фактуре и памяти.

В блестяще написанной статье, итожащей том, Наталья Нарочницкая пишет:

«Гений вселенский — всегда гений национальный, достигший таких высот, что становится достоянием человечества... Великих гениев культуры и шедевры искусства, даже басни и сказки — рождает только нации: немцы, калмыки, русские, татары...»

Психологически интересно, что открывают этот фигуральный список немцы, а замыкают татары.

Почему немцы? Да хотя бы потому, что на российский престол, где так и не удержалась смутная царица-полька, — через полтора века триумфально вступает несмутная немка и, обрусев, становится великой императрицей.

Что же касается татарского участия в новом государстве, то, достаточно вспомнить о национальных корнях «крешена» Козьмы Минина, хотя это не играло никакой роли в порыве чувств, вознесших его, уже в Ярославле, над толпой, готовой превратиться в народ.

Порыв был — общероссийский.

Чисто татарское участие в Смуте двойственно. Но заметно. Двойственно потому, что мечутся татары между враждующими группировками. А заметно потому, что темперамент побуждает их к действиям, смутным по мотивам, но важным по последствиям.

Тушинского вора (Лжедмитрия II) убил Петр Урусов. Фамилия в переводе с татарского означает, что «обрусел». В обратном переводе с русского на татарский имя звучит так: «Урожденный Урак, сын ногайского бия Джан-Арслана». Участвовал в подавлении восстания Болотникова. Участвовал в восстании касимовских татар против Шуйского. «Трагедия состояла в том, что татары, как и все россияне, оказались заложниками Смуты. Они сражались и умирали за разных правителей, вместе со всей страной разделяя тяготы, лишения и саму смерть».

Решив сменить правителя, Урусов перешел на сторону Лжедмитрия II. А потом и убил его, предательски (выстрелом в спину во время дружеской прогулки) — за то, что тот, тоже предательски (во время охоты) убил Ураз-Мухаммеда, приходившемуся Урусову наставником, а то и аталыком («дядькой»).

Так Тушинский вор — не без татарского участия — покинул историческую сцену.

А кто он, собственно, был — тот самозванный вор?

Серьезные историки считают, что настоящее его имя и происхождение не установлены. Несерьезные считают, что его незаконно произвел на свет князь Курбский совместно с «безродной литвинкой». То есть с еврейкой. Бдительные инвентаризаторы, разбиравшие багаж самозванца после его гибели, обнаружили там Талмуд.

Однако участие евреев в судьбе Великой России — тема для особого тома.

# Summary

---

**NIKOLAY VEREVOCHKIN.** *Earthquake at the Cemetery*

*«To understand this story one should read it with the speed of a bicyclist, not fast and not slowly, — the protagonist of this long short story recommends. — On foot is too tiresome: you go, go, go and the fence never ends. In a car is too fast: the landscape becomes smudged into a motley background. On a bicycle is just what you need: enough time to make out everything and not enough to get bored».*

## POETRY

*Today's Ukrainian poetry is presented in this issue by two well-known authors: SERGEY ZDAN with his sad but full of emotional power verses skillfully translated by IGOR BELOV, and ALEXANDER KABANOV unpredictable in his associations and alliterations. Against this background the lyrics by ANNA ARKATOVA keep their pure note without going off key and the classical eight-line couplets by VLADIMIR SALIMON sound especially convicting and philosophical.*

**ALEXANDER NICKULIN.** *The Peasant's Lot of Nickolay Dobrij*

*The discussion never ends in Russia: whether there are peasants still available in the country or have they disappeared completely by the end of the XX century under the blows of collectivization, industrialization, evacuation of the unpromising villages and the marketing reforms. Sociologist A. Nickulin in his essay tells about a man who by right may be called a modern peasant.*

**MARUS IVASHKYAVICHUS.** *Civilization Verdgbolovo.* **ELENA PECHERSKAYA.** *Lithuania My Love.*

*These are two journey-essays. One is a journey by time — into the lost world of the childhood and youth. Tribute to the memory. A kind of Thanksgiving rite. The other is a journey by space — into a foreign country which nevertheless has become the author's deep and devoted affection for the lifetime. But in both cases the talk turns to the unique charm of Lithuania.*

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!  
В 2013 году  
распространением журнала занимаются агентства  
«Роспечать» и «Урал-Пресс».  
Наш индекс 70250